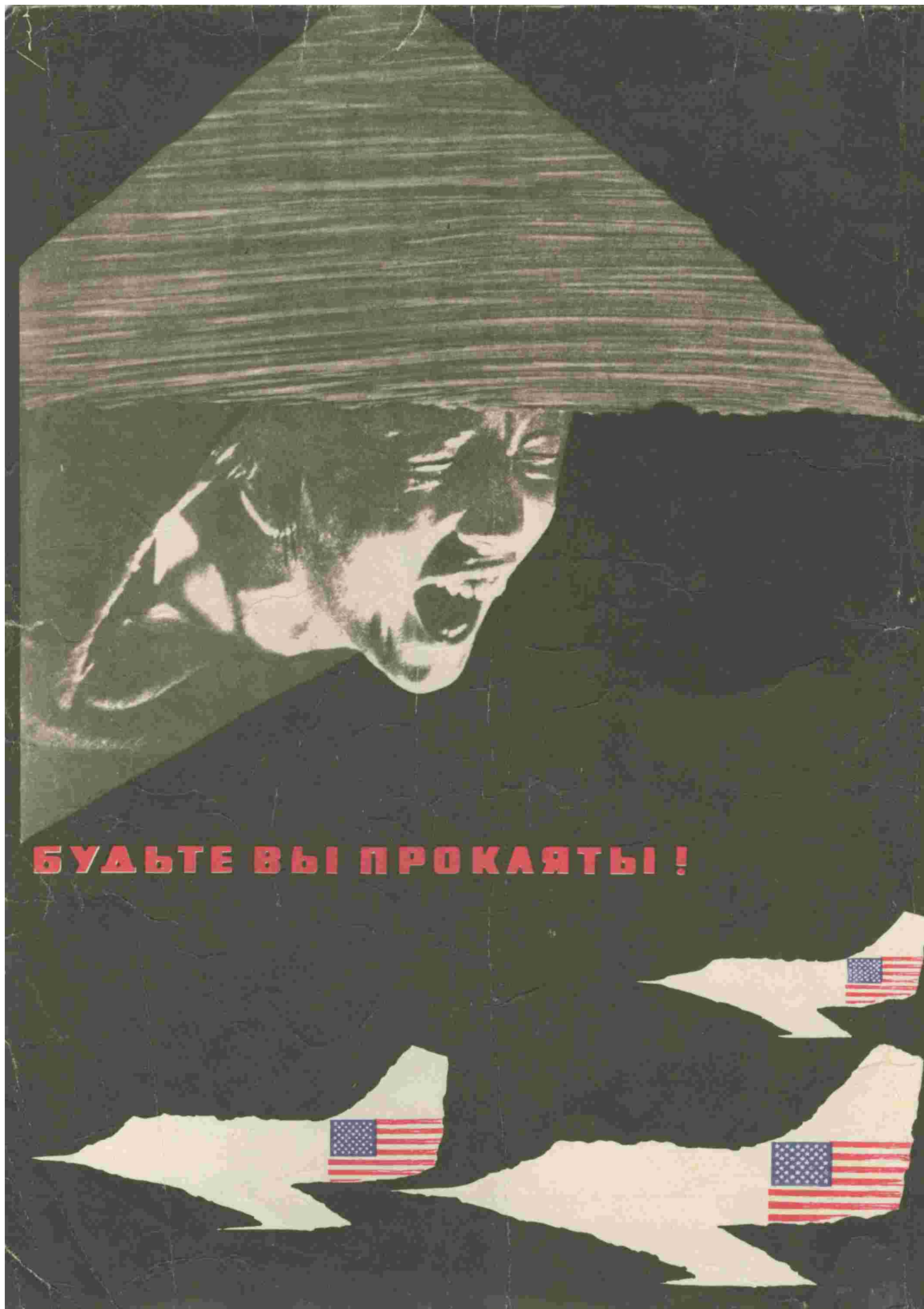




ЮНОСТЬ

9

1966





ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЮНОСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

СЕНТЯБРЬ

1966
9

(136)

Год издания
двенадцатый

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

«Я, ЧЬЕ ИМЯ РУСТАВЕЛИ...»

К 800-летию со дня рождения великого грузинского поэта

2

● ПОЭЗИЯ

«СКВОЗЬ ПОКОЛЕНЬЯ И ВЕКА...»

Стихи современных поэтов Грузии: МОРИС ПОЦХИШВИЛИ. Руставели. ЗАУР БОЛКВАДЗЕ. Музе. ДЖАНСУГ ЧАРКВИАНИ. Глиняные кувшины. ТАМАЗ ЧИЛАДЗЕ. «Я помню дождь, восторженный, весенний...». Ингури. ЛИА СТУРУА. Смеются дети. НЕЛЛИ ГАБРИЧИДЗЕ. 1945-й. МЕДЕЯ КАХИДЗЕ. Здесь столько солнца (переводы Александра Глезера). ТАРИЭЛ ЧАНТУРИЯ. «Нагревается за день река...» (перевод Г. Плисецкого). ШОТА НИШНИАНИДЗЕ. Память (перевод Александра Глезера). Вступительное слово Карло Каладзе

4

Вячеслав НАЗАРОВ. Песня. Утро... 11

Степан ЩИПАЧЕВ. Сквозь дымку. На жатве 12

Фазиль ИСКАНДЕР. Упряжка. Хранитель ночного огня. Телефоны 13

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ. «Не спеши увеличить запас...». «Нынче я пораньше лягу...». После поездки. Над старыми тетрадами. Баратынский 14

Марк ВЕЙЦМАН. Нежность. Рассвет 46

Михаил БЕЛЯЕВ. «Этот ров отыскиали ветра...». Баллада о буханке черного хлеба. «Взбеленились густые снега...» 47

Дмитрий СУХАРЕВ. Последняя декада декабря. Лес. Мать, а ведь самая мамина... 48

● ПРОЗА

Борис НОСИК. В последнем рейсе. Рассказ 8

Анатолий КУЗНЕЦОВ. Бабий Яр. Роман-документ (продолжение) 15

Аркадий АДАМОВ. Стая. Повесть 49

● СРЕДИ КНИГ

Рецензии и аннотации 72

● МОЯ РОДИНА

Леонид ВОЛЫНСКИЙ. Суздальская зима 75

● ПУБЛИЦИСТИКА

П. КОВАНОВ. Вы — молодые хозяева земли (написано по просьбе «Юности») 83

Н. ДОЛИНИНА. «Никакого подвига он не совершил...» 87

● НАШ ФЕЛЬЕТОН

Марк РОЗОВСКИЙ. Неоновый треск 92

● НАУКА И ТЕХНИКА

«Клуб любознательных» в гостях у «Юности»

* Анатолий МАЛАХОВ. Прорыв во времени. * Леонид РЕПИН. Они нас любят. * Дмитрий БИЛЕНКИН. Всемирно ли тяготение? * Владислав КОРЕНЕВ. Чувства глазами кибернетики. * Новости советской науки. * Вокруг земного шара. Рисунки И. Оффенгендена 94

● ЗАМЕТКИ

И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Где? Что? * З. ГЛУХ. Кропотнинская, 10. * Ю. НИКИТИН. Мы летаем на змее. * В. БРЕЖНЕВ. Секрет орловского хлеба. * Бронислав ГОРБ. Голос прошлого. * В. КАДЖАЯ. Музыка, музыка... 101

● СПОРТ

Георгий САТИРОВ. Двадцать четыре часа в сутки 106

● «ПЫЛЕСОС»

Гр. ГОРИН. Какая наглость! Рассказ 110

Каков вопрос — таков ответ! (из переписки Галки Галкиной) 111

На I и IV страницах обложки рисунок В. ВРОНСКОГО.

На II странице обложки плакат работы А. САЛДРЕ. На III странице обложки: Л. ЦУЦКИРИДЗЕ. Из цикла иллюстраций к новому изданию поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Портреты Б. Носика (стр. 8) и Аркадия Адамова (стр. 49) работы В. КРАСНОВСКОГО.

Художественный редактор Ю. Цишевский.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52.

Технический редактор Л. Зябкина.

Телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 10704. Подп. к печати 12/IX—1966 г. Формат бумаги 84×108^{1/16}. Объем 7,25 физ. печ. л. — 12,18 усл. печ. л. Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 1749. Заказ № 2075.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

«Я, чье имя»

К 800-летию

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЕЛИКОГО
ГРУЗИНСКОГО
ПОЭТА

Глядя на этот портрет, исполненный современным художником, мы обращаем взоры в глубину восьмисотлетней давности, в невозвратно отлетевшие времена, когда безвестный воин и певец слагал «Слово о полку Игореве», когда после смерти Фирдоуси прошло полтора века, а до рождения Данте оставалось около столетия, когда феодальная Грузия, возвышенная и упроченная усилиями Давида Строителя, переживала «золотой век» под самовластной рукой царицы Тамар...

Тогда-то жил великий грузинский поэт Шота Руставели, который, как гласят полулегендарные источники, «превосходил всех современников всею благостью и нравственностью, ученостью, мужеством, представительностью, красотой и привлекательностью лица, строением тела, добрым сердцем и щедростью...». Родился он, по некоторым предположениям, в 1166 году, а по другим — в 1174 году и от рождения был, возможно, беден, а быть может, богат, но, во всяком случае, богато одарен; учился в Грузии и в Афинах, знал несколько языков и был, рассказывают, приближен к царице Тамар, стал, утверждают, ее казначеем, написал, будто бы по ее повелению, поэму «Вепхис ткаосани», что означает «Витязь в тигровой шкуре» (Шота было тогда 30—35 лет), и далее легенда смутно гласит о любви, о вынужденном изгнании поэта, о монастыре в Иерусалиме, где почти через восемь веков посланцы Советской Грузии действительно, не веря глазам своим, увидят лик Руставели...

«В курганах книг, похоронивших стих», мы открываем сегодня не диковинный манускрипт, но живое лицо нашего брата во человечестве. Предвосхищая Возрождение, Руставели воплощал уже в себе его «жизнерадостное свободомыслие» (так определял Ф. Энгельс ренессансное мироощущение). Герои Шота, дети своего века, витязи своего века, пылали



У. ДЖАПАРИДЗЕ.

Портрет Шота Руставели.

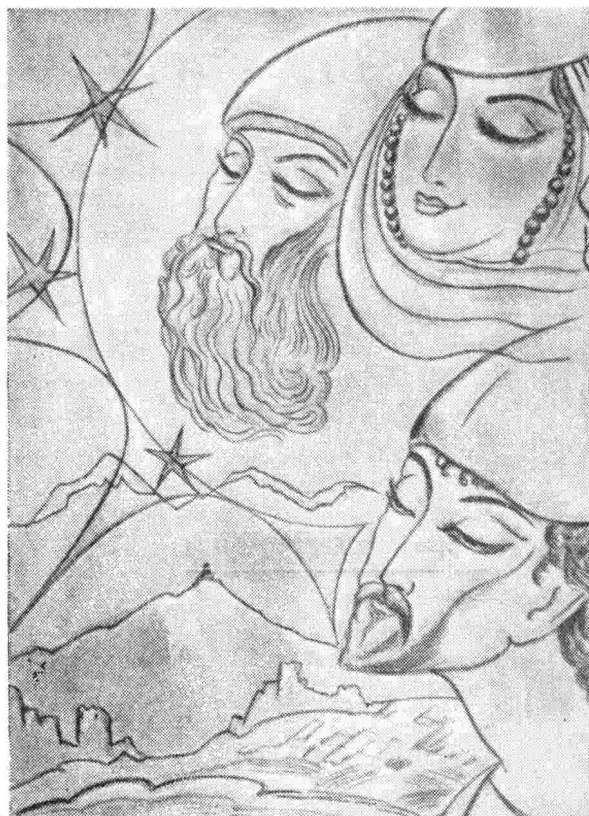
какими-то исполинскими страстями, которые завещаны нам в назидаение: вот что доступно человеку! Верховная идея Руставели — идея справедливости. «Сердце, дух и разум ясный» Шота сливает в своих любимцах: неистовом Тариэле, самоотверженном Автандиле, солнцеподобной Тинатин, в тигрице-деве Нестан-Дареджан. Они идут по средневековью, владея его мечом, но веря в нерушимость исходных нравственных заповедей, которые они ощущают не извне, но изнутри себя; их этика, несущая черты народной мудрости, знает нечто незыблемое, опорное: честь, долг, дружбу, любовь. Но это не религиозные постулаты, а свободно избранные ценности гуманизма. «Суть любви всегда прекрасна, непостижна и верна, ни с каким любодеем не равняется она: блуд — одно, любовь — другое, разделяет их стена. Человеку не пристало путать эти имена». Ге-



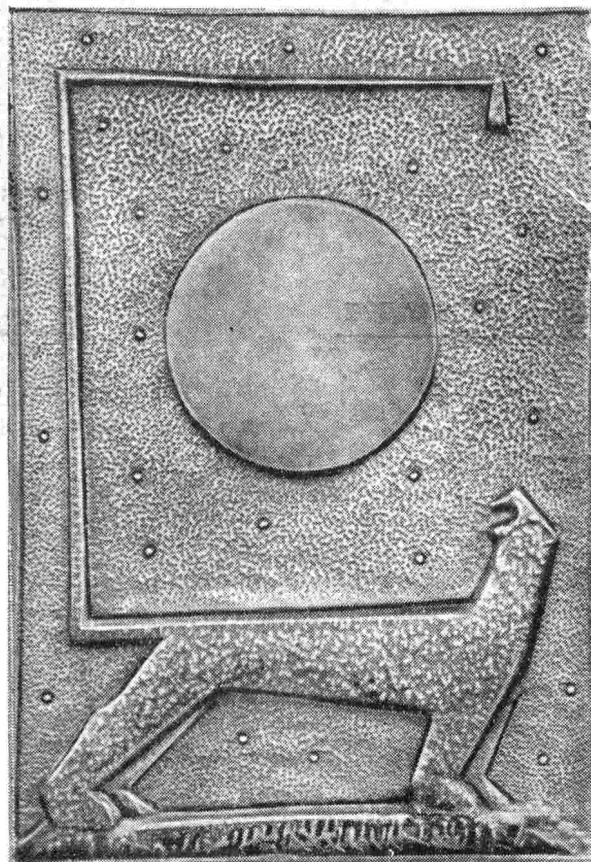
РУСТАВЕЛИ...»

рои Руставели не путают имена низости и благородства, они устремлены к высокому. Они внушают нам доверие к добрым силам человеческой природы. И так, сквозь время, сквозь условности и обстоятельства незапамятной эпохи, пробиваются они к нам, — неразъединимые в веках — Таризл и Нестан, Автандил и Тинатин.

«Вот, брат, книга эта — сокровищница грузинского сердца. На нашем языке не существует ничего, что было бы выше этой книги» — это слова основоположника новой грузинской литературы Ильи Чавчавадзе о бессмертном «Витязе в тигровой шкуре». И он же сказал: «Руставелевских героев надо рассматривать не из узенькой щели, откуда видно только карталинца, имеретина и кахетинца, но из огромного окна, из которого можно оглядеть все человечество во всей шири и глубине». Автор первого значительного поэтического перевода «Витязя» на русский язык — Константин Бальмонт писал о Шота Руставели: «Озаренный белым сиянием, он живет в памяти людей и народной мечте, в народной песне родной страны...» И еще одно признание — Юрия Тынянова: «Я не знаю в мировой поэзии более веч-



Л. ГУДИАШВИЛИ. Из цикла новых работ к поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».



Д. КИПШИДЗЕ.

Чеканка по мотивам поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

ных, более молодых женских слов, чем письма Нестан-Дареджан своему рыцарю, чем плач Ярославны в Путивле-граде на городской стене, чем письмо Татьяны к Онегину».

Поэт, о котором сказано было: «В стихотворстве Руставели не подражал ни грекам, ни персам, а сам избрал для сочинения своих стихов собственный грузинский лад и приемы», — этот восьмивековый великан Грузии стал ныне поэтом мира и прежде всего страны, исполнившей мечту Руставели о побратимстве народов, — нашей многоязыкой страны, где «Вепхис ткаосани» переводили на свои родные речи Николай Заболоцкий и Павел Антокольский, Микола Бажан и Петрусь Бровка, Самед Вургун и Дмитрий Гулиа...

Всемирный Совет Мира решил отметить 800-летие Руставели как один из праздников культуры борющегося человечества.

Поэт приходит к нам с беспредельными чаяниями:

Встало солнце над землею, бездна мрака отлетела.
Зло убито добротою, доброте же нет предела.

Это наши чаяния. Здравствуй, Шота Руставели!



«СКВОЗЬ ПОКОЛЕНЬЯ И ВЕКА...»

Грузию принято называть страной поэзии. Эту славу принес ей великий Руставели и утвердили Гурамишвили, Бараташвили, Церетели, Важа Пшавела и — склонив головы — недавно покинувшие нас Симон Чиковани и Георгий Леонидзе...

Для грузинской литературы и искусства в последние годы характерно появление талантливой плеяды молодых мастеров прозы, живописи, скульптуры и музыки. В поэзии, которая необычайно богата произведениями народного творчества и формы которой разработаны до совершенства классиками, в стране, где, начиная с колхозников и рабочих и кончая студентами и учеными, чуть ли не каждый стремится писать стихи, не легко, а, наоборот, чрезвычайно трудно создать произведения, которые привлекут внимание читателя.

Сейчас, после таких заметных явлений молодой поэзии, как стихи Анны Каландадзе и Мухрана Мачавариани, приятно видеть появление новых имен и в первую очередь Шота Нишнианидзе, братьев Тамаза и Отара Чиладзе, Джансуга Чарквиани и других. Радостно различать их свежие голоса, в большинстве случаев насыщенные сочными красками, свободные от мелкотемья и художественной упрощенности. За ними идет большая плеяда молодых, которым надо еще много потрудиться для освоения мастерства, чтобы утвердить и продолжить традицию служения народу, извечно характерную для грузинских поэтов.

Я не называю многих входящих ныне в поэзию имен, так как думаю, что дело не в хоре, а в самостоятельности каждого голоса, звучании в каждом голосе теплоты, искренности, новизны восприятия мира. А это лучше всего откроют русскому читателю сами стихи.

В нынешнем году мир торжественно отмечает 800-летие Руставели. Это есть всемирное признание бессмертия грузинского слова и грузинского языка. Всем поэтам, как молодым, так и непостаревшим мастерам, этот юбилей напоминает снова и снова, что быть поэтом и говорить с народом трудно, ответственно, но особенно необходимо сейчас — в эпоху претворения мечты человечества и его надежд.

Карло КАЛАДЗЕ

Морис ПОЦХИШВИЛИ

Руставели

Нет, нелегко все время быть в пути,
Шагать сквозь поколения и века.
Не чувствуя усталости, идти,
Когда устали даже облака,
И реки, и дороги...

И века...

Нет,
нелегко столетия поднять,
Не старясь, как дворцы и даже горы.
Не выдыхаться медленно от горя,
Бессмертником сухим не увядать.

Нет,
нелегко все эти восемьсот
Прошедших лет
звучать и повторяться —
И все ж необходимым оставаться,
Как воздух
и живительный восход.

Нет,
нелегко гореть и не сгорать,
Не становиться отрешенной тенью,
Не превращаться в горький прах забвенья,
А мудро и возвышенно сиять.

И, наконец, наверно, нелегко
Мне, молодому,
говорить с поэтом,
Прожившим восемь длительных веков...
Но я спешу к нему, забыв об этом.

Величие великих в простоте
И в детском даре подпускать вплотную
К своей душе.
Я вместе с ним горюю,
Смеюсь я с ним,
стремлюсь я с ним к мечте.

А строчки возвещают, будто медь,
Звенят они сильнее год от года...
Поет народ.
И не коснется смерть
Того, кто жил и умер для народа.

Заур БОЛКВАДЗЕ

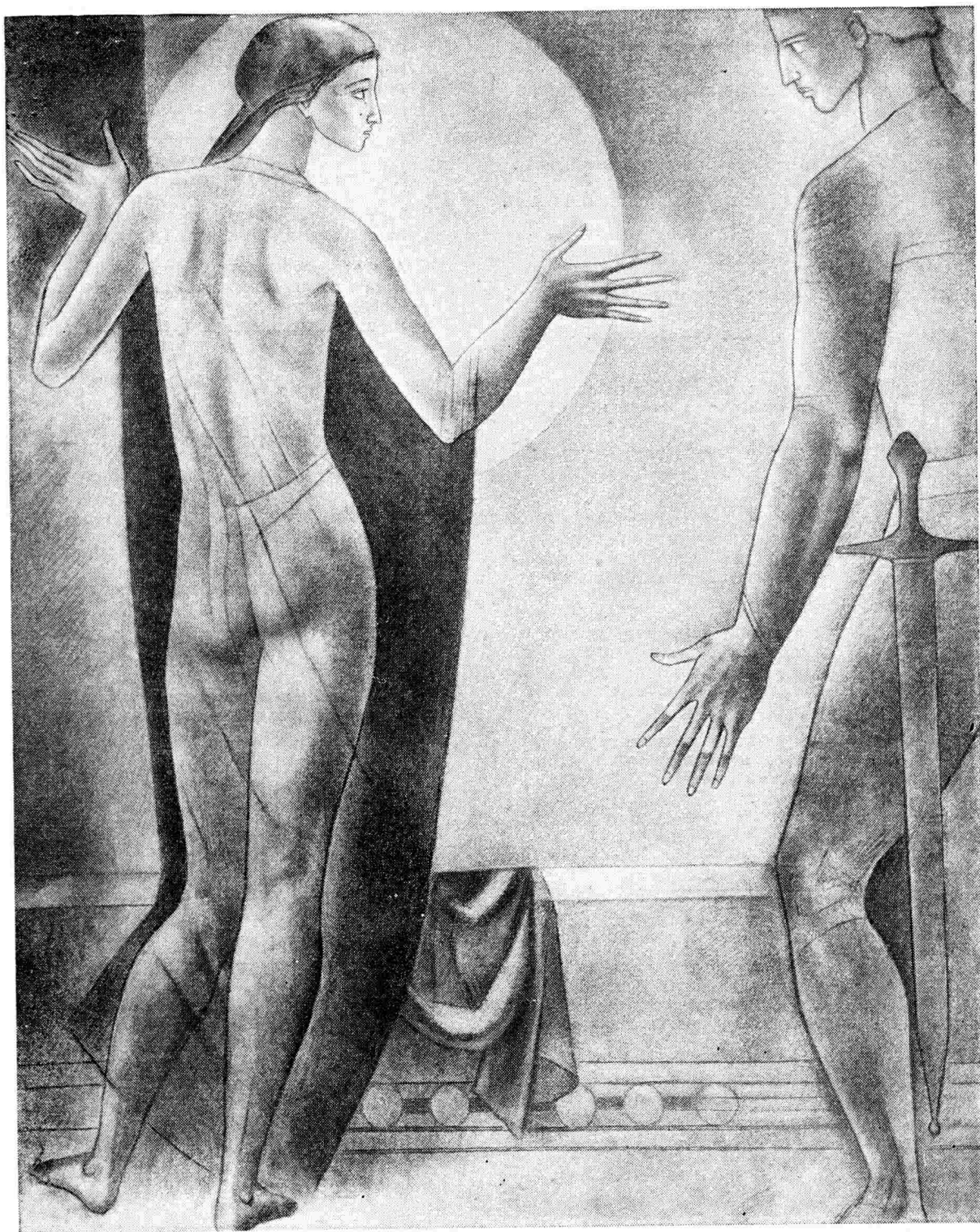
Музе

Я знаю:
во дворец грузинского стиха,
Где царствует светло великий Руставели,
Мой стих не постучит
и, что таить греха,
Притихшим малышом застынет возле
двери.

О муза! Я прошу: стань чуточку добрей,
Стань дерзкой, как Ингур,
и верной, словно Тмогви...
Не смог бы я прожить без Грузии моей.
Без Грузии, поверь, и умереть не смог бы.

Бессмертным светишь ты сильнее день
ото дня.
Зову — не дозовусь:
поможешь мне едва ли.
И все же буду жить,
коль погребут меня
На родине моей,
вблизи священной Мтквари.





л. цуцкиридзе.

Из иллюстраций к новому изданию поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

«...И увидел я на миг
Ту, чей взор копьём алмазным прямо в сердце мне проник».





Джансуг ЧАРКВИАНИ

Глиняные кувшины

Восходит солнце. Мы его поем.
Коса в траве высокой засверкает.
Заря стучится на рассвете в дом,
От странных сновидений избавляет.

Встречаем дождь без шапок —
только лей!

Мы глину месим, делаем кувшины.
Работают без усталости мужчины
Для Грузии возлюбленной своей.



Мы слушаем гуденье синих гор
Бессонными и долгими ночами.
Кувшины гасят мелкие печали,
И с будущим ведется разговор.

Пройдет гроза —
о молнии грустим,
Жалеем, что исчезла безвозвратно,
Что больше не вернуть ее обратно,
Что промелькнувший миг неповторим.



В кувшинах ищем и в улыбках ждем
Желанных многократных повторений.
Мы к морю за сомненьями идем
И в горы убегаем от сомнений.

Мы слушаем дыхание вершин,
И долгими, бессонными ночами
Кувшины гасят мелкие печали...
И думает о будущем грузин.

Тамаз ЧИЛАДЗЕ



Я помню дождь, восторженный, весенний,
И руки твои худенькие, белые.
Тень вишни примостилась на ступени,
И лестница чуть слышно заскрипела.

А мы с тобой притихли отчего-то...
Не знаю я, кто властвовал над нами,
Над первою любовью,

над сердцами
И чистым голубым водоворотом —
Ребятскими
застенчивыми снами.



Сверху вниз: поэты М. ПОЦХИШВИЛИ, З. БОЛКВАДЗЕ, Д. ЧАРКВИАНИ,
Т. ЧИЛАДЗЕ, Л. СТУРУА.

Ингури

В голубом тростнике отдыхает река,
И вздыхает река в тростнике голубом.
А вдали небосвод, багровея слегка,
Догорает, как старый соломенный дом.

Словно чанги струна, что порвалась
навзрыд
И обвилась вокруг горла в бескрылой
тоске,
Тень сурового тела Ингури дрожит,
Распластавшись на желтом горячем песке.

А в долине, которая светом полна,
Ноги тихо скрестив, мой Ингури сидит.
И, спустившись испуганно с неба, луна
На коленях его, как чонгури, лежит.

Лиа СТУРУА

Смеются дети...

Я так люблю, когда на мостовой
Бесхитростных мужчин рисуют дети.
Мужчины вслух смеются над собой
И не боятся ничего на свете.

Я знаю человека одного.
Мне кажется, что он фальшив и мелок.
На мостовой я напишу его,
У дома нарисую белым мелом.

И станет он мужчиной в самый раз:
Высокий, настоящий и красивый.
Две точки намалюю вместо глаз
И до ушей раздвину рот смешливый.

Так дети ощущают смех. Ведь им
Дано поверить в таинство любое:
Нарисовав уродливых мужчин,
Они им дарят имена героев.

И, мелом нарисована, встает
Иная жизнь за спинами мужскими:
На месте глаз две точки, а под ними
Разрезанный улыбкой тонкий рот.

Нелли ГАБРИЧИДЗЕ

1945-й

Косыми линиями,
неровными линиями
На красных листьях
мы флажки рисовали.
А потом вырезали
косыми линиями,
Очень неумело
и очень старательно



Нарисованные нами красные флажки.
И был праздник,
и был флажок на ивовой ветке.
Мы бежали из школы
и по узеньким тропкам
Добирались до старой, замшелой скалы.
Был праздник —
Девятое мая,—
И на зеленых ветках
полюхали флажки.

Медая КАХИДЗЕ

Здесь столько солнца

Здесь так много солнечного света,
Здесь тепло укутывает тело.
Кажется, его растопит летом,
Раскаленным и от солнца белым.

Собирай лучи, что пышут жаром,
Отправляя за пазуху скорее,
Хочешь солнце взять —
бери задаром,
Все равно людей оно согреет.

Хватит всем —
тебе и мне светила...
А вдали краснеют горизонты.
Страшно мне: в пути иссякнут силы
И не одолею я высоты.

Тень моя становится короче
И дорогу делает короткой.
В солнечном цветном водовороте
Я иду усталой походкой.

И средь солнца выросшие горы
Кажутся гигантскими стогами.
Это дэвы их воздвигли гордо
Сотни лет назад под облаками.

Солнце здесь бескрайнее, как поле,
Здесь лучи играют, землю грея.
Если хочешь, собирай в подол их
Да бросай за пазуху скорее.

Все равно здесь не убудет света,
Ничего тебе не сделать с ними —
С этими горами, с этим летом,
С этим лесом солнечным и синим.

Переводы Александра ГЛЕЗЕРА

Тариэл ЧАНТУРИЯ

☆

Нагревается за день река,
и становится ночью теплее.
И рука твоя тоже, рука,
в темноте мне обвившая шею.
Ночь идет, еле ноги свои волоча,
с ветки падает дикая груша.
Бормотанье ручья
и листвы засыпающей слушай!
Ты тепла, как река,
ты пылающий полдень вобрала,
ты надежно-зыбка,
как понтонная переправа.
Приближается кос твоих мгла,
над сиянием лба заплетенных.
Ты смирна и слаба,
как голодный, ручной олененок.
И качает понтон... И слегка
в синем свете дрожит Имерети...
Кто-то нас окликает!
Река!
И теплы твои руки, как реки...

Перевод Германа ПЛИСЕЦКОГО

Шота НИШНИАНИДЗЕ

Память

Земля надела светлые обновы,
И птицы снова на заре летят.
А на кургане обелиск суровый
Над братской могилой солдат.

И заслужил любой погибший воин,
Чтоб памятник стоял над ним одним,
Но коль воздвигнуть всем, кто их достоин,
Земля бы стала кладбищем большим.

Из-за кургана раннею порою,
Лучи бросая, выплывает диск.
Над мирною проснувшейся землею
Встает рассвет, как вечный обелиск.

Перевел Александр ГЛЕЗЕР

Сверху вниз: поэты Н. ГАБРИЧИДЗЕ, М. КАХИДЗЕ, Т. ЧАНТУРИЯ,
Ш. НИШНИАНИДЗЕ.





● Борис Носик

В ПОСЛЕДНЕМ РЕЙСЕ

Рисунки Ю. Цишевского.

Эту историю рассказала мне в Ростовском обкоме комсомола Вика Хожило и потом еще по-разному рассказывали многие. Случилось же это неподалеку от Ростова-на-Дону...

С выездом Генка задержался. Еще до обеда он узнал, что придется перегонять в Новочеркасск автокран, а только что-то все не хотелось уезжать из Ростова. По дороге в гараж Генка решил зайти в угловой книжный на проспекте Энгельса поискать чего-нибудь новенького. Он почти всегда перед рейсом покупал книжки: мало как сложится, и будешь там загорать, помирая от скуки. Перед прошлой поездкой в Краснодар Генка там же, на углу, набрал много всякого. Забавный тип в тот раз толкался у прилавка; каких только типов в Ростове не встретишь! Генка сперва подумал, что он учитель какой-нибудь. Оказалось, нет, тоже рабочий, с «Аксая», волочилик он, что ли. Но такой дока, ну, кажется, нет книжки, чтоб он не знал. И про все так рассказывает, как будто они его ученики, эти заграничные писатели и всякие поэты, и он их учит, как им писать. В общем, интересный паренек, хотя, конечно, если все слушать, что он насовествовал, непременно в кювете окажешься кверху колесами. Ни о чем с ним спорить Генка, конечно, не стал, стоял себе рядом и слушал спокойненько, а продавщица, симпатичная такая девчонка, тоже слушала, а иногда улыбалась. Может, она тоже прочла все эти книжки, о которых тот чудак рассказывал. Зато книжки Генка в тот раз хорошие отобрал — роман про военное время и еще биографию шотландского поэта.

Сегодня эта девчонка-продавщица Генку сразу признала. И хотя народу было полно, она с ним очень долго возилась и отобрала ему толстенный роман про американскую жизнь и еще одну маленькую книжечку — стихи. Потом завернула все так ак-

куратненько и сказала, чтоб приходил еще. И одна тетка, которая ждала своей очереди, не выдержала даже и сказала продавщице (бывают такие вредные): «Это что, ваш кавалер, что ли?» И Генка ей сказал: «Конечно, а вы что-нибудь против имеете?» Продавщица покраснела, а Генка собрал свои книжки и пошел.

На проспекте Энгельса было белым-бело от свежего снега. И солнце сверкало по-весеннему. И народ валил валом: ростовчане любят, когда такой снежок. И Генке стало почему-то очень весело. Может, из-за этого случая в магазине. А может, потому, что снежок. А может, и просто так. И казалось, что самое трудное позади — и школа и армия. Теперь каждый день думалось, что вот завтра-то и начнется самое главное в жизни, самое интересное. Генка пока и сам еще не знал, что именно. Может, подготовится и поступит учиться куда-нибудь. Может, просто завербует на работу далеко-далеко, на восток или на север. А может, влюбится в какую-нибудь хорошую девчонку, в такую вот, как та продавщица из книжного, толковая, наверно, дивчина.

Так Генка шел и улыбался, не зная чему. На углу улицы Семашко он зашел в кафе-автомат и съел пару пончиков. Хотел еще пива выпить, но решил перед рейсом воздержаться: хлопот с ним не оберешься, с этим пивным запахом. У парка Горького, как всегда, стояла толпа. Какие-то дядьки в спецовках, небось, после смены, ребятишки с книгами, студенты. Обсуждали футбольные новости. Собственно, новостей-то, кажется, и не было, но у этих вечно новости. Газеты «Футбол» начитаются и спорят тут у парка до темноты: «Что вы мне говорите про Понедельника! Что мне ваш Понедельник? Иванов, если хотите, всех обойдет. Это же ходовой игрок...»

Чудаки люди, и чего спорят? Если б сами еще играли... Генка постоял, послушал немного и усмехнулся: тоже ведь занятие — стоять часами на тротуаре и спорить про каких-то Понедельников!

Генке стало совсем весело, и в этом добродушном настроении он решил заехать на автовокзал повидать Галку. Да, конечно, они повздорили в тот последний его приезд. И вообще похоже, ничего хорошего у них больше не будет, так они оба думали. А только почему бы ему сейчас не заехать, не повидаться? Тем более перед рейсом. Он ведь к ней хорошо относится, к Галке, а она сама говорила, что ей плохо, когда она Генку не видит. В общем-то они тогда, в его последний приезд, твердо решили, что все, basta. Уж очень плохо было в тот раз: чего-то Галка темнила, все куда-то ей нужно было срочно бежать, а куда, она так толком и не сказала...

Однако сейчас на солнечном белоснежном проспекте Энгельса все было просто. И Генке было сейчас хорошо и захотелось повидать Галку. Просто попрощаться перед рейсом. Или хоть поздороваться. Просто подойти к диспетчерской и сказать: «Как дела, Галочка? Хороший денек!»

Во дворе автостанции шла посадка на новочеркасский автобус. «Попутчик, — подумал Генка. — Давай давай. Жми. Все равно догоню».

Окошко диспетчерской было открыто. Генка увидел через него, что в комнатенке полно народу и накурено: дымище такой, хоть топор вешай. Среди этого дыма, чьих-то голов, спецовок и телогреек Генка увидел Галино лицо. Потом услышал ее смех. Галя сидела спиной к окошечку и не видела Генку. Какой-то незнакомый шофер рассказывал ей что-то, наверное, смешное, а может, и чуток неприличное даже, потому что Галка смеялась, но как-то не совсем естественно. «Выламывается», — осуждающе подумал Генка.

Потом Галя прикрыла рукой лицо и легонько стукнула шофера по плечу.

— Да ну вас всех! — сказала она. И Генка услышал в ее голосе что-то такое знакомое, озорное и ласковое...

Генка с силой рванул дверь, взвизгнувшую пружинной, и вышел на улицу. Там по-прежнему сияло солнце, блестел снег.

«Такая вот она всегда, — зло подумал Генка. — Все правильно. Решили — и конец. И нечего тут заходить, прощаться-здороваться. Нашел с кем дружбу водить!.. Чертов снег. И солнце еще. На шоссе, небось, гололед. Ехать уже пора...»



Но Генка не уходил. Он постоял и покурил еще немного у кассового павильончика. Пожалел, что не выпил пива.

Посадка на новочеркасский автобус подходила к концу. У входа в автобус еще оставалось два-три человека. Молодая женщина в очень длинном и ярком фиолетовом пальто угаваривала щекастого, румяного пацанчика бросить мороженое: «Ну идем, детонька, автобус тронется». А тот мазался мороженым и ни за что не хотел бросать его. Подошла старушка, увешанная сумками, и вскарабкалась на ступеньку. Двое парнишек в узеньких брюках, с жидкой, неравномерной порослью усов и бород, торопливо докуривали у подножки.

Малыш доел мороженое и теперь облизывал пальцы. Мать втолкнула его в автобус, легонько шлепнув по толстенькому, обтянутому рейтузами заднику. Вошли в автобус и те щеголеватые пацаны, по очереди, уже со ступеньки мастерски бросив в снег окурки. Дверь автобуса захлопнулась. «Пора и мне», — подумал Генка и поежился. Начинало подмораживать.

Он снова вышел на улицу Энгельса. Здесь по-прежнему бурлил людской поток. «Будто сутки прошли», — подумал Генка. Солнце сияло

над заснеженным проспектом. Подошел троллейбус. Надумав в последнюю минуту, Генка вскочил в него. В троллейбусе тоже пахло снегом. Зазвонела мелочь. Что-то невнятное пробурчал в свой микрофон водитель. Э-э, все обойдется. Все. И еще как здорово будет! Все правильно. Молодец, Галка! Валяй, валяй!

Из гаража Генка выехал уже в своем обычном добродушном настроении, за которое и любили его ребята в гараже, а раньше у себя, на заводе. Выехал он, как всегда выезжал в рейс, — предвкушая что-то новое и необычное, что всегда может послать тебе дорога. Да, в дороге он становился совсем другим человеком. Чего она с тобой только не делает, дорога! В дороге он пел. В дороге он даже стихи себе под нос бубнил. Какие-нибудь стихи из новой книжки. Или из школьной программы. А то и свои. Какие-нибудь грустные-грустные. Или веселые. Это смотря по настроению.

Дорога, дорога. Подъемы и скаты, Колodцы да клубы, амбары да хаты. Несите же, в скаты обутое ноги! Нет лучше на свете далекой дороги.

Завгар один раз ночью ехал у Генки в кабине и слышал, как он себе под нос стихи бурчит. Когда приехали, велел ему накропать для гаражной стеногазеты что-нибудь воспитательное про шоферскую

жизнь. Но только когда Генка вылезал из кабины, стихи в нем затихали. Так что он их никогда не записывал.

И сегодня Генка тоже ехал полегонечку, напевал про Черное море, про московские окна и всякий негасимый свет и думал о разном. О том, что надо осенью куда-нибудь поступать учиться и надо только скорее придумать, куда. Куда? Куда-никуда надо. Еще о том, что надо, как вернется, зайти в книжный на улицу Энгельса, поговорить с той дивчиной... Бывают же вот такие разумнячие.



У Синькова он подобрал какого-то дядечку. Стоит человек на ветру в легоньком пальтишке, с чемоданчиком и голосует всем проходящим машинам: самосвалам, автокранам, автобусам, газонам — кто первый возьмет. Не всякий, конечно, берет. У кого настроения нет. А то бывают такие жлобы...

Генка подобрал — все веселей. Новый человек.

— Далеко? — спросил Генка.

— До райцентра.

— Издалека?

— Из Москвы.

— Из самой Москвы? Небось, корреспондент, — сказал Генка полушутя, потому что хотя он этих корреспондентов не видел, но из кино и книг знал, что народ этот непоседливый.

— Вроде этого, — к Генкиному удивлению, согласился попутчик.

Не очень старый. Лет тридцать, наверно, будет. Что ж, разные люди в дороге.

— Все ездите, — сказал Генка, вглядываясь в дорогу.

— Это правда. Есть такая слабость. Вот домой еду, кажется, уж соскучился, дальше некуда. А дня через два, отмыться еще не успеешь и в театр сходить, а снова в дорогу хочется. Я думаю, ладно, может, наежусь, пока холостой...

«Это точно, — подумал Генка. — Каждый раз так». Но вслух он произнес ворчливо, точно завгар на диспетчерском после праздника:

— Значит, не женат еще. А чего ждете?

— Как чего? — добродушно сказал попутчик. — Любви.

Нет, что ни говори, отличная вещь дорога! Едут вот так незнакомые люди и говорят так откровенно, как иной раз с другом стесняешься. Отчего? То ли оттого, что больше, наверно, не встретишься. То ли просто настроение в дороге такое особенное.

— А цель у вас здесь какая? В общем, задание?

Попутчик помолчал, потом вздохнул:

— Шеф сказал: подвиг нужен. Подвиг ищут.

— Подвиг? — удивился Генка. — Что у нас тут, фронт, что ли? Это вам в Антарктику надо, наверно.

— Не знаю. Может быть. Я так иногда думаю, что подвиг — это когда человек о других начинает думать больше, чем о себе. Вот живет, как все. А потом обстоятельства так сложатся, и человек решает пострадать за других. А бывает, что и не придется страдать. Просто всю жизнь так живет человек. И это не страдание для него, а его счастье. Вроде как его образ жизни. Нескладно я. Но понимаешь?

— Ну, положим. И что ж. много таких людей встречается?

— Есть. Есть такие, хотя и не так уж много встречал... Мне бы вот тут, у чайной. Спасибо, друг!

Он спрыгнул на дорогу, и промозглый вечерний ветер отвернул полу его тоненького пальто. Он рылся в карманах.

— Да что вы, — сказал Генка, — не надо мне никаких денег! Дело командировочное.

Он захлопнул дверцу кабины.

— Счастливого пути!

— Счастливо...

Генка насвистывал, глядя на дорогу. Станный малый. Любви, говорит, жду. Как Генка. Как и все, наверно, кто, конечно, сказать не стесняется. И насчет подвига тоже: это, говорит, когда о других думают. А что, есть такие, наверно? Встречаются. Только мало про них знаем. Да что там! Про себя само много ли знаешь?..

Вечерело. То насвистывая, то напевая, то просто бурча что-то себе под нос, вел Генка свой тяжелый автокран. И думалось ему о дороге, об учебе, о дальних, невиданных еще городах, о незнакомых людях, о какой-то девушке, доброй и умной, не похожей ни на кого. Думалось о чужой непонятной жизни и чужих непонятных еще мыслях. Думалось о подвиге. И только не думалось, что очень скоро, в этот самый вечер, он, Генка, совершит подвиг.

На горизонте уже мерцали огни Новочеркасска. Теперь дорога пошла под уклон. Впереди на шоссе тепло засветились окна ростовского автобуса. Он был как жилой дом среди пустоты и сумерек. Автобус осторожно шел по склону, и Генка вдруг вспомнил весь странный сегодняшний день, дворик автостанции, посадку на этот самый автобус. Там, внутри, уже дремал, наверно, притулившись к матери, мордастенький пацан с мороженым. И те два салаги с бородками, наверно, все обсуждали свои серьезные пацанские дела. А старушка с сумками уже, наверно, вышла.

Эта сельская...

«Вот я и догнал вас, голубчики», — подумал Генка, а потом вдруг вспомнилось: «Надо чуть притормозить. Скользко». Его машина, беря разгон, уже настигала автобус. «Надо притормозить. Чуть-чуть». А в следующее мгновение холодный пот проступил у него на спине. Тормоз отказал. Отказал совсем. Что же делать? А? Совсем... Расстояние между его машиной и автобусом стремительно сокращалось. Что делать? Обгонять? Да? Объехать? Нельзя. Никак. Задену. Людей полно. Автобус. Люди. Автобус. Люди...



Генка даже приподнялся над баранкой. Пацан с мороженым. Эти двое. Женщина в синем. Нет, в фиолетовом. Что в фиолетовом? Свернуть. Скорее свернуть. Перед ним совсем рядом мирно светилося заднее стекло автобуса. Тепло там. Чья-то голова покачивается. Человек. Человеки. Люди.

род. Сшиблись две мертвые массы железа, стиснув хрупкое тело парнишки-шофера, еще думавшего о незнакомых ему людях из автобуса. Заскрежело железо, зазвенело стекло. Еще с минуту что-то сыпалось, шуршало, звенело. Потом все стихло на потемневшем шоссе.

Люди. Они и не знали, какая громада набегаёт, надвигается на них сзади. Не знали, что взмокший от тоски и муки мечется у себя в кабине шофер Генка, парнишка, смертельно озабоченный их судьбой. Только бы свернуть. Свернуть. Спасти автобус. Генка крутил баранку. Еще. Еще. Скорей!

Громада крана в каком-нибудь метре пронеслась позади автобуса, свернула с шоссе и со всего хода врезалась в чугунную колонну триумфальных ворот, еще с екатерининских времен стоявших у въезда в го-



**Вячеслав
Назаров**

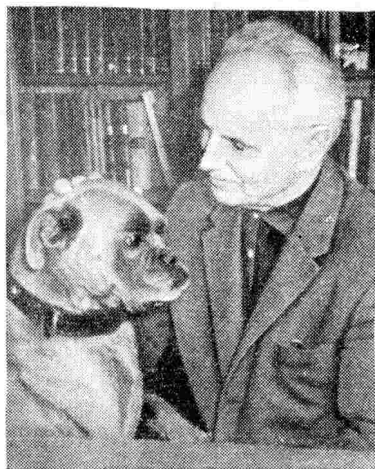
Песня

Помню я: на закате —
островерхие ели...
В Дивногорске девчата
о России запели.
Пели тихо, по-русски,
поправляя платки,
у скалистого русла
потемневшей реки.
Проступая нерезко
сквозь вечерний туман,
как огромное сердце,
трепетал котлован.

И плыла эта песня
из туманных глубин
над огнями, и плеском,
и рычаньем машин,
над горами — и круче,
в отступающий мрак,
где на вздыбленной круче
развевается флаг.

Утро

Окончена ночная смена.
Строители идут домой.
Сквозные утренние тени
лежат на просеке прямой.
Ты ждешь героя — профиль гордый,
печать дерзанья на челе.
Но лишь по связке электродов
узнаешь бога на земле.
Вот он идет — слегка сутулый,
слегка усталый человек,
как падуны, широкоскулый,
с глазами в цвет таежных рек.
Но все же он — небесный житель.
Его профессию — не тронь.
Я счастлив, если мне строитель
подаст тяжелую ладонь.
Таким не надо статуй куцых.
Их слава без того крепка
в крылатых контурах конструкций,
как будто рвущихся в века.
Таким не надо од хвалебных
и восхищенья на ходу.
Такие сами впишут в небо
свою счастливую звезду.



Станислав
Жуков

СКВОЗЬ ДЫМКУ

А. Борицаговскому

Просторы, просторы.
Покой синевы,
да падают звезды
в прохладу травы,

да стрелы-дороги
куда-то летят...
Хлеба и хлеба —
не охватит и взгляд.

Хлеба... И стогами
душисты покосы.
Стоят вертолеты —
большие стрекозы.

Видны элеваторов
смутные грани
в закатной пыли,
в золотом океане.

Сквозь дымку,
сквозь легкое марево лета,
как черные молнии —
мотоциклеты.

Мелькают литые
девичьи коленки...
Хлеба у дорог —
две наклонные стенки.

Не то счетоводы,
не то агрономы
ведут по дорогам
трескучие громы.

Ничто не напомнит
надменным коровам,
что время когда-то
бывало суровым:

чтоб с ног не свалило
бедой-голодухой,
веревки корову
держали под брюхо.

А пашни...
Как было им знать до поры:
то — в славе пары,
то — в опале пары.

Скакали на вспаханном
черные галки,
черные галки,
в черном гадалки.

Но взгляд я вперяю
вперед — не назад.
Мне синью полей
заливает глаза.

Но вижу я:
окна — квадратами неба.
То фабрики хлеба,
то фабрики хлеба.

Не стану гадать,
сколько лет утекло.
С полями сроднились
асфальт и стекло.

Идут хлебобобы,
что знают едва ли,
где хмурые избы
свой век доживали.

О явь! Как светла ты
за дымкою той,
за дымкой, где ты —
пополам с мечтой!

На жатве

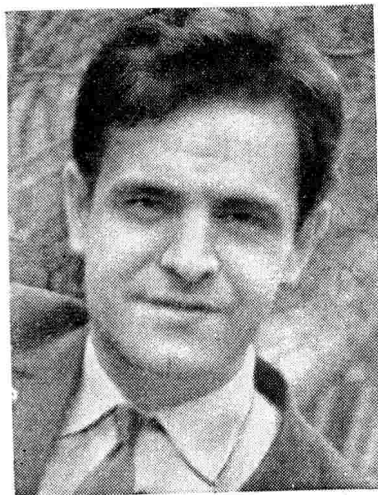
Все помню, хоть был еще мал:
с колючей стерни подымая,
по-взрослому спину ломая,
я жарко снопы обнимал.

Я чувствовал их шершавость.
Мне жарко от них дышалось.

Я ставил снопы в суслоны,
пот тепловато-соленый
размазывал по щекам.
Ступал — было колко ногам.

В глазах золотилось поле
все в дымке горячего дня.

Я в детстве одним доволен:
оно научило меня
всю жизнь ненавидеть жгуче
бездельников-белоручек.



Фазиль Искандер

Упряжка

Что за выдумка, однако!
Среди зимних сосен рыжих
Вперед бегит собака,
Сзади — девушка на лыжах.

Легкой папкою махая,
Поводок в руке — внятяжку,
МчитсЯ девушка лихая,
Рвется храбраЯ упряжка.

В снежном вихре, в клубах дыма
Налетели, пролетели.
Полыхнул румянец мимо,
Мимо лыжи прошумели.

Здравствуй, творческая тяга,
Жизни древняя приманка,
Ты — лохматая собака,
Ты — лохматая беглянка.

Только пар качнулся зыбко
Над лыжной едва протертой.
Мне запомнилась улыбка
На большой собачьей морде.

Затихает в дальней чаще
Серебристое виденье.
Ну, а что такое счастье —
Чудо, молодость, везенье!

Может, зимняя дорога,
Да веселая отвага,
Да фантазии немного,
Да хорошая собака.

Хранитель ночного огня

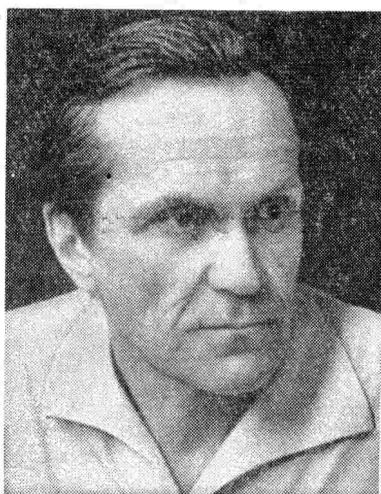
Ночь висит над чернеющим взгорьем,
Спит причал и на рейде баркас,
Только шарит прожектор над морем —
Циклопической мудрости глаз.
Он скользнул по рыбацким халупам,
Он обшарил баркас и причал,
Он поднялся по скальным уступам,
Опустился и пляж прочесал.

Двух влюбленных сживая со света,
Разрывая спасительный мрак,
Оглушил водопадами света
И с минуту смотрел, как дурак.
Но внезапно меня обнаружив,
Одинокого, на берегу,
Электрический глаз поднатужив,
Ждал, быть может, что я побегу.
Что ж, начни! Хоть до боли, до рези
Озари, как бывало не раз,
Но поймав мою душу в разрезе
Побелевших, несломленных глаз,
Как поймешь мои беды дневные
Ты — хранитель ночного огня!
Как поймешь мои мысли ночные
Ты, что вырвал из ночи меня!
От не заданных мною вопросов
Ты угрюмо уносишься в темь,
За моею спиною отбросив
Подозрительно длинную тень.

Телефоны

Какую тему ни затрону,
А эта на пере висит.
Двадцатый век! По телефону
Весь мир взбесившийся звонит.
Дома звонками оглашают,
Кому-нибудь кричат: «Кончай!»
Звонят, как будто приглашают
На ужин дружеский, на чай.
Все говорят как о визите,
Хоть нежелателен визит:
— Вы обязательно звоните...
Весь мир с надеждою звонит.
С волос дождинки отряхая,
Девчонка в будочку вбежит,
От любопытства полыхая,
Привстав на цыпочки, трещит.
Но некогда! С гримасой едкой
Командировочный в пылу
Скребется нервной монеткой,
Как бы алмазом по стеклу.
А жители столиц — артисты!
Всем духам предъявляя иск,
Как будто блюдца спиритисты,
Вращают телефонный диск.
А тем, что должностью постарше,
Охотно, не считая за труд,
Готовый номер секретарши,
Как черный кофе подают.
Вот коммунальный захлебнется!
Куда-то едут, ждут гостей,
Из города, как из колодца,
Качают воду новостей.
Весь день, весь день из подворотни
Неугомонные щенки!
И вдруг большой, междугородный
Прихлопнет мелкие звонки.
И в одиночку и капеллой
Звонят сто тысяч раз на дню.
Звонят по делу и без дела.
Весь мир звонит, и я звоню.
Взлетают номера по диску:
Нарсуд, милиция, Мосторг.
Однажды позвонишь в «Химчистку» —
И в страхе отшатнешься: морг.
Двадцатый век, какая наглость!
Ты поплатился за игру,
Положенное с глазу на глаз
Передоверивши шнуру.

Но не смущусь догадкой скучной,
Морщину вырезав на лбу,
Что этот ворон равнодушный
Прокаркает мою судьбу.
Нет, телефон нам душу греет,
Надеждой озаряет дом.
Пожизненная потеря,
Счастливого звонка мы ждем.
Мы связаны (трещи и брызгай!),
Друзья, мне кажется порой,
Одной веревкой альпинистской
Или какой-нибудь другой.



**Варлам
Шаламов**



Не спеши увеличить запас
Занесенных в тетрадь впечатлений,
Не лови ускользающих фраз
И пустых не веди наблюдений.

Не ищи, по следам не ходи,
Занимайся любой работой —
Сердце сразу забьется в груди,
Если встретится важное что-то.

Наша память способна сама
Привести в безупречный порядок,
Все доставить тебе для письма,
Положить на страницы тетрадок.

Не смутись, может быть, через год
Пригодится такая обнова —
Вдруг раскроется дверь и войдет
Долгожданное важное слово.



Нынче я пораньше лягу,
Нынче отдохну,
Убери же с глаз бумагу,
Дай дорогу сну.
Мне лучи дневного света
Тяжелы для глаз,
Каменистый путь поэта
Людям не указ.
Легче в угольном забое,
Легче кем-нибудь,
Только не самим собою
Прошагать свой путь.

После поездки

Я не лекарственные травы
В столе храню.
Их трогаю не для забавы
Сто раз на дню.
Я сохраняю амулеты
В черте Москвы:
Народной магии предметы —
Клочки травы.
В свой дальний путь, в свой путь
недетский

Я взял в Москву,
Как тот царевич половецкий
Емшан-траву, —
Я ветку стланика с собою
Привез сюда,
Чтоб управлять своей судьбою
Из царства льда.

Над старыми тетрадами

Выгорает бумага...
Обращаются в пыль
Гордость, воля, отвага,
Сила, сказка и быль.
Радость точного слова —
Завершение труда —
Распылиться готова
И пропасть без следа.
Сколько было забыто
На коротком веку!
Сколько грозных событий
Сотрясало строку...
А тетрадка хранила
Столько бед, столько лет...
Выгорают чернила,
Попадая на свет.
Вытекающей кровью
Из слабующих вен,
Страстью, гневом, любовью,
Обращенными в тлен.

Баратынский

Мы втроем нашли находку —
Одинокий рваный том,
Робинзоновой походкой
Обходя забытый дом.
Мы друзьями прежде были,
Согласились мы на том,
Что находку рассудили
Соломоновым судом.
Предисловье — на цигарки,
Первый счастлив был вполне
Неожиданным подарком,
Что приснится лишь во сне.
Из страничек послесловья
Карты выкроил второй —
Пусть на доброе здоровье
Занимается игрой.
Третья часть от книги этой —
Драгоценные куски —
Позабывшего поэта
Вдохновенные стихи.
Я своей доволен частью
И премудрым горд судом,
Это было просто счастье —
Заглянуть в забытый дом.

● Анатолий Кузнецов



Рисунки С. Бродского.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

«ЧЕЛОВЕК ЕСТ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, А ЖИВЕТ, ЧТОБЫ ЕСТЬ»

В книгах, мною прочитанных, говорилось о любви и страданиях, о подвигах и путешествиях, о великих открытиях и познании. Но почему-то редко говорилось, откуда каждый день берется еда, чтобы любить, страдать, путешествовать, познавать. Они будто питались с неба, герои большинства книг. Вероятно,

где-то как-то там ели, обедали — и совершали заслуживающие большего внимания дела. Но постойте, а пообедать-то как, откуда?

Куда бы я ни посмотрел, большинство людей в жизни было озабочено именно тем, что поесть. Во что одеться. Где жить. И многие были отданы этим заботам целиком, без остатка, так тяжело это им доставалось.

Один мудрец сказал: человек ест, чтобы жить. Другой ядовито добавил: а живет, чтобы есть.

На очень, очень многих страницах книг описывались пиры разнообразных королей и мушкетеров, безусловно, заслуживающие внимания, и я о них читал с любопытством, примерно как сказки о подвигах Геракла. Но, признаться, мне куда ближе был Шолом-Алейхем, у которого люди так отчаянно бились за кусочек хлеба, варили на продажу чернила и все такое. Я с безграничной любовью и благодарностью читал и перечитывал каждую строчку Тараса Шевченко, у которого матери жали чужую пшеницу на паншине и клали своих детей на меже, суя им жвачку с маком, чтобы не пищали. И как я понимал всю глубину и сложность проблемы шинели у Гоголя!

Боже мой, но ведь это же нужно каждый день, каждый день есть, чтобы жить! Я экономил, не зав-

Продолжение. Начало см. в № 3 за 1966 год.

РОМАН-ДОКУМЕНТ

тракал, рассуждая, что вот, если не позавтракаю, значит, больше будет на обед; а если и не пообедаю, значит, будет на завтрашний день.

Но тут бабка заметила, что у меня начинают опухать руки и ноги, они с матерью сами почти не ели, отдавая куски мне.

Я должен был добывать пропитание! У меня каждый день стучала в голове мысль: как достать поесть, что сегодня есть, что съедобное еще можно проглотить? Ходил, внимательно-испытующе осматривая кладовку, сарай, погреб, двор.

Умер от голода старый математик нашей школы Балатюк, он последние дни пытался работать дворником. Открывались заводы, и рабочим платили зарплату 200 рублей в месяц. Буханка хлеба на базаре стоила 120 рублей, стакан пшена — 20 рублей, десяток картофелин — 35 рублей, фунт сала — 700 рублей.

Уходя на войну (чтобы никогда не вернуться), отец Жорки Гороховского, слесарь с «Главпищемаша», оставил все свои инструменты. Отцовская мастерская в сарайчике стала Жоркиной. Сарайчик от пола до потолка был завален железной рухлядью, все это были вещи полезнейшие и незаменимые: сломанные часовые механизмы, велосипедные спицы, части от пушек, конская сбруя, магниты, матрацные пружины, целые ящики мелких железок, шайб, гаек и не разбирай-пойми чего еще, потому что у Жорки было правило жизни: какую бы железку он ни видел на земле, он ее сейчас же подбирал и нес к себе — болт, кусок проволоки, подкову — и определял им место в своей сокровищнице.

Мы с ним четыре года просидели на одной парте, я его очень любил, потому что он был серьезный парень и считал, что не хлебом единым сыт человек: ему еще нужно железо. Вот Жорка был молодчина: приспособился делать зажигалки из медных трубочек и стреляных патронных гильз. Мы с его младшим братом Колькой только сидели и, разинув рты, с уважением смотрели, как он священнодействует паяльником.

Колька, тот был прямой противоположностью старшему брату: беззаботный лентяй, бродяжка и бузотер. Еще он любил уничтожать: если находил электрическую лампочку, значит, ей судьбой предопределено быть хлопнутой о мостовую; огнетушитель следовало приводить в действие тотчас по обнаружении.

Материала для этого было достаточно: сразу за сарайчиком стоял большой дом училища ПВХО, которое заняли фашисты и откуда они, как положено, два часа выбрасывали в окна приборы, книги и пособия, чтоб не засоряли им жизнь.

Первое антифашистское выступление связано у меня именно с этим домом и Колькой. Обычная уборная-ров была выкопана во дворе училища так, что немцы со своими газетами сидели на жердочках к нам спиной. Поэтому мы взяли хорошую рогатку, выбрали у Жорки в ящике корявеньких гаек с заусеницами, подобрались к забору и, определив самый широкий зад, открыли огонь. Потом Жорка рассказывал, что в «читальне» поднялся сильный шум, немец не поленился перелезть через забор и ходил, отыскивая нас, чтобы поделиться впечатлениями.

Затем воинская часть ушла, и в доме училища открылась столовая для стариков. Сотни стариков поползли с клюками, с кастрюльками и ложками. Упра-

ва выдавала карточки сюда самым умирающим, опухающим и одиноким, и они, трясясь и ссорясь, толпились у раздаточного окна, получали по черпаку супа, тут же за столиками хлебали, смаковали, чмокали, давились, обливая бороды.

Мы с Колькой уныло ходили между столиками, почти ненавидя стариков, глядя в миски, которые они ревниво прикрывали руками.

Вдруг кухарка позвала нас:

— Воду носить до бака будете, хлопчики? Супу дадим.

Эх, мы чуть не завывали от счастья, схватили за две ручки самую большую кастрюлю, чесанули к колонке. Носили до самого закрытия, подлизывались, заглядывали кухаркам в глаза, и нам налили до краев по тарелке супу, который мы, гордые, счастливые, ели долго, растягивая удовольствие, молясь, чтобы вода была нужна завтра, послезавтра, запослезавтра.

Дед мой пытался тоже добыть карточку, ему не дали, сказали, что может работать, и он так горевал, что его взяли в столовую ночным сторожем. Он взял тулуп и подушку, отправился на первое дежурство, и я пошел за ним. У меня созрел смелый план.

Пока дед вздорил с кухарками и посудомойками, что ему не оставили супу, я смирно сидел в углу. Похлопали двери, все разошлись, дед заложил парадное ломом, пришел и стал устраивать себе топчан из скамеек, злобно бормоча: «Горлохватки проклятые, полные кошелки поперли, аспидки...»

Я решил начинать со второго этажа. В доме были длинные коридоры, закоулки, лестницы, масса дверей в аудитории и учебные кабинеты, и во всем этом огромном доме мы с дедом были одни.

В аудиториях вдоль стен стояли помосты на козлах, пол был усыпан соломой, бинтами, бумажками, и стоял тяжелый солдатский дух. Я лихорадочно принялся рыться в соломе, шарить под помостами и столами. Одни окурки и журналы.

Фотографии в журналах были отличные, на глянцевой бумаге. Немецкие солдаты стоят на пригорке и смотрят на соборы древнего Смоленска. Улыбающиеся люди в народных костюмах протягивают генералу хлеб-соль. Типичная русская красавица с богатой косой, словно из русского народного хора, моется голая в шайке под бревенчатой стеной, и подпись: «Русская баня».

Недокуренные, растопанные бычки я старательно собирал в карман. Жрать хотелось так, что темнело в глазах. Пираты когда-то жевали табак, и я стал жевать окурки, но это было горько, обжигало язык, насилиу отплевался.

В десятой или двенадцатой комнате я нашел наконец сухарь. Он был величиной с половину моей ладони, заплесневел, но был из белого хлеба! Я стал грызть его, не обскребая, чтоб ни крошки не пропало, слюнявил, разбивал о подоконник, клал кусочки в рот, сосал, пока они не превращались в кашку, перемешивал ее языком во рту, изнывая от вкуса, не спеша глотать, — у меня мурашки шли по телу.

Возбужденный удачей, я двинулся дальше — в химическую лабораторию, где было столько полок, стекла и приборов, что немцы, видно, поленились выбрасывать, лишь все переколотили да выцедили из спиртовок спирт.

У меня глаза разбежались: столько непонятных штук, стойки с пробирками, банки с химикатами, и ни черта-то я в надписях не понимал, открывал банки, встряхивал, вынюхивал — нет, не похоже на съедобное...

Во взломанном железном шкафу стояли колбы с надписями «Иприт», «Люизит» и так далее, я стал размышлять над ними. Люизит был неприятно красного цвета, но иприт — как черный кофе, и вот мне стало воображаться, что это в самом деле кофе, с сахаром, у меня все внутри задрожало, так захотелось кофе, открыть стеклянную пробку и попробовать: вдруг это не настоящий иприт, а подделка, учебное пособие, просто наливали кофе и показывали студентам как иприт, ведь могло такое быть? Даже пусть без сахара, все равно питательно... С большим трудом я заставил себя поставить колбу на место.

Открыл дверь в следующий кабинет — и похолодел. На столе посреди комнаты стоял окровавленный человек без ног и без рук. Первой моей мыслью было, что фашисты здесь пытали. Но тут же разглядел анатомические таблицы на стенах, это был кабинет анатомии.

Голова и грудь человеческого муляжа на столе были пробиты пулями, таблицы по стенам, особенно глаза, были тоже сильно обстреляны. Видно, солдаты упражнялись тут в стрельбе из пистолетов.

В зале для занятий самодеятельностью стояло разрушенное пианино. Было похоже, что его били чем-то тяжелым, кувалдами или топором, — проломил крышки, и клавиши торчали и валялись по полу, как выбитые зубы. Надо было очень ненавидеть это пианино, чтобы так с ним расправиться.

Добыча с третьего этажа была беднее — скрюченная черная корка величиной с полмизинца. Но тут с площадки к потолку вела таинственная витая лестница, я немедленно поднялся по ней, высадил головой люк и оказался на башне, заваленной пыльными ящиками, пожарными ведрами, листами железа. За выбитыми стеклами гудел ветер. Я влез на ящики и выглянул в окно.

Внизу подо мной лежали улицы, громоздились крыши. Трубы не дымили: не было дров, печатались

грозные приказы о сдаче всех запасов дров и угля, у нас запасов не было, бабка топила раз в три дня. Во дворе завода «Цепи Галля» не видно было ни души, словно он вымер. На улицах лишь кое-где торпировались редкие фигурки прохожих; город словно поражен чумой. Вдали показалась четко построенная колонна солдат, они длинным серо-зеленым прямоугольником двигались по мостовой, все до единого с одинаковыми газетными свертками, вероятно, из бани, и очень дружно, напряженно пели, как работали, песню такого содержания:

Ай-ли, ай-ля. Ай-ля!
Ай-ли, ай-ля. Ай-ля!
Ай-ли! Ай-ля! Ай-ля!
Хо-хо, хо-хо, ха-ха-ха...

Уже начинало темнеть, а главное у меня было впереди, я соскользнул с ящиков и покатился по лестницам вниз. Дед уже храпел на скамейках, постелив кожух. Я шмыгнул на кухню.

В ней стоял пресный запах супа, но плита совсем остыла, на ней громоздились огромные чистые и сухие кастрюли, сковороды тоже были чисты. Я шарил по столам, лазил под ними, обследовал все углы — ничего, ни крошки. В жизни не видел такой голой, чистой до пустоты кухни, и лишь этот запах, запах сводил меня с ума.

Пытаясь найти хоть крупинку пшена, я стал ползать, изучая щели в полу. Все чисто подметено! Я не мог поверить, начал поиск сначала. В одной кастрюле на стенке что-то чуть пригорело и не отскреблось — я поскреб и пожевал, так и не поняв, что это. Одна из сковород показала мне недостаточно вытертой. Я принял — она пахла жареным луком. Ах, проклятые горлохvatки, аспидки, они для себя суп даже заправляли — луком с подсолнечным маслом! Я заскулил, так мне хотелось супу, заправленного луком. Я стал лизать сковороду, не то воображая, не то в самом деле ощущая слабый вкус лука и масла, скулил и лизал, лизал.

«ВРАГИ»

Газета «Украинское слово» закрылась в декабре. Закрылся и литературный альманах «ЛИТАВРЫ», в котором, видно, бухнули не то. Объяснение:

«К нашему читателю!»

С сегодняшнего дня украинская газета будет выходить в новом виде, под названием «Новое украинское слово». Крайние националисты совместно с большевистски настроенными элементами сделали попытку превратить национально-украинскую газету в информационный орган для своих изменнических целей. Все предостережения немецких гражданских властей относительно того, что газета должна быть нейтральной и служить лишь на пользу украинскому народу, не были приняты во внимание. Была сделана попытка подорвать доверие, существующее между нашими немецкими освободителями и украинским народом.

Было произведено очищение редакции от изменнических элементов»¹.

¹ «Новое украинское слово», 14 декабря 1941 г.

2. «Юность» № 9.

О эта многозначительная последняя строчка!

Новая газета взялась за дело. Она поместила гневную статью «Шептуны» — о тех, кто рассказывает злопыхательские анекдоты. Эти подленькие, неумные анекдоты и темные слухи, писала газета, распространяют враги и изменники украинского народа, недовольные обыватели, мещане. Нужно объявить решительную общественную борьбу против таких распространителей слухов, злопыхателей и шептунов, и всех таковых нужно решительно наказывать.

Другая статья называлась «Накипь». Она бичевала тунеядцев, эту накипь, которая трудоустраиваться не хочет, а живет неизвестно чем, разными сомнительными заработками, засоряя собой общество. Их надлежит вылавливать, жестоко наказывать.

Газета стала полна окриков, угроз, нервной решительности. Половина объявлений печаталась только на немецком языке. А сводки «Главной квартиры Фюрера» стали лаконичными, тревожными: «В КОЛЕНЕ ДОНЦА ОТБИТЫ СИЛЬНЫЕ АТАКИ», «НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ ОТБИТЫ СОВЕТСКИЕ АТАКИ».

Мама сказала, что в немецких газетах нужно уметь читать не строчки, а между строчек. Я учился.

Дед видел на Владимирской горке повешенного. Припорошенный снегом, босой, он висел с вывороченной набок головой и черным лицом: то ли его сильно били, то ли почернел после смерти. На доске было написано, что он покушался на немца. Дед перепугался, рассказывал, а у самого борода дрожала.

В немецком штабе, на Дзержинской, партизаны взорвали мину. Хватали всех, не только мужчин, но и стариков, женщин с грудными детьми. Говорили, что больше тысячи человек отправили в Бабий Яр. Комендант Эбергард объявлений больше не давал.

Мы теперь боялись выходить на улицу: ну его к черту, откуда знать, где шарахнет взрыв, а тебя схватят... «Ты лазишь везде, — кричала мать на меня, — возвращаешься поздно, подстрелят, как зайца, не смей выходить!» С этим немецким временем просто беда: радио нет, а ходики идут, как им бог на душу положит, поэтому прежде, чем выйти на улицу, бабка шла узнавать время к соседям, потом

смотрела через забор, есть ли прохожие, и спрашивала время у них.

Только и разговоров: в Бабьем Яре расстреляли саботажников, стреляют украинских националистов, стреляют нарушителей светомаскировки, стреляют туеядцев, стреляют распространителей слухов, партизан — все враги, враги... Пулемет в овраге строчил каждый день, с утра до вечера.

— Что же это?.. — прислушиваясь, говорила мать. — Куда докатилась культура на земле?

— Враг пришел. Молчи! — говорила бабка.

— Но так через два года они перестреляют столько «врагов», что самого народа не останется. Тогда будет их идеал: ни народа, ни врагов, чисто и тихо...

— Ото правда, Маруся, сказано в писании: и тогда сам враг себя пожрет.

— Знают ли наши? Москву немцы не взяли, их уже остановили! Может, скоро наши перейдут в наступление?

— Ой, Маруся, пока день придет, роса очи выест.

РАНЕННЫЕ НА ЛЕСТНИЦЕ

Я знал, что они будут меня ждать, и заранее боялся этого. Выгрузил сухари из моей коробки, разломил на части пару вареных картошек, завернул в отдельный сверток, сунул в корзинку, приготовленную бабкой. Эта корзинка представляла собой баснословную ценность: в ней были кисель в банке, чекушка молока, даже рюмка со сливочным маслом. Вкус всего этого я забыл, оно было как драгоценные камни: красиво, а есть нельзя.

У базара я прицепился на порожний грузовик, присел в уголке кузова, надеясь, что шофер в заднее окошко не посмотрит. Он не посмотрел и гнал так быстро, что меня качало, как ваньку-встаньку, но у трамвайного парка он свернул, и пришлось спрыгнуть. Уж я столько прыгал по этим грузовикам, как кошка, главное, надо их ловить на поворотах, а если спрыгивать на полном ходу, то — отталкиваться изо всех сил, гася скорость, что я отлично усвоил после того, как пошмяклся мордой о мостовую.

У парка влез на грузовой трамвай, присел в углу платформы. Проводник ходил, собирал деньги, я отвернулся, словно не вижу его, он обошел меня. А где я ему денег возьму?

На Подоле спрыгнул, пошел на Андреевский спуск. На каждом шагу — нищие. Одни гнусавили, канючили, другие молча выставляли культяпки, стояли тихие, интеллигентные старички и старушки в очках и пенсне — разные профессора или педагоги, вроде нашего умершего математика. Сидели уж такие, что и не поймешь, живой он или уже окочурился. Этих нищих развелось просто ужас, все стучатся в дверь — то погорельцы, то с грудными детьми, то беженцы, то опухающие.

Стоял крепкий мороз, и прохожие брели по улицам хмурые, ежась под ветром, озабоченные, оборванные, в каких-то немыслимых бутсах, гнилых шинелях. Город сплошных нищих, это ж надо!

Андреевская церковь прилепилась над крутым склоном, словно парит над Подолом. Ее выстроил

Растрелли — легкую и стремительную, бело-голубую. Ее тоже обсели нищие, шло богослужение, я сейчас же протолкался внутрь, постоял, послушал и посмотрел на стенах картины знаменитых мастеров. Внутри была роскошь, золото, золото — и, нелепый контраст, эта оборванная, голодная, гнусавящая толпа богомольных баб, которые бились лбами о ледяной каменный пол.

Долго я не выдержал этого и ушел на галерею. Оттуда с высоты птичьего полета виден Днепр, Труханов остров и левобережные дали с Дарницей. Тут хочется облокотиться на парапет и думать.

Немецкий офицер, забравшись по снегу на склон, фотографировал церковь особым ракурсом снизу, и я, сам умеющий немного снимать, следил, как он умело выбирает точку. Я у него — единственная человеческая фигура — должен был попасть в центр кадра.

Я не уходил, но смотрел в упор на него и думал: «Вот ты щелкаешь затвором, потом проявишь пленку, сделаешь отпечатки и пошлешь домой семье, чтобы они посмотрели, что ты завоевал. Ты снимаешь, как свою собственность: добыл себе это право, стреляя. Какое ты имеешь отношение к Андреевской церкви, к Киеву? Лишь то, что пришел, стреляя? Убивая. Беря как бандит. Одни строят, бьются в поте лица — затем находятся бандиты, которые сроду ничего не умели создать, но умеют стрелять. Вы, только вы, стреляющие, истинные и подлинные враги. Отныне и до конца жизни я ненавижу вас и ваши пукалки, которые стреляют. Может, я сдохну от голода или от вашей пули, но сдохну, презирая вас, как самое омерзительное, что только есть на земле».

И я ушел, задыхаясь от бессильной ярости и горечи, очнувшись лишь на площади Богдана Хмельницкого, которую пересекала странная колонна солдат-лыжников. Они совершенно не умели ходить на лыжах:

топтались, скользили, заплетались. Шорох стоял на всю площадь, и у них был довольно жалкий вид, обиженные и злые лица. Видно, их заставляли насильно овладевать хитроумным этим делом, офицер кричал и нервничал. Медленно-медленно они потащились к Владимирской горке, мне очень хотелось поглядеть, как они там будут сворачивать себе шеи, но я уже и так опаздывал, и я только посмотрел им вслед.

В центре пассажирские трамваи ходили. На остановке под ветром стояли люди — и среди них очень щупленький немец, в пилотке, шинели, сапогах, только на ушах у него были шерстяные наушники. Он сильно замерз и посинел. Руки его тряслись и не попадали в карманы, а тело все дергалось, как на шарнирах, он бил ногой о ногу, тер руками лицо, то вдруг принимался танцевать, вскидывая ноги, как деревянный паяц, и казалось, что он сейчас пронзительно завизжит, не в силах терпеть кусачий мороз.

То, что он нелеп, ему и в голову не могло прийти, потому что вокруг стояли одни местные жители, а это для немцев было все равно что пустое место: они при нас, словно наедине, равнодушно снимали штаны, ковырялись в носу, сморкались двумя пальцами или открыто мочились.

Из ворот Софийского собора выехали два грузовика с чем-то накрытым брезентами: опять вывозили что-то награбленное. Черт знает что, у них через каждые десять слов употреблялось слово «культура»: «тысячелетняя немецкая культура, культурное обновление мира, вся человеческая культура зависит от успехов германского оружия»... С ума сойти, что можно делать со словами! Эта, значит, культура была в том, что они вывозили все подчистую из музеев, использовали на обертку рукописи в библиотеке академии, стреляли из пистолетов по статуям, зеркалам, могильным памятникам — во все, где есть какое-нибудь «яблочко» мишени. Такое, оказывается, обновление культуры.

И еще гуманизм. Немецкий гуманизм — самый великий в мире, немецкая армия — самая гуманная, и все, что она делает, — это только ради немецкого гуманизма. Нет, не просто гуманизма, а НЕМЕЦКОГО гуманизма, как самой благородной, умной, целенаправленной формы общечеловеческого, расплывчатого, недейственного и потому вражеского гуманизма, которому одно место — Бабий Яр.

Мне рано пришлось вникать в эти понятия «культура» и «гуманизм» с их тонкостями, потому что каждый день я спасался, чтобы не стать их объектом.

Когда подошел трамвай, толпа ринулась в заднюю дверь, а немец пошел с передней. Трамваи были разделены: задняя часть для местного населения, передняя — для арийцев. Читая раньше про мистера Твистера и хижину дяди Тома, ни за что бы не подумал, что мне придется ездить в трамвае вот так.

За стеклами проплывали магазины и рестораны с большими отчетливыми надписями: «Только для немцев», «Украинцам вход воспрещен». У оперного театра стояла афиша на немецком языке. На здании Академии наук напротив висел флаг со свастикой: здесь теперь были городская управа и главное управление полиции. В полном соответствии с НЕМЕЦКОЙ культурой и НЕМЕЦКИМ гуманизмом.

Пожар Крещатика дошел до Бессарабского крытого рынка и остановился перед ним. Поэтому площадь с одной стороны была в ужасающих руинах, а другая сторона сверкала вывесками, витринами, и тротуар был полон прохожих, главным образом немецких офицеров и дам. Среди них идти было неловко и страшновато, словно ты затесался куда не следует, и вот почему.

Офицеры, холеные, отлично выбритые, грудь колесом, козырьки на глаза, ходили, не замечая жителей, а если и взглядывали, то невидяще-скользяще, словно находились в скотном загоне, имея свои хозяйские цели — тут перестроить, тут поднять доходность, тут пересортировать, — и если на тебе останавливался внимательный выпученный взгляд, то дело твое было плоховато: значит, ты привлёк внимание каким-то несоответствием, и тебя могут выбраковать, спаси, господи, от такого внимания имущих власть.

А дамы были великолепны — в мехах с ног до головы, с царственными движениями, они прогуливали на поводках отличных холеных овчарок. Понимаете, никогда потом в жизни, сколько я ни убеждал себя, я не мог выковырять из души холодное недружелюбие к этим, как говорят, очень умным и преданным человеку животным.

Немецкие овчарки остались для меня навсегда фашистскими овчарками, тут я ничего не могу с собой поделать.

Я шел дальше. У крытого рынка стояла большая, тысячи в две человек, очередь за хлебом по карточкам. С приходом зимы выдали карточки: рабочие — 800 граммов хлеба в неделю, прочие — 200 граммов в неделю.

Дед, бабушка, мама и я получили четыре двухсотграммовых карточки, я бился в очереди один день и принес неполную буханку свежего хлеба.

Такого хлеба мы еще не видели. Это был эрзац: сильно крошащийся, сухой, с отстающей коркой, обсыпанной просяной шелухой. Его выпекали из эрзац-муки, на которую шли кукурузные кочаны, просяная полова и ячмень, а то и каштаны. Он трещал на зубах и имел приторно-горьковатый вкус. После еды поднималась изжога, но я, конечно, дорожил им, делил свои 200 граммов на семь частей — это значит примерно по 28 граммов на день — и никогда на завтрашнюю порцию не посягал.

Мы с дедом не могли простить себе, что собрали мало каштанов, пока не выпал снег. Ведь можно было походить по другим скверам. Управа печатала воззвания, чтобы использовали каштаны в пищу, объяснялось, сколько там калорий, белков, крахмала. Каштаны мы давно ели.

Дед заболел. Сложно и трудно было с врачами. Можно рассказать целую историю, как бабушка и мама искали врача и чего это стоило. У деда обнаружили камни в мочевом пузыре. Его положили на операцию в Октябрьскую больницу за Бессарабским рынком. Странная история с этой больницей. Больницы занимали под казармы, больных стреляли, а Октябрьскую почему-то оставили, и она работала до самого лета 1942 года, пока наконец ее закрыли. Более того, в ней остались от советского времени раненные красноармейцы, и фашисты их почему-то не трогали.

Больница держалась тем, что истощивала старые запасы, но не было еды. Раз в день больным выдавали пол-литра горячей водички с редко плавающими крупинками. Городские жили передачами, а раненые тем, что подадут. Передачи деду возил я, и это стало моим кошмаром.

Войдя в корпус, я уже у дверей попал в кольцо раненых. Они не кидались, не кричали, не вырывали, а просто молча, вытянув шеи, смотрели. Я пробился сквозь них, взял в раздевалке халат и двинулся по лестнице.

Она вела на второй этаж, широкая, роскошная, и по ней раненые стояли вдоль стен шеренгой — худющие, скелетопоподобные, с забинтованными головами, на костылях, ничего не говорили — только смотрели лихорадочными, полубезумными глазами, и изредка робко протягивались восковая ладонь, сложенная лодочкой. Я потрошил свой сверток, совал по рукам микроскопические корки и кусочки картошки, чувствуя себя при этом отвратительно, маленький благодетель перед этими взрослыми мужчинами, и, когда я добрался наконец до палаты, дед сразу догадался и завопил:

— Что ты, тряся твоей матери, раздаешь, богатый какой нашелся! Не смей им, злыдням, давать, все равно сдохнут, а тут я вот сам подышаю!

Я уж не знал, куда мне и деваться. Дед, вправду, выглядел живым мертвецом. Ему уже сделали операцию, вывели трубочку через живот, к концу ее была привязана бутылка; дед от слабости едва шевелился,

а ругался, как здоровый, уцепился за корзинку, затолкал еду в тумбочку, припер дверцу табуреткой и для охраны еще руку на нее положил.

На соседней койке лежал раненый без ног, обросший черной бородкой, с измученным лицом, как Христос с бабкиной иконы.

— Стервозный дед у тебя, сынок, — глухо сказал он, поворачивая одни только глаза. — Со всей палатой уже переругался... А подвинься сюда, я тебе что-то скажу.

Я подвинулся, жалея, что не оставил ему ни корки.

— Ты собери опавших листьев, — сказал он, — хорошенько просуши, потри руками и принеси: очень хочется покурить.

Я закивал головой: чего-чего, а листьев достать можно.

— Лучше всего от вишни, — сказал он тоскливо. — Вишневых.

Дома я долго рылся в снегу, выгребая почерневшие мерзлые листья, отбирал только вишневые, высушил их на печи, натер, а когда через два дня снова пошел с передачей, оказалось, что безногий уже умер. Не могу передать, как я жалел: знал бы, отнес специально раньше.

Торбочку с листьями жадно приняли у меня другие раненые, потом я еще много им носил; не знаю только, куда делись эти раненые после закрытия больницы.

БИЗНЕС СТАНОВИТСЯ ОПАСНЫМ

Свой обычный трудовой день я начал с того, что, одевшись потеплее и взяв мешок, вышел на угол Кирилловской и Сырецкой, где уже околачивалось с десяток таких же промышленников, как я. Здесь трамваи, возившие торф на консервный завод, делали поворот, и мы, как саранча, кидались на платформы, сбрасывали торф, подбирали и делили.

Показался грузовой трамвай с платформой, проводник в тулупе и валенках сидел на передней ее площадке. Мы, конечно, кинулись на приступ — и тут увидели, что на платформе не торф, а свекла. Боже ты мой, мы накинудились на нее, как волчата, она была мерзлая, стучалась о мостовую и подпрыгивала мячиками. Я удачно повис и бросал, бросал дольше всех, пока надо мной не вырос тулуп проводника, и я выскользнул из самых его рук.

Пока я бежал обратно, на мостовой поднялась драка и многие лежали на земле. Все озверели при виде свеклы и забыли про всякий дележ.

От обиды я заругался, потому что я-то сбросил больше всех, я кинулся в драку, вырвал один клубень у какого-то малыша, сунул за пазуху, но тут мне так дали, что в глазах сверкнули молнии, и я на время перестал видеть. Я упал, сбитый подножкой, закрывался руками, меня злобно лупили ногами в бока, пытались перевернуть, чтоб отнять свеклу. Не знаю, чем бы это кончилось, но показался второй трамвай — и тоже со свеклой.

Тут я схитрил. Я побежал вперед. И когда уже все висели, а проводник, ругаясь, побежал по свекле сгонять, я прыгнул на покинутую им переднюю площадку платформы.

У этих платформ противные ступеньки, всего величиной с ладонь, а вместо рукоятки тонкий приваренный прут. Схватившись за этот прут, став одним валенком на ступеньку, я изо всех сил дотянулся, цапнул одну, другую свеклу, сунул за пазуху — и в это мгновение валенок сорвался. Я повис, держась за прут обеими руками, видя, как серо-стальное колесо катится по серо-стальному рельсу на мои волочащиеся по рельсу валенки. Я не чувствовал рук, они онемели на ледяном пруте, и у меня не осталось ни капли силы, чтобы подтянуться. Высоко над собой я увидел проводника, который возвращался; я тоненько и коротко крикнул:

— Дядя!

Он сразу понял, схватил меня за руки и втянул на площадку. Он потащил за веревку и отсоединил дугу от провода, трамвай пробежал немного и стал.

Тогда я прыгнул на мостовую и побежал, как не бегал еще никогда. Вагоновожатый и проводник перекрикивались, ругались, но я не оборачивался, бежал до самого дома, влетел в сарай, заперся на щеколду и посидел там на ящике, приходя в себя. Потом пошел в хату и торжественно положил перед бабкой три свеклы... Она так и всплеснула руками.

СМЕРТЬ

А еда привезли из больницы накануне пасхи. До войны пасху бабка отмечала «не хуже людей». Подготовка начиналась еще с зимы: экономились деньги, загодя, подешевле доставалась мука, изюм, краски в пакетиках, собиралась луковичная шелуха. Бабка часами ходила по базару, торгуясь за каждую копейку. Дома строго следила, чтобы никто не смел прикасаться к заготовленным пасхальным продуктам. К тому же еще пост, и все ели впроголодь. Мы с мамой, хоть и безбожники, чтобы не обижать бабку, подчинялись ей во всем. Она сама коптила окорок, жарила домашнюю колбасу, варила осой, праздничный «узвар» — компот, пекла творожную бабку и, конечно, варила яйца. Мне поручалось тереть скалкой в «макотре» мак с сахаром и за это разрешалось облизать скалку. Раскрывались пакетики, и яйца красились в яркие, веселые цвета, а часть из них, сваренная в луковичной шелухе, получалась темно-оранжевой.

Для куличей у бабки был ряд глиняных вазонов в кладовке. Пеклись два больших кулича, как поросята, — для дома, и целый выводок маленьких, размером с чашку, — чтобы с ними в гости ходить, и всем дарить, и нищих оделять. Куличи пеклись с ванилью, и когда они сидели в печи, по хате такой дух, что хоть падай.

Бабка с корзинкой уходила ко всенощной — святить, мы же, честно голодные, спали, и она возвращалась на рассвете торжественная, просветленная, неземная, будила нас и поздравляла. В хате все сияло чистотой: заново были побелены стены, повешены чистые занавески, свежие половички прилипали к выскобленному полу. Праздник во всем, необыкновенный праздник.

Раздвинутый стол уставлен едой и цветами. Но сразу на него набрасываются только невоспитанные хамы. Сперва надо умыться в большом тазу, на дне которого сверкают серебряные монеты, затем одеться во все свежестыранное и новое. Бабка торжественно усаживала каждого за стол на строго отведенное ему место и страстно, проникновенно произносила: «Оченаш».

— Христос воскрес! — облизываясь, говорил дед радостно.

— Воистину воскрес! — счастливо отвечала бабка со слезами на глазах, в последний раз осматривая стол: хоть как нелегко далось, но, правда, не хуже, чем у людей, и она разрешала: — Ну, с богом, будьте счастливы!..

И после этой торжественной части начиналась хорошая жизнь.

И сейчас бабка решила во что бы то ни стало на пасху печь куличи. Всего другого можно было не иметь, но за куличи она цеплялась так, словно иначе ей уготован ад. Мама вернулась из дальнего похода на «обмен» с зерном и картошкой. Дед после больницы был еще очень слаб.

Сначала зерно нужно было смолоть. У одних людей за насыпью была мельничка, они давали на ней смолоть за стакан-два муки.

Пошли мы с бабкой. Мельничка стояла в сарае и представляла собой два кругляка от бревна, положенные один на другой. Верхний кругляк надо было крутить рукояткой, подсыпая зерно через дыру в центре его. В трущиеся поверхности кругляков были вбиты железки, чтобы зерно давилось и перетиралось в муку.

Став по обе стороны, мы с бабкой ухватились за ручку и вдвоем едва-едва проворачивали тяжелый кругляк. Бабка подсыпала зерно самыми маленькими порциями, чуть не щепотками, а все равно тяжело. Работали полдня, выбивались из сил, отдыхали, стали совсем мокрыми. В сарае гулял ветер, бабка беспокоилась, как бы я не простудился.

Домой шли — едва волочили ноги, околенили на пронзительном ветре. Бабка взялась просеивать муку — и отсеяла щепотку острых, как бритвочки, отколовшихся от мельнички железных осколков. Я достал магнит и обработал им всю муку, выловив много осколков. Бабка горевала, что из нашей самодельной муки получатся не белые куличи, а серые хлеба, но она замесила, легла спать, а ночью у нее поднялся жар, она требовала белой муки, изюма, масла.

На другой день мама бегала по людям, искала доктора. Пришел старичок, ему заплатили два стакана муки, он выписал рецепты.

— Только сам не знаю, — сказал он, — где вы это достанете.

— Как же быть? — спросила мать.

— А что я могу сделать? — рассердился он. — На топите сначала, чтоб хоть пар изо рта не шел. Ну, поите ее горячим молоком, питание надо, она вконец истощена.

Мать поила бабку травами, обежала весь город и все-таки достала где-то пузырек микстуры. Но бабке становилось хуже, ей нечем было дышать, она все время кричала:

— Жарко! Воздуха!

Мы по очереди сидели, обмахивали ее газетами, но ей было лучше, когда на нее просто дули изо рта. Иногда она приходила в себя и беспокоилась за куличи. Мать испекла их, они вышли черные, клейкие, а на зубах хрустел песок. Бабка посмотрела и заплакала.

Пришли кума Ляксандра и ее слепой муж Миколай. Это были удивительно добрые и безобидные старики, самые добрые, каких только я до сих пор видел в жизни. Дед и бабка дружили с ними с самой юности, и когда-то у них был сын, один. Бабка рассказывала, что это был очень славный парень. Он стал одним из первых комсомольцев на Куреневке, его послали организовывать комсомол на селе, и там его убили. Это было в 1919 году. Вслед за этим Миколай ослеп. Бабка говорила: «Выплакал глаза», — хотя, конечно, он ослеп от болезни. Ляксандра и Миколай совершенно не понимали в политике, они только знали, что их единственный Коля был очень хорошим, и они так никогда и не могли постичь, за что его убили, кому это понадобилось.

Раньше Миколай и дед работали вместе, но теперь Миколай был совсем дряхлый и беспомощный. Голова его была покрыта жиденьким седым пушком, на носу зачем-то очки: справа синее стекло, а левое стекло разбилось, и Миколай вставил вместо него кружочек из тонкой фанеры.

Кума Ляксандра вместе с бабкой крестила меня. Она была дворничихой. Рано утром она выходила на площадь и выводила с собой Миколу. Она мела метлой, а мужу давала грабельки, и он очень аккуратно, последовательно проводил вслепую грабельками по земле, ни бумажки, ни соринки не пропускал.

Так они работали по многу часов, потому что площадь была большая, зато после них она выглядела нарядно, вся в следах от грабель, как свежесезанные весенние грядки.

Они были белорусы, но прожили почти всю жизнь в Киеве, так и не научившись ни русскому, ни украинскому языку.

— Адна бядя не ходиць, а другую за сабою водзиць,— вздыхала Ляксандра, сидя у бабушкиной постели.— Бодрись, Марфушка, ты еще маладая, добраго у житти не успела пабачиць...

— Пабачиць, як яще пабачиць,— пасково утешал Миколай; он сидел и исправно обмахивал газетой бабушку.

Трудно было понять, слышит ли бабушка, она дышала с хрипом, желтая, как воск, лицо ее блесло. Вдруг раздался тихий, но четкий звук лопнувшего стекла: пузырек с микстурой, стоявший на табуретке у кровати, лопнул чуть повыше середины, словно перерезанный ножом по линейке. Ляксандра открыла рот, в глазах ее появился ужас. Бабушка повернула голову и задумчивым, странным взглядом посмотрела на пузырек.

— Надо же! — пробормотал я с досадой, кидаясь к пузырьку.— Ничего не вылилось, сейчас я перелью.

Слышал я об этой примете: что когда без причины лопаются стекло, значит, кто-то умирает. И надо же было, чтобы эта проклятая дрянная бутылочка лопнула именно сейчас!

Я поскорее унес пузырек на кухню.

Там сидели мама, ее подруга Лена Гимпель и дед и говорили о том же, о чем говорил весь город. Немцы вывозили людей на работу в Германию.

— Это правильно,— говорил дед, тыча пальцем в газету.— Тут голод, а там отъедятся и деньги зарабатывают! Смотри!

В газете убедительно разъяснялось: при Советской власти дети старались только учиться, быть инженерами и профессорами, но ведь главное воспитание — в труде. Уезжая в Германию, молодые люди научатся работать и побывают за границей. Ехать в Германию надо во имя счастливого будущего.

— «Всегда бывает так,— прочел дед торжественно,— что одно поколение должно приносить великие жертвы, чтобы потомкам — детям и внукам — даровать лучшую жизнь». Слышишь: детям и внукам лучшую жизнь!

— О господи,— сказала Лена Гимпель.— Знаем мы эту «лучшую жизнь».

Муж Лены, рентгентехник, как и все, ушел на войну, она осталась с ребенком, отчаянно голодала и была зла, как тысяча чертей. Кажется, она злила деда даже с каким-то удовольствием.

— Ты дурная, ты ничего не понимаешь! — закричал дед.— Трясь их матери с их будущим, а я знаю то, что теперешнюю молодежь надо учить работать. Разумные чересчур стали, только книжки читают, а работать кому? Немцы верно говорят: воспитание в труде!

— Просто им нужна рабочая сила, навербовать побольше,— заметила мама.— Так бы и говорили.

— Так нельзя,— сказала Лена.— Так никто не поедет, а нужно возвеличить. Тьфу, чтоб вы передохли... гиены.

— Дура, что ты говоришь! — испуганно замахал руками дед.— В Бабий Яр захотела, да?

— Правда, смотри ты, осторожнее с такими разговорами,— понизила голос мама.

— Проклятое время, Дантов ад,— вся клопоча ненавистью, сказала Лена.— Говорят: «принесли свободу», а ты не имеешь права говорить, думай над каждым словом, бойся своей тени, никому не верь, каждый — возможный стукач и провокатор. По ночам мне хочется кричать. У меня уже нервы не выдерживают. Иногда думаешь: пусть тянут в Бабий Яр, все опроклято, все!

Сменяя друг друга, мы всю ночь дежурили у бабушки, она задыхалась, обливалась потом, забывалась. Пришло утро, морозное, сверкающее, с розовым солнцем, от которого и снег, и сосульки над окном, и вся комната стали розовыми.

И вдруг бабушке стало хорошо, она задыхалась свободно, глубоко, с облегчением откинулась на подушку.

— Кризис прошел! — воскликнула мама, поворачиваясь ко мне с сияющим лицом.— Боже мой. Все хорошо!

Я кинулся к форточке, закричал деду, бывшему во дворе:

— Бабуке хорошо!

Но, обернувшись, увидел, что мать странно замерла, вглядываясь в бабушкино лицо. Лицо бледнело, бабушка задыхалась неровно и слабо — и перестала дышать совсем.

— Она умирает!!! — закричала мать.— Деньги, ну деньги же, пятаки скорее!

В коробке с нитками и пуговицами у бабушки хранились старинные серебряные полтинники и медные пятаки, и она говорила, что, когда умрет, пятаками нужно накрыть глаза. Я кинулся к этой коробке, словно в ней было все спасение. Принес, совал матери, но она кричала, трясла бабушку, гладила по плечам, потом, наконец, вырвала у меня пятаки и положила их бабушке на глаза. И все.

У бабушки стал отчужденный, строгий и торжественный вид с этими темными, с прозеленью пятаками.

На гроб денег не было. Дед взял пилу и рубанок, достал из сарая несколько старых досок и сколотил неуклюжий и не совсем правильный гроб. Его следовало покрасить в коричневый цвет, но такой краски у деда не было, а нашлась банка голубой «кроватьной» краски. Он поколебался, подумал, выкрасил гроб в небесно-голубой цвет и поставил сушиться во дворе. Никогда в жизни не видел небесно-голубых гробов.

В дом, конечно, набились соседки, старухи, они исправно голосили, перевозносили добродетели покойной, наперебой показывали юбки и башмаки, подаренные ею по секрету от деда, и они теперь яростно тыкали их деду под нос:

— Вот, Семерик, какая у тебя была жена, а ты ее всю жизнь поедом ел!

Горели свечи, дьяк читал молитвы, мать беспрерывно рыдала, выходила во двор: «Я не переживу», — а Лена успокаивала: «Спокойно, все умрем». Мне все это казалось таким бессмысленным и бесполезным, а неестественно голосящие старухи были неприятны, их голоса ножиками сверлили у меня в ушах, я тыкался туда и сюда, весь напряженный и взвинченный до предела.

Но тут явились поп с певчими, и бабушку стали класть в гроб. А она вытянулась и не помещалась, и гроб не просох как следует, краска пачкалась. Кума Ляксандра озабоченно металась: «Мужчин надо, мужчин, нясти!» А мужчин не хватало. Наконец подняли гроб и неуклюже выносили через дверь, накренили его. У бабушки на лбу лежала лента с церковными письменами, в руках был один из двух деревянных крестиков, хранившихся у икон.

Дед, без шапки, озабоченный, подпирал гроб плечом вместе с другими, за ним пристроился слепой Миколай, взяв под мышку палочку. Они подложили газеты, чтобы не испачкать плечи краской. Вскинулись две хоругви, поп загнусавил, певчие заголосили, все двинулись в открытые ворота, и бабушка торжественно поплыла надо всеми.

— Ты оставайся, смотри за домом,— приказала мне мать, опухшая от слез, как-то сразу постаревшая и некрасивая.

Я посмотрел вслед похоронам, закрыл ворота, подобрал с земли еловые ветки, упавшие с венка. Стало тихо. И вот только тут я поистине задохнулся, и до меня наконец дошло.

«Все умрем»,— сказала Лена; дед умрет, мама умрет, кот Тит умрет. Я посмотрел на свои пальцы, растопырил и снова посмотрел на свои растопыренные пальцы и понял, что рано или поздно их не бу-

дет. Самое страшное, что есть на свете,— смерть. Это такой ужас, когда умирает человек, даже самый старый, от болезни, естественно, нормально. Неужели этого ужаса недостаточно, и люди изобретают все новые и новые способы искусственного делания смерти, устраивают все эти проклятые Бабы Яры?

Я едва держался на ногах, побрел в хату. Там было прегнусно: натоптано, намусорено, мертвенный запах ладана, опрокинутые табуретки вокруг голого раско-рячившегося стола. Кот Тит смотрел внимательными желтыми глазами с печки.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГИТЛЕРА

Как-то однажды в апреле, двадцатого апреля, на свет родился ребенок. Был он, как положено, красненький, весил килограмма три или что-нибудь около того, длинной был сантиметров пятьдесят, смотрел бессмысленными, как пуговицы, глазками и разевал рот, словно зевал. Он вызывал у матери неопишемую нежность и жалость, и она не знала еще, что держит на руках самое жуткое чудовище, какое когда-либо рождалось на земле.

Отзвук этого события прозвучал в Киеве в апреле 1942 года в таком виде:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

По распоряжению Штадткомиссариата от 18/IV—42 г., по случаю дня рождения Фюрера населению будет выдаваться 500 гр. пшеничной муки на едока.

Муку будут выдавать в хлебных лавках 19-го и 20-го апреля на хлебные карточки по талону № 16.

Городская управа¹.

На рассвете, едва дождавшись конца запретного часа, я понесся к хлебному магазину, обгоняя таких же бегущих.

Оказалось, однако, что тысячи полторы едоков заняли очередь еще с ночи, наплевав на запретный час. Хотя до открытия было далеко, очередь бурлила и шумела, у дверей лавки уже была драка и потный, красный полицейский с трудом сдерживал толпу.

Я занял в хвосте очередь, уныло постоял, послушал бабы пересуды насчет того же, что война кончится, когда зацветет картошка, что немцы русских не разбили, но и русские не могут победить, а потому заключат мир где-нибудь по Волге, а нам так и пропадать под немцами.

И слепому было ясно, что в этой очереди придется стоять до вечера. Я приметил, за кем стою, сбегал домой за сигаретами и занялся торговлей.

Расползлись мои друзья.

Болика Каминского мобилизовали на восстановление моста через Днепр, там держали под конвоем и домой не отпускали.

Шурку Мацу мать увезла неизвестно куда, они

нашли другую квартиру, потому что тут сидели в постоянном страхе, что кто-нибудь Шурку продаст.

Даже моего врага Вовку Бабарика мать, спасая от Германии, отправила куда-то в село, на глухой хутор, так что я мог не бояться, что он меня отлупит.

А Жорку Гороховского его бабушка пристроила служкой в Приорскую церковь, где он ходил в дурацком балахоне, подавал попу то евангелие, то кадило и склонялся, сложив руки.

Мы с Колькой Гороховским продавали сигареты.

Это дело проще пареной репы. Мы ехали на огромный Галицкий базар, высматривали подводы с немцами или мадьярами и спрашивали у них:

— Цигареттен ист?

— Драй гундерт рубель.

— Найн, найн! Цвай гундерт!

— Найн.

— Йа, йа! Эй, зольдат! Цвай гундерт, битте!

— Вэ-ег!

— Цвай гундерт, жила, кулак, слышишь! Цвай гундерт?

— Цвай гундерт фюнфциг...²

Они были спекулянтами что надо, продавали любое барахло и торговались, дрались, но в конце концов коробку в двести сигарет отдавали за двести рублей. Только с трудом.

В этом деле одна тонкость: когда торгуешься с немцем, нужно работать не только языком, но доставать деньги и совать ему под нос; при их виде он нервничает, невольно тянется рукой, чтобы взять, ну, а взял — значит, продал.

В первый раз нас здорово облапошили: привезли домой коробки, распечатали, а в них недостает по пятнадцать сигарет: немцы проделали дырочки и проволокой вытаскивали. Потом мы, покупая, всегда распечатывали и проверяли пачки. Такой, понимаете, большой диапазон: с одной стороны, завоевание и культурное обновление всего мира, с другой — грязное белье с убиваемых снимают и сигареты проволокой таскают.

И вот мы носились по Куреневке с утра до ночи — по базару, у трамвайного парка, на углах и мостиках, а к концу смены у заводов, — и пачку удавалось распродать дней за пять. Поштучно мы продавали сигареты по два рубля, за пять дней я зарабатывал до двухсот рублей, на целых полтора кило хлеба.

Итак, в половине седьмого я уже курсировал вдоль очереди, утюжил базар, бодро вопя:

² — Сигареты есть? Триста рублей. Нет, нет! Двести! Нет. Да, да! Эй, солдат! Двести, пожалуйста! Про-оч! Двести... Двести? Двести пятьдесят...

¹ «Новое украинское слово», 19 апреля 1942 г.

— Есть сигареты «Левантэ», крепкие первосортные сигареты «Гунния», два рубля, дешевле грибов! Дядя, купи сигарету, полезно для ж...

Попутно собирал окурки, мы из них добывали табак и продавали.

В семь часов утра двери магазина открылись. Невозможно было разглядеть, что там творится: смертельная давка, хрипы, визги. Первые получившие муку вылезали растерзанные, избитые, мокрые, но со счастливыми лицами, крепко сжимая мешочки, припорошенные настоящей — не во сне, не в сказке — белой мукой.

Я наведывался к своему месту в очереди, она пока не подвинулась, но зато за мной был теперь такой же хвост, как и впереди.

Бабы рассказывали, что в Дымере расстреляли несколько мужчин за то, что те слушали детекторный приемник; что в Оперном театре идет «Лебединое озеро», но написано: «Украинцам и собакам вход воспрещен».

Понизив голос, говорили, что немцев уже совсем остановили, что под Москвой их тьма полегла, что они не взяли даже Тулу и что ожидается открытие второго фронта в Европе. Я жадно слушал, чтоб дома рассказать. О этот беспроволочный народный телеграф! Зачем запрещать слушать радиоприемники: это бесполезно...

В восемь часов показались трамваи с немецкими детьми. Многие немцы приехали в Киев с семьями, и вот они отправляли детей на день в Пуцу-Водицу, в санаторий, а вечером трамваи везли их обратно. Это были специальные трамваи: спереди на каждом портрет Гитлера, флажки со свастикой и гирлянды из веток.

Я побежал навстречу, чтобы рассмотреть немецких детей. Окна были открыты, дети сидели свободно, хорошо одетые, розовощекие, вели себя шумно — орали, визжали, высовывались из окна, прямо зверинец какой-то. И вдруг прямо мне в лицо попал плевок.

Я не ожидал этого, а они, такие же, как я, мальчишки, в одинаковых рубашках (гитлерюгенд?), харили, прицеливались и вклеивали плевки в меня с каким-то холодным презрением и ненавистью в глазах. Из прицепа плевали девочки. Ничего им не говоря, сидели воспитательницы в мехах (они обожали эти меха, даже летом с ними не расставались). Трамвай и прицеп проплыли мимо меня, ошарашенного, и мимо всей очереди, как две клетки со злобствующими, визжащими обезьянами, и они оплевали очередь.

Пошел я к ручью, и ноги у меня были как ватные. Положил на песок свою коробку с сигаретами, долго умывался, чистил пиджак, и в животе, в груди что-то металлически засосало, словно туда налили кислоты или красноватого люизита.

В одиннадцать часов полиция навела наконец порядок. Двери, которые были уже без стекол, закры-

ли, впускали десятками, но очередь почему-то совершенно не подвигалась. Становилось жарко. В полдень немецкие жандармы провели, толкая в спины, двух арестованных парней, и по тому, как их вели, наставив автоматы, я понял, что этим парням уже не жить. Но зрелище было обычным. И никаких пересудов в очереди не вызвало.

Сигареты раскупались плохо. Я раскинул мозгами и решил испробовать способ, к которому прибегал много, много раз. На всех базарах ходили дети с кувшинами, пели протяжную песенку:

Кому воды хо-лод-ной,
Кому воды-ы?..

Я пошел домой, взял бидон и кружку, набрал у колонки воды и двинулся вдоль очереди, распевая во все горло «Кому воды?». Кружка — двадцать копеек, от пуза — сорск. Наторговал полкармана мелочи, но эта мелочь была ничто, мусор. Немецкие пфенниги шли один за десять копеек, были это какие-то дрянные алюминиевые кружочки, почерневшие от окиси. Обменял у торговки мелочь на одну новенькую, хрустящую марку. Хорошо, время не потерял.

В четыре часа дня стали кричать, чтобы очередь расходилась: все равно всем не хватит. Что тут поднялось! Очередь распалась, у дверей опять началось побоище. Я чуть не заревел от обиды и кинулся в эту драку. Взрослые дрались, а я полез между ногами, раздвигал колени, скользил змеей, чуть не свалил с ног полицейского — и прорвался в магазин. Здесь было относительно свободно, продавцы со страхом косились на дверь, которая трещала, и кричали:

— Все, все, кончается!

Но они еще отрывали талоны и выдавали кульки.

Молча заливаясь слезами, я пролез к прилавку, где душилось человек тридцать. Растерзанный, красный дядька жалобно кричал, размахивая паспортом:

— Я завтра еду в Германию! Вот у меня штамп стоит!

— Отпускаем только тем, кто в Германию! — объявил заведующий. — Остальные не толпитесь, расходитесь!

Несколько человек таким образом еще получили муку. Я, все так же молча обливаясь слезами, упрямо лез и оказался перед продавцом. Он посмотрел на меня и сказал:

— Дайте пацану.

— Все, все, нет больше муки! — объявил заведующий.

Полки были пусты, обсыпаны мукой, но — ни одного пакета. Я не мог поверить, цеплялся за прилавок, шарил и шарил глазами по этим белесым полкам: вот тут же только что, еще на моих глазах стояли пакеты!..

Полиция стала освобождать магазин, я как в тумане вышел, поплелся домой, перед глазами стояли белые пакеты, доставшиеся счастливым, которых я ненавидел всех, кроме самых последних, что ехали в Германию. Этих стоило пожалеть.

В ГЕРМАНИЮ

Эта одна из самых трагических народных эпопей после татарских и турецких половецких открылась 11 января 1942 года следующим объявлением на двух языках — сверху по-немецки, ниже по-украински:

УКРАИНСКИЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ!

Большевистские комиссары разрушили ваши фабрики и рабочие места и

таким образом лишили вас зарплаты и хлеба.

Германия предоставляет вам возможность для полезной и хорошо оплачиваемой работы.

28 января первый транспортный поезд отправляется в Германию.

Во время переезда вы будете получать хорошее снабжение, кроме того, в Киссе, Здолбунове и Перемышле — горячую пищу.

В Германии вы будете хорошо обеспечены и найдете хорошие жилищные условия. Плата также будет хорошей; вы будете получать деньги по тарифу и производительности труда.

О ваших семьях будут заботиться все время, пока вы будете работать в Германии.

Рабочие и работницы всех профессий — предпочтительно металлисты в возрасте от 17 до 50 лет, добровольно желающие поехать в Германию, должны объявиться на

БИРЖЕ ТРУДА В КИЕВЕ
ежедневно с 8 до 15 часов.

Мы ждем, что украинцы немедленно объявятся для получения работы в Германии.

Генерал-комиссар И. КВИТЦРАУ
С. А. Бригадефюрер¹.

Первый поезд в Германию был набран досрочно, состоял целиком из добровольцев и отправился 22 января под гром оркестра. В газете был помещен восторженный репортаж — улыбающиеся лица на фоне товарных вагонов, интервью с начальником поезда, который демонстрирует багажный вагон, полный колбас и ветчины для питания в пути. Заголовки: «Настоящие патриоты», «Приобрести навыки культурного труда», «Школа жизни», «Моя мечта», «Мы там пригодимся».

25 февраля отправился второй поезд, а 27 февраля — третий, набранные из тех, кто до конца изголодался, кому нечего было терять и на кого произвели впечатление слова «хорошо», «хорошее», «хорошие», повторяющиеся в объявлении пять раз, а также и этот фантастический вагон с колбасами и ветчиной.

Весь март печатались объявления огромными буквами:

ГЕРМАНИЯ ПРИЗЫВАЕТ ВАС!

Поезжайте в прекрасную Германию!
100 000 украинцев работают уже в свободной Германии.
А ты? ².

Вы должны радоваться, что можете выехать в Германию. Там вы будете работать вместе с рабочими других европейских стран и тем самым поможет выиграть войну против врагов всего мира — жидов и большевиков³.

Но вот пришли первые письма из Германии, и они произвели впечатление разорвавшихся снарядов. Из них было вырезано ножницами почти все, кроме «Здравствуйте» и «До свидания», или же густо вымазано тушью. Из рук в руки пошло письмо с фразой, которую цензура не поняла: «Живем прекрасно, как наш Полкан, разве что чуть хуже».

По домам понесли повестки. Биржа труда помещалась в здании Художественного института у Сенного базара; это стало второе проклятое место после Бабьего Яра. Попавшие туда не возвращались. Там стояли крик и плач, паспорта отбирались, в них ставился штамп «ДОБРОВОЛЬНО», люди поступали в пересыльный лагерь, где неделями ждали отправки, а с вокзала под оркестры отходили поезда один за другим. Ни черта никому не давали, никакой «горячей еды» в Здолбунове и Перемышле. Бежавшие из Германии рассказывали: отправляют на заводы работать по двенадцать часов, содержат, как заключенных, платят смешотворные деньги — хватает на сигареты.

Другие рассказывали: выводят на специальный рынок, немецкие хозяева — бауэры ходят вдоль шеренг, стбирают, смотрят зубы, щупают мускулы, платят за человека от пяти до двадцати марок и покупают. Работать в хозяйстве от темна до темна, за малейшую провинность бьют, убивают, потому что рабы им ничего не стоят, не то что корова или лошадь, которым живется вдесятеро лучше, чем рабам. Женщине в Германии, кроме того, верный путь в наложницы. Ходить со знаком «ОСТ».

Маминой знакомой, учительнице, пришло короткое извещение, что ее дочь бросилась под поезд. Потом о некоторых сообщали: трагически погиб. Весь 1942 год был для Киева и всей Украины годом угона в рабство.

Повестки разносились ворами. Кто не являлся, арестовывали. Шли облавы на базарах, площадях, в кино, в банях и просто по квартирам. Людей вылавливали, на них охотились, как некогда на негров в Африке.

Одна женщина на Куреневке отрубила топором палец; другая вписала себе в паспорт чужих детей и одалживала детей у соседей, идя на комиссию; подделывали в паспорте год рождения; натирались щетками, драли кожу и смачивали уксусом или керосином, чтобы вызвать язвы; давали взятки — сперва освобождение от Германии стоило три тысячи рублей, потом цена поднялась до пятнадцати тысяч. Год, с которого брали, быстро снизился: с шестнадцати, потом с пятнадцати, наконец, с четырнадцати лет.

На плакатах, в газетах и приказах Германия называлась только «прекрасной». Печатались фотоснимки о жизни украинцев в прекрасной Германии: вот они, солидные, в новых костюмах и шляпах, с тростями, идут после работы в ресторан, кабаре или кино; вот молодой парень покупает цветы в немецком цветочном магазине, чтобы подарить любимой; а вот жена хозяина штопает ему рубашку, ласковая и заботливая...

Из статьи «РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ РЕЧИ РЕЙХСМАРШАЛА» (имеется в виду рейхсмаршал Геринг):

«За исключением отдельных писем избалованных маменькиных сынков, которые часто кажутся смешными, на Украину поступает огромное количество писем, в которых наши

¹ «Новое украинское слово», 11 января 1942 г.

² Там же, 3 марта 1942 г.

³ Там же, 14 апреля 1942 г.

работники выражают свое удовлетворение. Это те наши украинцы, которые понимают, что война отразилась на продовольственном снабжении Германии, это те наши украинцы, которые смотрят не только в свой горшок...

У нас на Украине часто можно было услышать жалобы на то, что Адольф Гитлер забирает людей на работу в Германию. Но и здесь Германия для обеспечения окончательной победы не требует от украинского народа больше жертв, нежели она сама приносит в значительно, значительно больших масштабах.

Итак, братья, я хочу поговорить с вами совершенно честно и откровенно. Я стыжусь всех тех, кто бранит Германию. Когда я читал речь Рейхсмаршала, мне было так стыдно, как никогда еще в жизни...»¹.

Из писем, целиком изъятых цензурой и впоследствии обнаруженных в немецких архивах:

«...Если кто-нибудь отставал, останавливался или отклонялся в сторону, полиция стреляла. По дороге в Киев один человек, у которого двое детей, прыгнул из вагона на ходу поезда. Полиция остановила поезд, догнали беглеца и выстрелами в спину убили его. Под конвоем нас водили в уборную, а за попытку бежать — расстрел.

В бане мы пробыли до 3 часов дня. Здесь я вся дрожала, а под конец едва не теряла сознание. В бане купались вместе и мужчины и женщины. Я горела со стыда. Немцы

подходили к голым девушкам, хватали за грудь и били по непристойным местам. Кто хотел, мог зайти и издеваться над нами. Мы — рабы, и с нами можно делать что угодно. Еды, конечно, нет. Надежды на возвращение домой — тоже никакой».

«...Сейчас я нахожусь в 95-ти км от Франции, в предместье города Трир, живу я у хозяина. Как мне здесь, вы сами знаете. У хозяина 17 голов скота. Мне нужно каждый день 2 раза вычищать. Пока вычищу, аж тошно мне станет. В животе распухло, так что нельзя и кашлянуть. В свинарнике пять свинок, его тоже надо вычищать. Как чищу, так мне и света не видать за слезами. Затем в комнатах убрать: 16 комнат, и все, что где есть, — все на мои руки. Целый день не присаживаюсь. Как лягу спать, так не чувствую, куда ночь делась, уже и утро. Хожу, словно побитая... Хозяйка — как собака. В ней совсем нет женского сердца, только в груди какой-то камень лежит. Сама ничего не делает, лишь кричит как одержимая, аж слюна изо рта катится».

«...Когда мы шли, на нас смотрели, как на зверей. Даже дети и те закрывали носы, плевали...

Мы стали ждать, чтобы поскорее кто-нибудь купил нас. А мы, русские девушки, в Германии не так уж дорого стоим — 5 марок на выбор. 7 июля 1942 г. нас купил один фабрикант... В 6 часов вечера нас повели есть. Мамочка, у нас свинок этого не едят, а нам пришлось есть. Сварили борщ из листьев редиски и бросили немного картошки. Хлеба в Германии к обеду не дают... Милая мама, относятся к нам, как к зверям... Кажется мне, что я не вернусь, мамочка»².

ОТ АВТОРА

Я становлюсь в тупик. Я рассказываю о том, что происходило со мной самим, о том, что я видел своими глазами, о чем говорят свидетели и документы, и я перед этим становлюсь в тупик. Что это? Как это понять?

Диктатура сумеречного идиотизма, террор, Бабы Яры, рабовладение — возврат, какой-то немыслимый, фантазмагорический возврат к эпохам иронов и неронов. Причем в размерах, каких еще не было, какие иродам и не снились.

Это было в XX веке, на шестом тысячелетии человеческой культуры. Это было в век электричества, радио, теории относительности, завоевания авиацией неба, открытия телевидения. Это было на самом кануне овладения атомной энергией и выхода человечества в космос.

Если в XX веке нашей эры ВОЗМОЖНО использование такого чуда, как авиация, для убийства масс

и масс людей, если на создание смертоубийственных приспособлений мир употребляет больше усилий, чем на здравоохранение, если ВОЗМОЖНЫ чистой воды рабовладение и расизм — а это произошло и продолжает происходить в мире, — то действительно с прогрессом дело обстоит не просто тревожно, но в высшей степени тревожно.

Гитлер раздавлен, фашизм — нет. Смутные дикарские силы бурлят в мире, угрожая прорваться. Примитивные, дегенеративные идеи, как заразные вирусы, живы, и продолжают существовать четко разработанные методы и системы, как ими заражать огромные массы. Прогресс науки и техники без прогресса сознания приводит в таком случае лишь к тому, что рабы не гонятся, связанные за шею веревками, но везутся в современных заплombированных вагонах, что фашист убивает не просто дубиной, но

¹ «Новое украинское слово», 11 октября 1942 г. Подпись «И».

² Сборник «Листи з фашистської каторги». Київ. Українське видавництво політичної літератури, 1947. Письма Нины Д-ка, Каті Пр-н, Нины К-ко, стр. 7—8, 15—16.

с использованием совершенного автомата или циклона «Б».

Я не собираюсь быть оригинальным, и то, что я говорю, известно. Но я еще раз хочу напомнить о бдительности. Особенно всем молодым, здоровым и деятельным, которым предназначена эта книга, я хочу напомнить об ответственности за судьбу человечества. Товарищи, друзья! Братья и сестры! Дамы и господа! Отвлекитесь на минуту от своих дел, от своих развлечений. В мире неблагополучно!

Неблагополучно, если в наш век какая-то кучка дегенератов может гнать на смерть тьму людей, и

эта тьма идет, и сидит, и ждет своей очереди. Если огромные массы ввергаются в пожизненное рабство — и они становятся рабами, ничего не в состоянии сделать. Если запрещаются, сжигаются и выбрасываются на помойку книги, сосредоточившие вершины человеческого разума за много тысяч лет. Если в одном небольшом цилиндре заключается энергия, достаточная для испепеления Нью-Йорка, Москвы, Парижа или Берлина, и эти цилиндры накапливаются, круглосуточно носятся в воздухе, для чего? Товарищи, друзья, братья и сестры, дамы и господа! ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ОПАСНОСТИ!

БЛАГОСЛОВЕННОЙ ЗЕМЛИ НЕТ

На городской черте у Пущи-Водицы, напротив санатория «Кинь грусть», стоял массивный столб, вкопанный на века, со стрелой «DYMER». Эти столбы с немецкими надписями стояли по всей Украине. Под ним мы положили мой узелок с бельишком, и мать оставила меня, потому что опаздывала на работу в школу.

Опять я ехал на прекрасную, любимую, благословенную землю, но она выглядела иначе.

Дымерское шоссе, по которому некогда мы с пленным Василием тащились, как марсиане, теперь было оживленным: ехали машины, шли люди. У дороги выстроили домики, и у него стояли полицаи. Всех подходивших крестьян и обменщиков они останавливали.

— Ой, что ж вы забираете! — отчаянно закричала тетка, кидаясь от полицаи к полицаю. — Я ж сорок километров несла, на свои вещи наменяла! Людоньки!

Один понес ее мешок в дежурку, другие уже останавливали старого деревенского дядьку. Он нес два мешка, спереди поменьше, сзади побольше, ему велели снять их на землю. Он молча снял.

— До побачення, — иронически сказал полицейский.

Дядька повернулся, и так же размеренно, как пришел, не сказав ни слова, потопал по шоссе обратно.

Это действовал приказ, который строжайше запрещал проносить по дорогам продуктов больше, чем «необходимо для дневного пропитания».

У стрелы остановился грузовик, на него полезли люди, я тоже, и вот мы помчались по шоссе через лес, но у меня не было и намека на то ощущение радости и мира, которое я когда-то пережил здесь.

Бор продолжали рубить, он зиял большими прогалинами; навстречу проносились грузовики с прицепами, везя длинные и ровные, как стрелы, бревна. В селе Петrivцы стояли фашисты, ездили на лошадях. На полях работали люди. Лес у Ирпеня тоже рубили, и вдоль шоссе лежали штабеля готовых к отправке бревен.

На речке у Демидова пленные строили мост. Они были вываленные в грязи, с обмотанными тряпьем ногами, а часть босая; одни долбили еще не отогревшуюся землю, таскали носилки, другие подавали балки, стоя по грудь в ледяной воде. На обоих берегах на вышках сидели пулеметчики и стояли патрули с собаками.

В Дымере машина остановилась, все сошли. Немец-шофер собрал по пятьдесят рублей, деловито

пересчитал и поехал куда-то дальше, а я направился в поле.

Оно было не убрано с прошлого года, тянулись ряды бугорков невыкопанной и погибшей картошки, полегли и сгнили хлеба. А в городе в это время был такой голод!..

Все перепуталось на земле.

Мать долго наблюдала, как я хуюею и паршивею. В поликлинике наладили рентгеноаппарат, которым проверяли едущих в Германию. Мать повела меня, добилась, чтобы посмотрели, и у меня обнаружили признаки начинающегося туберкулеза.

Тогда мать кинулась на базар и стала просить знакомых колхозников, чтобы взяли меня в село на поправку. За кое-какое барахло меня согласилась взять одна добрая женщина по фамилии Гончаренко из деревни Рыкунь, что между Дымером и Литвиновкой. И так я снова поехал в село.

Я сам очень перепугался. Туберкулез при фашизме — это уже смерть. Мне совершенно не хотелось умирать. Мне хотелось все это пережить и жить долго, до глубокой старости.

Гончаренко приняла меня хорошо, выставила кувшин молока, блюдец меду, теплый хлеб из печи, и я наелся так, что уже не лезло, а ощущение жадного голода во рту и в горле не проходило.

Она задумчиво смотрела, подперев щеку рукой, как я хватаю куски, и рассказывала, что в селе дело плохо, установили неслыханные налоги, грозятся повальной реквизицией. Велели согнать на плац всех коней и коров для ветеринарного осмотра, а когда согнали — половину, самых лучших, реквизируют. Такой осмотр.

— Ой, шо було, шо було! — поморщилась она. — Бабы на землю падали, за коров чеплялись...

Ее корову не взяли, но выдали книжку сдачи молока, и каждый день она носит большую бутылку в «молочарню», там делают в книжке отметку. Немец-управляющий разъезжает с полицаем в пролетке, ни с кем не разговаривает, кроме старосты. В сельсовете разместились полиция. Всех молодых переписали для Германии, и ее дочку Шуру, восемнадцати лет, тоже, а сын Вася еще мал, четырнадцати нет.

Конечно, с Васей мы сразу нашли общий язык, он показал гнездо аиста — прямо у них на сарае, хвостики мин и куски взрывчатки — тола.

— То нема чога байдкувать, — сказала его мать, — берить торбы на щавель до борщу.





Дикий щавель пробивался уже на полях пышными кустиками. Мы щипали его яркие, сочные листья, и я не удерживался, клал в рот, и было вкусно, кисло, так что холодок шел по спине.

Повсюду на поле валялись желтые, как голландский сыр, куски тола, который разлетелся после взрыва склада боеприпасов. Щавель для борща мы клали в торбы, а тол для души — за пазухи.

Набрае количество, достаточное, по нашему мнению, для некоторых изменений в этом мире, мы развели костер, набили толлом консервную банку, вставили динамитный запал от гранаты и швырнули банку в костер. Она там полежала, потом шархнул такой взрыв, что заложило уши, а от костра осталась серая ямка. Мы детально осмотрели произведенные разрушения и удалились с чувством выполненного долга.

Голопузые дети по-прежнему ползали по Гапкиной хате, и древняя баба, сложенная, как треугольник, толкла что-то в ступе, а дед хрипел и харкал на печке. Я пошел через поле в Литвиновку, чтобы их проведать, но лучше бы не ходил.

Гапка плакала. Руки ее распухли, все кости ломало от работы, я подумал, что такими вот, наверно, и были крепостные при Тарасе Шевченко — последняя грань нищеты и отчаяния.

«Счастье» Литвиновки было призрачным и быстротечным. Немцы быстро организовали сельские власти и начали поборы. Все, что молотили и собирали, думая, что для себя, сдавали. На каждый двор налог баснословный. Гапка только за голову хваталась: надо пахать, нужна лошадь (а где взять?), нужен плуг, борона, зерно, да засеять столько, что и двум мужикам не под силу.

— Та я ж у колгоспи ничего того не знала, — причитала Гапка. — Я у колгоспи ругалась, мы думали, шо то горе, а то ще не горе було. Оцэ — горе! Погибель наша прийшла, матинко ридна, дэ ж наши колгоспы?..

— То вже прийшов Страшний суд, — бормотала баба, крестясь над ступой. — Господи милосердный...

Я подумал, что если бы действительно на свете был бог, то не молиться ему, а морду побить следовало бы за все, что он устроил на земле. Только нет бога. Устраивают все люди.

Гончаренко уже с самого утра голосила и причитала над Шурой, как над покойницей. Она сидела

на кровати, покачиваясь, в черном платке, опухшая, и пела низким, странно неестественным голосом:

— Ой, мо-я рид-на-я ды-ты-ноч-ка... Ой, я бильше те-бе не по-ба-чу-у...

Голосили во всех дворах. У сельсовета собрались полицейские, оркестр пробовал трубы. Мы с Васей шатались как неприкаянные по этому рыдающему, вопящему, поющему селу.

Я уже окреп, обветрился. Мы с Васей, как мужчины, возили в поле навоз, затем пахали, бороновали. Я научился запрягать, ловко спутывать, быстро ездить верхом. Пиджачок и штаны выгорели, обтрепались, и я уже ничем не отличался от Васи, кроме разве одного. Гончаренко кормила нас одинаково, Вася наедался, я же нет. Жадность к еде постоянно сидела во рту и горле, просить добавки я стеснялся, и особенно вождленным казался мне мед, который Гончаренко хранила в кладовке под замком и давала не часто.

По хатам пошли полицейские, выгоняя отъезжающих. Это подстегнуло крики, как масла в огонь подлили. Шура перекинула через плечо связанные чемодан и кошелку, пошла на площадь, и мать побежала за ней. Боже мой, что тут творилось! Толклось все село, выстроили колонну, полицейские закричали: «Рушай!» — и грянул оркестр, составленный из инвалидов. Женщины побежали рядом с колонной, визжа, рыдая, кидаясь на шею своим дочкам, полицейши отталкивали их, бабы падали на землю; сзади шли немцы и посмеивались. А оркестр лупил и лупил развеселый марш, аж волосы у меня дыбом поднялись...

Процессия потащилась через поле на Демидов, и все село побежало за ней. Я остался.

Оркестр постепенно затих вдали, и вдруг наступила мертвая тишина. Я медленно пошел в хату и вдруг увидел, что дверь в кладовку открыта, а замок вместе с ключом лежит на лавке.

Я прошел в хату, посидел под окном, все вздрагивая от увиденного только что зрелища, потом, как в тумане, поднялся, отыскал ложку и полез в кладовку.

Бидон был покрыт марлей и клеенкой, я их осторожно отвернул, стал скрести и есть мед полными ложками. Я давился, глотал ложку за ложкой, смутно соображая, что надо кончать на следующей... нет, на следующей... нет, на следующей... что Гончаренко идет к Демидову и голосит, а я, чистопроbatная сволочь по отношению к ней, спасающей меня... Однако мне нужно есть мед, чтобы не было туберкулеза, — так я пытался оправдать свое свинство.

ЧРЕЗМЕРНЫЕ УМНИКИ — ВРАГИ

Маме велели явиться в школу, и она не отказалась, потому что это охраняло от Германии. С 1 марта была введена «Arbeitskarte» — трудовая карточка, ставшая важнее паспорта. Каждую неделю в ней ставился штамп по месту работы. На улицах проверяли документы, и всех, у кого не было «арбайтскарте» или был просрочен штамп, тут же забирали в Германию.

Учителя явились в школу и начали заполнять анкеты. Вперед выступил один преподаватель, прежде очень тихий и скромный человек, за которым не числилось никаких грехов, и громогласно, гордо заявил:

— Я петлюровец.

Наверно, он думал, что его назначат директором, но прислали директором другого, у которого, вероятно, было еще больше заслуг. Стали убирать здание после постоя немцев. Учителя выгребали навоз, сносили разломанные парты, вставляли фанеру в окна, потом ходили по дворам и переписывали детей школьного возраста. До самой весны ни о каких занятиях не могло быть речи, потому что нечем было топить. Но вот пришла директива готовиться к началу занятий в первых четырех классах, охватывая детей до одиннадцати лет, дети же старше направляются работать.

«Число учительских сил для проведения сокращенного обучения нужно ограничить... Все учрежденные большевиками органы школьного контроля и учителя старших классов увольняются... Учителя, которые как-либо сотрудничали с КП, увольняются. Пенсии не выплачиваются.

Употреблять существовавшие при большевистском режиме учебные планы, учебники, ученические и преподавательские библиотеки, а также политически тенденциозные учебные пособия (фильмы, карты, картины и т. п.) запрещено, предметы эти необходимо взять под охрану. Пока не появятся новые учебные планы и учебники, вводится свободное обучение. Оно ограничивается чтением, письмом, счетом, физкультурой, играми, производственным и ручным трудом. Язык обучения украинский или, соответственно, польский. Русский язык преподавать более не следует»¹.

Далее всем учителям раздали газету, чтобы протудировали и осмыслили статью «Школа». Повторяю, эта газета и приказы на заборах были важны, как никогда, надо было следить и ничего не пропускать, чтоб не вляпаться по незнанию в беду.

Мама с Леной Гимпель читали эту статью вместе, медленно, часто останавливаясь, а я прислушивался, набирался ума. Вот что там говорилось. Статья открывалась эпиграфом:

«ТО, ЧТО НЕОБХОДИМО ДАЛЕЕ СДЕЛАТЬ,— ЭТО ИЗМЕНИТЬ НАШЕ ВОСПИТАНИЕ. СЕГОДНЯ МЫ СТРАДАЕМ ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ЦЕНЯТ ЛИШЬ ЗНАНИЯ, НО ЧРЕЗМЕРНЫЕ УМНИКИ — ВРАГИ ДЕЙСТВИЯ. ТО, ЧТО НАМ НЕОБХОДИМО,— ЭТО ИНСТИНКТ И ВОЛЯ».

(Из речи Адольфа Гитлера 27.IV. 1923 г.)

В самой статье говорилось:

«...Беря пример со всей жизни наших освободителей и, в частности, с их школы, приложим все усилия к тому, чтобы воспитывать в наших детях качества, нужные для оздоровления всего нашего народа, без которых невозможно будет дальнейшая его поступь. Это прежде всего любовь к труду и умение работать, это — сильный характер, высокая моральность... «Основы наук» — это очень важное, но это далеко не все и не главное... За дело! Свободной украинской школе, свободным украинским педагогам пожелаем всяческого успеха. И залогом этому будет нам пример и помощь наших немецких друзей»².

¹ Из директивы рейхскомиссара Украины всем генерал- и гебитскомиссарам об условиях открытия начальных школ от 12.I.1942 г. Цит. по сб. «Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні». Київ, 1963, стр. 71.

² «Новое украинское слово», 14 мая 1942 г.

— Вот,— сказала Лена,— и приехали. Двадцатому веку нужна рабочая сила с некоторым образованием, но не чересчур. Рабы должны уметь расписываться, читать приказы и считать. Но чрезмерные умники всегда были врагами диктатур.

— Я преподавать не буду,— сказала мать.

— Заставят, думаю.

— Не заставят, лучше пусть берут в Германию. Где найти работу, срочно, срочно?..

— Это не укладывается в голове! — воскликнула Лена, изумленно вертя в руках газету. — Это черным по белому и всерьез. Какой-то чудовищный парадокс! После всех Возрождений, философий, великих наук и литератур открыто наконец, что чрезмерное образование — зло. Идите, дети, работать. Во имя оздоровления и дальнейшей поступи вперед.

— А я? — спросил я. — У меня уже четыре класса...

— Ты уже образованный, чисти сапоги и продавай сигареты. Кстати,— сказала Лена,— висит приказ, что детям запрещается торговать на улицах, иди прочти, как достаточно образованный.

— Ты слышал? — сказала мать.

— А! Я не попадусь,— сказал я.

Узнав, что заводу «Спорт» требуется курьер-уборщица, мать спешно уволилась из школы и перешла на завод. А в мае начались занятия первых — четвертых классов. Дети учили немецкий язык и разучивали немецкие песни.

Я ходил под окнами и слушал, как поют про Кукушку и Осла:

Ди Ку-кук унд дер Э-эзель...

Но списки детей старше одиннадцати лет были переданы из школ в управу (вот зачем их составляли), и мне пришла повестка явиться для трудоустройства.

Весь наш бывший четвертый «А» класс пошел работать. Жора Гороховский попал на завод «Главпашемаш», где прежде работал его отец. Он там таскал всякое железо, кирпичи, ходил в замасленных лохмотьях, перепачканный мазутом, маленький, худенький, страшненький из-за этого ввевшегося в лицо мазута.

А меня направили в огородную бригаду при санатории «Кинь грусть».

Санатория, собственно, не было, он стал большим хозяйством.

Нас было около тридцати мальчиков и девочек, нам дали тляпки и послали на прополку.

Я вставал на рассвете, клал в авоську железную миску, ложку, бутылку с водой и хлеб. Выходил в шесть утра, потому что топать надо было километра три, а опоздавшим не давали завтрака. Мы сходились к половине седьмого и получали по черпаку горячей водички с пшеном. Затем мы строились, и старик, которого все называли Садовником, вел нас на огороды.

Каждому давалась полоса картошки или капусты в два метра ширины. Огороды были бесконечные, солнце пекло. Я халтурил: присыпал землей сорняки,— хотя Садовник иногда шел по нашим следам, разгребал землю, тогда давал по шее. Зато я часто кончал свою полосу первым и мог передохнуть на меже.

Днем был получасовой обеденный перерыв, черпак супа. Затем работали до восьми вечера, итого тринадцать часов. Уставал зверски, иногда (солнце напекало) падал.

Но было и счастье — когда ставили на помидоры.

Они были еще зеленые, маленькие и твердые, но мы накидывались на них, как саранча. Вокруг были роскошные фруктовые сады, но нас водили только строем, ни шагу в сторону, и мы на яблоки только смотрели. Фрукты для немцев.

Шеф-немец, руководивший хозяйством, затеял строительство крольчатника, и на него пригнали из Дарницы десяток военнопленных. Трава на территории санатория была высокая, густая, с ромашками, и они упали в нее на колени, выбирая самые вкусные стебли, они упивались, блаженствовали в этой траве.

Мы таскали им окурки и сами, сев в кружок, учились курить. Мне это понравилось, я стал курить, как заправский рабочий, потому что какой же рабочий не курит?

Я рассказал деду про Садовника, и он закричал: «Так я же его знаю, это ж мой друг, скажу, чтоб он тебя не бил!» На следующий день, построив нас, Садовник спросил: «Кто тут Анатолий Кузнецов?» Я шагнул вперед. «Подойдите еще двое, вы переводитесь на более легкую работу».

Нас послали собирать липовый цвет. Нашего бра-

та хлебом не корми, а пошли лазить по деревьям. Липы в парке «Кинь грусть» огромнейшие, двухсотлетние, может быть, они видели саму императрицу Екатерину Вторую, которая, по преданию, заезжала в этот парк с Потемкиным, который почему-то хандрил, и сказала ему: «Посмотри, как хорошо! Кинь грусть!»

Самые богатые соцветия у лип на верхушках, на самых концах веток. У каждого из нас была норма. Садовник принимал по весу, и если не хватало, не давали супу, так что мы старались, и я забирался на такие верхотуры, что хоть вниз не смотри. И вот однажды обломился я вместе с верхушкой и полетел с высоты шестизэтажного дома. Почему я жив? Потому что по пути встретились густые ветки, принявшие меня, как гамак, я было совсем прошел сквозь них, но успел ухватиться руками.

Так в двенадцать с половиной лет началась моя официальная трудовая деятельность, чтобы я не рос в этом мире чрезмерным умником, чтобы не доставлял беспокойства тем, кто за меня все продумал и строго определил мое место в жизни до скончания веков.

ЗАЦВЕЛА КАРТОШКА

Трамвай № 12 прежде ходил в Пуцу-Водицу около часа в один конец и почти все песом. А едет он быстро, таким экспрессом несаясь по бесконечному зеленому туннелю соснового бора, и ветки орешника хлещут по окнам.

Чтобы пройти этот путь пешком по шпалам, нам с дедом понадобился почти целый день. Рельсы были ржавые, между шпалами буйно росла трава, качались головки ромашек и васильков. Иногда на встречу попадались расстроенные люди и говорили:

— Не ходите, у детского санатория все отбирают.

И правда, у детского туберкулезного санатория сидели под сосной трое полицаяв; возле них висела куча узелков, бидончиков, мешков. И здесь установили пост. Все дороги на Киев были перекрыты, и грабеж был вполне законный.

Давным-давно когда-то дед поработал и на мельнице в Пуце-Водице, тут проходила его молодость, тут они с бабушкой жили первый год после женитьбы, и дед хорошо знал окрестности.

— Вот холеры проклятые, — сказал он озабоченно, — но я знаю тропинки, мы их лесом обойдем.

А ноги у нас здорово гудели, когда мы к вечеру добрались до четырнадцатой линии. Там есть пруд с плотиной, и у плотины торчали почерневшие сваи, на которых некогда стояла мельница; дед постоял и задумчиво посмотрел на них.

В мешках за плечами мы несли на обмен бабкины вещи: юбки, кофты, высокие ботинки со шнурками.

За прудом, в селе Горенка, мы ночевали в пустом сарае у старого лесника, еще помнившего деда. Вышли на рассвете по росе и опять топали целый день глухими лесными дорогами и совсем свалились с ног от усталости и голода, когда показалась река Ирпень и деревня с таким же названием.

Дед рассчитывал зайти дальше, но мы устали и принялись менять здесь. Ходили от хаты к хате, стучали, будоражили собак.

Больше суток мы ходили по деревням, пока набрали две торбы муки, кукурузы и фасоли. Обратный же путь мне не забыть до самой смерти.

Шли мы медленно и тяжело, через каждые полкилометра садились отдыхать; мешки казались набитыми булыжниками. Дед стонал, охал и иногда плакал: как-никак ему было семьдесят два года. Надо было перейти речку по кладкам, это были жерди высоко над водой, они качались. Я храбро перебежал, а дед остановился — и никак. Я перенес мешок, а дед, долго, испуганно цепляясь за меня и за жердь, перелезал на четвереньках. Кто бы взглянул — помер со смеху.

Ночевали в стоге сена. Утром спину, руки и ноги здорово ломило и жгло. Опять поперли, шли немного — садились; подниматься же — ну никаких сил: ты встаешь, а тело не слушается.

А вокруг леса, леса, иногда прогалины у хуторов с буйно цветущей картошкой, но я видел все это как сквозь туман.

Дед, учитывая КП у детского санатория, решил обходить Пуцу-Водицу с запада, и мы вышли на довольно широкую, твердую дорогу. Вдруг зади послышался мотор, и, обдав нас пылью, проехал грузовик с двумя немцами в кабине. Он резко затормозил, шофер высунулся и смотрел, как мы подходим. Сердце у меня упало.

— Битте, — сказал шофер, указывая на кузов. — Ехать-ехать!

Было не похоже, что он собирается грабить. Что ж, была не была, мы залезли, машина помчалась по дороге. Я подставил ветру лицо и наслаждался, отдыхая. И так мы проехали столько, сколько не прошли бы пешком и до ночи. Показался город, мы поняли, что объезжаем его с запада и выедем куда-то на Брест-Литовское шоссе.

Дед забарабанил в кабину. Машина остановилась среди поля. Мы слезли, дед протянул узелок муки — плату за проезд.

Шофер посмотрел на нас, качнул головой:

— Нэт, нэт. Стареньки, маленьки. Нэт.

Мы стояли, не веря. Шофер усмехнулся и тронул.

— Данке! Спасибо! — закричал я.

Он помахал рукой. Дед кланялся в пояс вслед машине. Мы взвалили мешки на плечи и пошли че-

рез поле к видневшимся крышам Куреневки. Долго шли переулками, петляли и вышли наконец по Белецкой улице прямо к нашему мосту, откуда до дома было три минуты ходьбы. Плеч и ног мы уже не чувствовали, тащились, как марафонцы на финише.

И вот тут-то нас остановили два полицаи.

— Далёко несете? — иронически спросил один.

Мы стояли и молчали, потому что это было невероятно, этого не могло быть.

— Скидай, — сказал другой и стал деловито помогать деду снимать мешок.

— Голубчики, — прошептал ошарашенный дед, — голубчики...

— Идите, идите, — сказал первый полицейский.

— Голубчики, миленькие! — Дед был готов упасть на колени.

Полицай, не обращая внимания, понесли наши мешки к столбу, где уже лежало несколько кошелок. Оказывается, они устроили новое КП и здесь, на подходе к базару. Я потянул деда за рукав, он совсем обезумел. Я его с трудом дотащил домой, а сам завалился отдыхать и отсыпаться, потому что утром надо было на работу. Садовник по дружбе с дедом отпустил меня втихаря прогуляться на обмен. Ну вот, значит, я прогулялся.

Делается это очень просто. Кошелка загружается разной картошкой, морковкой, сверху кладутся полбуханки хлеба и кусочек сала, все это покрывается газетой. Затем мать берет тебя за руку и ведет в управу. Входить в нее жутковато, это место, где решается все: человеческая жизнь, еда, работа, смерть, — откуда отправляют в Германию или могут рекомендовать в Яр.

Немцев нет, за столами сидят фольксдойчи или «щирые» украинские дядьки в вышитых сорочках, с усами; этих не обдуришь, как немцев, эти свой народ знают. И все они пишут повестки, составляют списки, и расхаживает плотная, энергичная женщина с мужскими ухватками, одетая в строгий серый жакет и серую юбку, с холодным взглядом и безапелляционным голосом:

— Если вы не хотите работать, мы можем вас передать в гестапо... В случае невыполнения вами займется гестапо...

Мать подводит тебя к столу какой-то тетки, у которой в руках твоя судьба. Ставит кошелку к ножке стола и сдвигает газету так, чтобы из-под нее выглядывали хлеб и уголок сала, крохотный кусочек сала, как спичечный коробок, но из-под газеты не видно, какой он, видно лишь, что сало.

Униженно склонившись, мать объясняет, что тебе грозит туберкулез, тяжело работать на огородах, несет прочую ересь, а ты в это время тоже не стоишь без дела и, сгорбившись, изо всех сил напускаешь на себя несчастный вид.

Тетка окидывает тебя взглядом, недовольно сопит, молча роется в списках, находит твою фамилию, вычеркивает, вписывает в другой список и говорит:

— Завтра к семи на проходную консервного.

Ты изображаешь счастье, мать благодарит и кланяется и поскорее уводит тебя, забыв под столом кошелку.

На консервном заводе кислый, острый запах въедается в нос, как ввинчивается. Но тут останется голодным лишь тот, кто совсем дурак.

На широкий двор прибывали длинные грузовики с тыквами, и наша мальчишеская бригада их разгружала. Попадались тыквы расколотые, а нет — мы сами разбивали их, запускали руки, выгребали белые скользкие семечки и набивали ими рты. Отныне дома я ничего не ел, целый день питался семечками. Случилось несчастье: я зазевался, на меня открылся борт машины, и обвалом посыпались тыквы. Набило шишек, отломился кусок зуба, но полежал под стеной и отошел.

Больше всего я ненавидел, когда нас ставили на погрузку повидла. Оно было в полупудовых запечатанных жестяных банках, носишь его, вот оно, под руками, а не поживишься. Это немцам его жрать.

Цеха сильно охранялись, но однажды, нагрузив очередную машину, мы увидели, что вахтер отлучился, и вдвоем с одним мальчишкой кинулись в цех. Там было полутемно и жарко, в котлах булькало и кипело. Мы кинулись к первой попавшейся раб-отнице в замусоленном халате:

— Теть, повидла!

— Ой, бедняги, сюда, скорей! — Она затолкала нас куда-то под сплетение железных стоек, отлучилась и вернулась с помятой коробкой, до половины наполненной горячим тыквенным повидлом. Ух, и повезло!

Наш рабочий день продолжался двенадцать часов. Потом нас строили, вели к проходной и тщательно обыскивали, выпуская по одному. Все было законно, и я считал, что мне все-таки везет больше, чем не везет, хвастался дома и рассказывал деду про богатства на консервном заводе, про то, как я наедаюсь. Но он-то был свирепо голодный и поэтому держался другого мнения. Он злился, что я ничего не ношу домой.

— Тут есть один жук, — сказал он однажды. — Делает колбасу втихаря, без патента, ищет помощника, только надежного, чтоб не болтал. Давай я тебя устрою, а он обещает кормить и костями платить.

— Кости — это надо, — сказал я. — А как же мне с работы уволиться? Я в списках.

— Неси кошелку, — сказал дед. — Не подмажешь — не поедешь.

Я еще некоторое время работал на заводе, потом решился. Отнес кошелку. Подмазал. Поехал.

ФУТБОЛИСТЫ «ДИНАМО». ЛЕГЕНДА И БЫЛЬ

Эта почти невероятная история произошла летом 1942 года, она была так популярна, что одно время про овраг говорили: «Тот Бабий Яр, где футболистов расстреляли». Она ходила тогда в форме легенды, которая настолько хороша и закончена, что мне хочется привести ее целиком. Вот она.

Футбольная команда киевского «Динамо» до войны была одной из лучших команд страны. Болельщики хорошо знали игроков, особенно знаменитого вратаря Трусевича.

Из-за окружения команда не смогла эвакуироваться. Сначала они сидели тихо, устраивались на рабо-

ту кто куда, встречались. И, тоскуя по футболу, стали устраивать тренировки на каком-то пустыре. Об этом сразу узнали окрестные мальчишки, жители, а потом дошло до немецких властей.

Они вызвали футболистов и сказали: «Зачем вам пустырь? Вот прекрасный стадион пустует, пожалуйста, тренируйтесь. Мы не против спорта, наоборот».

Динамо́вцы согласились и перешли на стадион. Спустя некоторое время немцы вызывают их и говорят: «Мирная жизнь в Киеве налаживается, уже работают кинотеатры, опера, пора открывать стадион. Пусть все видят, что мирное восстановление идет полным ходом. И мы предлагаем вам встречу со сборной вооруженных сил Германии».

Динамо́вцы попросили время подумать. Одни были против, считая, что играть с фашистами в футбол — позор и предательство. Другие возражали: «Наоборот, мы их разгромим и опозорим перед всем народом, подыдем дух у киевлян». Сошлись на втором. Команда стала усиленно готовиться, ее назвали «Старт».

И вот на улицах Киева появились яркие афиши: «ФУТБОЛ. Сборная вооруженных сил Германии — сборная города Киева».

Стадион был полон; половину трибун занимали немцы, прибыло высокое начальство, сам комендант, они были веселые и предвкушали удовольствие; худшие места заняли жители Киева, голодные, оборванные.

Игра началась. Динамо́вцы были истощены и слабы. Откормленные немецкие футболисты грубили, откровенно сбивали с ног, но судья ничего не замечал. Немцы на трибунах заорали от восторга, когда в ворота киевлян был забит первый гол. Другая половина стадиона мрачно молчала: и тут, в футболе, они оплевывали нас.

Тогда динамо́вцы, как говорится, взялись. Их охватила ярость. Неизвестно откуда пришли силы. Они стали переигрывать немцев и ценой отчаянного прорыва забили ответный мяч. Теперь разочарованно промолчали немецкие трибуны, а остальные кричали и обнимались.

Динамо́вцы вспомнили свой довоенный класс и после удачной комбинации провели второй гол. Оборванные люди на трибунах кричат: «Ура!», «Немцев бьют!»

Это «Немцев бьют!» уже выходило за пределы спорта. Немцы заметались перед трибунами, приказывали: «Прекратить!» — и строчили в воздух. Кончился первый тайм, команды ушли на отдых.

В перерыве к динамо́вцам зашел офицер из ложи коменданта и очень вежливо сказал следующее: «Вы молодцы, показали хороший футбол, и мы это оценили. Свою спортивную честь вы поддержали достаточно. Но теперь, во втором тайме, играйте спокойнее, вы сами понимаете, нужно проиграть. Это нужно. Команда германской армии никогда еще не проигрывала, тем более на оккупированных территориях. Это приказ. Если вы не проиграете, — будете расстреляны».

Динамо́вцы молча выслушали и пошли на поле. Судья просвистел, начался второй тайм. Динамо́вцы играли хорошо и забивают в ворота немцев третий гол. Половина стадиона ревет, многие плачут от радости; немецкая половина возмущенно голгочет. Динамо́вцы забивают еще один гол. Немцы на трибунах вскакивают, хватаются за пистолеты. Вокруг зеленого поля побежали жандармы, оцепляя его.

Игра идет на смерть, но наши трибуны этого не знают и только радостно кричат. Немецкие футболисты совершенно сломлены и подавлены. Динамо́вцы

забивают еще один гол. Комендант со всеми офицерами покидает трибуну.

Судья скомкал время, дал финальный свисток; жандармы, не дожидаясь, пока футболисты пройдут в раздевалку, схватили динамо́вцев тут же, на поле, посадили в закрытую машину и отвезли в Бабий Яр.

Такого случая еще не знала история мирового футбола. В этой игре спорт был насквозь политическим. У динамо́вцев не было другого оружия, они превратили в оружие сам футбол, совершив подлинно бессмертный подвиг. Они выигрывали, зная, что идут на смерть, и они пошли на это, чтобы напомнить народу о его достоинстве.

В действительности эта история была не такой цельной, хотя закончилась именно так, но, как все в жизни, была сложнее уже хотя бы потому, что происходила не одна игра, а несколько и злоба немцев поднималась от матча к матчу.

В оккупации динамо́вцы оказались не потому, что не могли выехать, а они были в Красной Армии и попали в плен. Большая часть их стала работать на Первом хлебозаводе грузчиками, и сперва из них составили команду хлебозавода.

В Киеве был немецкий стадион, куда киевлянам доступа не было. Но действительно 12 июля 1942 года по городу были расклеены афиши:

ОТКРЫТИЕ УКРАИНСКОГО СТАДИОНА

Сегодня в 16 часов открывается Украинский стадион (Б. Васильковская, 51, вход с Прозоровской).

Программа открытия такая: гимнастика, бокс, легкая атлетика и самый интересный номер программы — футбольный матч (в 17 час. 30 мин.)¹.

Действительно, в этом матче была побеждена команда какой-то немецкой воинской части, это немцам не понравилось, но никаких эксцессов не произошло. Просто немцы, рассердясь, выставили на следующий матч, 17 июля, более сильную воинскую команду «PGS». Она была разгромлена, буквально разгромлена «Стартом» со счетом 6:0.

Бесподобен отчет об этом матче в газете:

«...Но выигрывает этот уж никак нельзя признать достижением футболистов «Старта». Немецкая команда состоит из отдельных довольно сильных футболистов, но командой в полном понимании этого слова назвать ее нельзя. И в этом нет ничего удивительного, ибо она состоит из футболистов, которые случайно попали в часть, за которую они играют. Также ощущается недостаток нужной тренировки, без которой никакая, даже наисильнейшая команда не сможет ничего сделать. Команда «Старт», как это всем хорошо известно, в основном состоит из футболистов бывшей команды мастеров «Динамо», поэтому и требовать от них следует значительно большего, нежели то, что они дали в этом матче»².

¹ «Новое украинское слово», 12 июля 1942 г.

² Там же, 18 июля 1942 г.

Плохо скрытое раздражение и извинения перед немцами, звучащие в каждой строчке этой заметки, были только началом трагедии.

19 июля, в воскресенье, состоялся матч между «Стартом» и мадьярской командой «MSG. Wal». Счет 5:1 в пользу «Старта». Из отчета об этом матче:

«...Несмотря на общий счет матча, можно считать, что сила обеих команд почти одинакова»¹.

Венгры предложили матч-реванш, и он состоялся 26 июля. Счет 3:2 в пользу «Старта». Вот-вот, кажется, его уже сломят — и немцы получат удовольствие.

И вот на 6 августа назначается встреча «Старта» с «самой сильной», «сильнейшей», «всегда только побеждающей» немецкой командой «Flakelf». Газета авансом просто захлебывалась, расписывая эту

команду, приводила баснословное соотношение забитых и пропущенных ею до сих пор мячей и тому подобное. На этом-то матче и произошел разгром, вошедший в легенду. Отчета о нем газета не поместила.

Однако футболисты еще не были арестованы. Маленькое объявление 9 августа в «Новом украинском слове»:

«Сегодня на стадионе «Зенит» в 5 час. вечера состоится вторая товарищеская встреча лучших футбольных команд города «Flakelf» и хлебозавода № 1 «Старт».

«Старту» предоставлялась последняя возможность. Он разгромил немцев в этом матче, а 16 августа со счетом 8:0 победил украинскую националистическую команду «Рух». Только после этого футболисты были отправлены в Бабий Яр.

Это было время, когда шла напряженная битва на Дону и немцы выходили на подступы к Сталинграду.

ОТ АВТОРА

НАПОМИНАНИЕ. Вот вы читаете эти истории. Может быть, где-то спокойно пробегаєте глазами, может быть, где-то (моя вина) скучаете, в общем, «беллетристика есть беллетристика». Но я упрямо и еще раз хочу напомнить, что здесь нет беллетристики. ВСЕ ЭТО БЫЛО. Ничего не придумано, ничего не преувеличено. Наоборот, я даже кое-что опускаю, например, некоторые подробности убийств... Все, что я рассказываю, было на самом деле, было с живыми людьми, и ни малейшего литературного домысла в этой книге нет.

Есть тенденция. Разумеется, я пишу тенденциозно, потому что даже при всем стремлении быть объективными мы не быть тенденциозными не можем.

Моя тенденция — в ненависти. К фашизму во всех его проявлениях. Но независимо от этой тенденции за абсолютную достоверность всего рассказанного я полностью отвечаю, как живой свидетель.

И вот, ребята рождения сороковых годов и даль-

ше, я признаюсь вам, не боясь показаться сентиментальным, что порой изумленно смотрю на мир и думаю:

«Какое счастье, подумать только, что нынче по улицам можно ходить, когда тебе захочется, хоть в час ночи, хоть в четыре!» Можно до одури слушать радиоприемник или завести голубей. Досадно разбуженный среди ночи мотором, сонно злишься: «Сосед с пьянки на такси приехал» — и переворачиваешься на другой бок. Не люблю ночного воя самолетов; как загудит, кажется, всю душу выворачивает, но тут же говоришь себе: «Спокойно, это же свои, это не то». А утром приходят газеты, в которых пишется о войнах в далеких южных и восточных странах... Говорят, мы не замечаем здоровья, пока оно есть, плачем, только его потеряв.

Смотрю изумленно на этот изменчиво благополучный мир.

БАБИЙ ЯР. СИСТЕМА

Давыдов был арестован очень просто и буднично.

Он шел по улице, встретил товарища, Жору Пузенко, с которым учился, занимался в спортивной секции, вместе к девчонкам ходили. Разговорились, Жора улыбнулся:

— Что это ты, Володька, по улицам ходишь? А ну-ка, пойдём.

— Куда?

— Пойдём-пойдём...

— Да ты что?

Жора все улыбался.

— Пойдешь или нет? Могу документы показать. Он вынул документы следователя полиции, переложил из кармана в карман пистолет, продемонстрировал его как бы нечаянно.

День был хороший, солнечный, улица была полна прохожих, немцев. Двинулись. Давыдов тихо спросил: — Тебе не стыдно?

— Нет, — пожал Пузенко плечом. — Я за это деньги получаю.

Так мило и спокойно они пришли в гестапо, на Владимирской улице, дом 33. Дом этот находится недалеко от площади Богдана Хмельницкого, почти напротив Софийского собора, он сразу бросается в глаза, огромный, темно-серый, но кажущийся почти черным из-за контраста с соседними домами. С колоннами и портиком, он, как гигантский комод, воз-

¹ «Новое украинское слово», 24 июля 1942 г.

вышается над пропахшей пылью веков Владимирской. Его строили до революции для губернской земской управы, но не закончили, и при Советской власти в нем стал Дворец труда. Потом в доме помещался один из народных комиссариатов Украинской ССР до самого отступления в 1941 году. Теперь его заняло гестапо. За величественным фасадом находились отлично оборудованные следовательские кабинеты, а во дворе, скрытая от любопытных глаз, — каменная тюрьма, соединенная с главным зданием переходами.

Давыдов был рядовым в 37-й армии, он попал в плен у деревни Борщи, прошел Дарницкий лагерь и несколько других и бежал под Житомиром. У него в Киеве был знакомый врач, связанный с партизанами в Иванковском районе, куда он отправлял медикаменты. Давыдов должен был отправиться с медикаментами в Иванков, когда произошел этот нелепый арест.

Осталось неизвестным, что и откуда знал Пузенко, но Давыдова поместили в самую страшную, так называемую «жидовскую» камеру, как сеledками набитую людьми, ожидавшими отправки в Бабий Яр. Давыдов понял, что дело его почти безнадежно.

Его вызвали на допрос и потребовали рассказать, что он знает о партизанах, а также правда ли, что он еврей.

Давыдов стал кричать, что никакой он не еврей и никакой не партизан, а Пузенко сводит с ним личные счеты. Его провели на комиссию, где немецкие врачи обследовали его на предмет еврейских признаков, но дали отрицательное заключение. Тем не менее его отвели обратно в ту страшную камеру, потому что выпускать оттуда было не принято. Это как конвейер: попал — катись, обратного хода нет.

Людей из камеры уводили, и они не возвращались, а Давыдов все сидел. Наконец, когда осталось десять человек, их вывели во двор, где стояла машина, которую они сразу узнали.

Это была одна из душегубок, известных всему Киеву, «газенваген», как называли ее немцы. Она представляла собой что-то вроде нынешних автомобилей-холодильников. Кузов был без окон, обшит доской-вагонкой, покрашен в темный цвет, сзади имелась двустворчатая герметическая дверь, внутри кузов был выстелен железом, на полу — съемная решетка. Десять мужчин разместились просторно, и к ним подсоединили еще девушку, очень красивую еврейку из Польши.

Они все стали на решетку, держась за стены, двери за ними закрыли и так, в полной темноте, куда-то повезли.

Давыдов понимал, что сейчас они приедут в Бабий Яр, но не увидят его, потому что через отверстие у кабины водителя будет пущен газ.

Смертники не разговаривали, а ждали лишь этого момента, чтобы попрощаться.

Но машина все ехала, качалась, приостанавливалась, трогалась и вот, кажется, совсем остановилась. Залезла дверь, из нее брызнул свет — и голос:

— Выходи!

Они торопливо, глотая воздух, вышли, по привычке стали в ряд. Вокруг были колючие заграждения, вышки, разные строения. Эсэсовцы и полиция.

Подшел здоровый, ладно сложенный русский парень в папахе, в галифе и блестящих сапогах (потом узнали, что это бригадир Владимир Быстров), в руках у него была палка, и он с размаху ударил каждого по голове:

— Это вам посвящение! Слушай команду. На за-

рядку шагом марш! Бегом!.. Стой!.. Кругом!.. Ложиись!.. Встать!.. Гусиным шагом марш!.. Рыбым шагом!..

Полицейские бросились на заключенных, посыпались удары палками, сапогами, крик и ругань. Оказалось, что «гусиным шагом» — это надо идти на короточках, вытянув руки вперед, а «рыбым» — ползти на животе, извиваясь, заложив руки за спину. (Узнали также потом, что такая зарядка делалась для всех новичков, чтобы их ошарашить; били на совесть, палки ломались на спинах, охрана вырезала но- вые.)

Доползли до огороженного пространства внутри лагеря, там опять выстроились, и сотник по фамилии Курибко прочитал следующую мораль:

— Вот. Знайте, куда вы попали. Это Бабий Яр. Разница между курортом и лагерем ясна? Размещаетесь по землянкам, будете работать. Кто будет работать плохо, нарушит режим или попытается бежать, пусть пеняет на себя.

Девушку отделили и отправили на женскую половину лагеря, мужчин повели в землянку.

Землянки тянулись в два ряда: обычные землянки, бригадирская, «жидовская», «больничная». Та, в которую привели Давыдова, была обыкновенным блиндажом без окон, с единственной дверью и рядами двухэтажных нар; пол был земляной, в дальнем конце плита, под потолком тусклая лампочка, дух был тяжкий, как в берлоге. Каждому определили место, и лагерная жизнь началась.

Позже Давыдов думал, почему немцы не включили газ или не расстреляли сразу, но дали отсрочку, поместив в этот странный лагерь. Зачем он вообще существовал? Объяснение, пожалуй, одно. К своей системе Освенцимов, Бухенвальдов и Дахау немцы приходили не сразу, они экспериментировали. Они начинали с того, что просто расстреливали, но потом, будучи людьми хозяйственными и педантичными, нащупывали форму этих «фабрик смерти», где, прежде чем убить людей, из них извлекалась еще какая-то польза.

Овраг с ежедневными расстрелами продолжал функционировать нормально. Убивались такие враги, которых сажать в лагерь — только беспокойство. Их привозили, гнали в овраг по тропке, клали на землю под обрывом и строчили из автоматов. Почти все что-то кричали, но издали нельзя было разобрать. Потом обрыв подрывали, чтобы засыпать трупы, и так перемещались все дальше вдоль обрыва. На раненых не тратили патронов, но просто добивали их лопатами.

Однако некоторых вроде Давыдова, особенно тех, кто выглядел поздравнее, а вина была сомнительной, помещали сперва в лагерь над оврагом, который выстроили к весне 1942 года, и здесь при экзекуциях и самом образе лагерной жизни происходил естественный отбор. Немцы не спешили расстреливать тех, кто выживал: они знали, что это от них никогда не уйдет.

Итак, каждый день в половине шестого утра раздавались удары по рельсу. Заключенные быстро, за каких-нибудь полторы минуты одевались и под крики бригадиров валили из всех землянок — заросшие, костлявые, звероподобные, быстро строились, пересчитывались, и следовала команда: «Шагом марш, с песней!»

Именно так. Без песни в лагере шагу не делали. Полиции требовали петь народные «Распрягайте, хлопцы, коней», «Ой, ты, Галю, Галю молодая» или,

солдатскую «Соловей-пташечка, канареечка жалобно поет», а особенно любили «Дуня — я, Дуня — я, Дуня ягодка моя». Бригадир сам выкрикивал похабные куплеты, а вся колонна подхватывала припев. Были случаи, когда колонна, озлобившись, запевала «Катюшу», тогда начиналось побоище.

Так с песнями выползали на центральный плац — в очередь за завтраком, получали по ломтику эрзац-хлеба и два стакана кофе, вернее, какой-то остывшей мутной воды.

Я спрашивал у Давыдова: а во что получали? Нужна ведь какая-то посуда? Он говорил: у кого был котелок, кто на помойке достал консервную банку, и потом многие ведь умирали, посуда переходила по наследству.

После завтрака опять с песнями разводились на работу бригадами по двадцать человек. Что это была за работа?

Вот слушайте и вообразите.

1. Обитатели «жидовской» землянки отправлялись копать землю в одном месте, насыпали ее на носилки и переносили в другое место. На всем пути выстраивались в два ряда охранники с палками, и люди несли носилки бегом по этому коридору.

На носилки полагалось накладывать столько, чтоб едва поднять, а немцы молотили палками, вопили, ругались: «Шнель! Шнель! Быстрее!» — не работа, а прямо паника какая-то. Люди выбивались из сил, падали, и этих «доходяг» тут же выводили в овраг и пристреливали либо просто проламывали череп ломом, поэтому они бежали из последних сил и падали, лишь теряя сознание. Команды немцев уставали, сменялись, а ношение земли продолжалось до ночи. Таким образом, все были заняты, деятельность так и бурлила.

2. На отдаленном пустыре возводились непонятные сооружения, часть заключенных отправлялась туда. Строительство велось под большим секретом, поэтому те, кто уходил туда на работу, обратно уже не возвращались. (Секрет раскрылся лишь потом: в Бабьем Яре создавался экспериментальный мыловаренный завод для выработки мыла из убитых, но достроить его немцы не успели.)

3. Шла разборка обветшавших барачных, которые остались от стоявшей на этом месте до войны советской воинской части. Лагерное начальство решило, что они портят вид и закрывают обзор. Между прочим, сюда, в бригаду «гвздодеров», поступали самые отошавшие «доходяги» из русских землянок, они, прежде чем отдать богу душу, дергали и ровняли ржавые гвозди.

4. Чтобы территория опять же так хорошо проглядывалась, вырубались все деревья и корчевались пни как по лагерю, так и вокруг него; немцы чувствовали себя лучше, когда вокруг все было голо.

5. Небольшая группа мастеровых — столяры, сапожники, портные, слесари — работала в мастерских, обслуживая охрану и делая разные работы по лагерю. Это были «блатные» работы, попасть на которые считалось большой удачей.

6. «Выездные» бригады под сильной охраной возились на Институтскую, 5, где строилось гестапо; иногда их же посылали разбирать развалины.

7. Женщин использовали вместо лошадей: запрягали по несколько в подводу, и они возили тяжести, вывозили нечистоты.

Лагерем руководил штурмбаннфюрер Пауль фон Радомский, немец лет пятидесяти пяти, с хриплым голосом, бритоголовый, упитанный, но с продолговатым сухим лицом, в роговых очках. Обычно он ездил

в маленькой черной легковой машине, правя сам, рядом сидела пепельно-темная овчарка Рекс, хорошо известная всему лагерю, тренированная рвать мясо людей, а на заднем сиденье — переводчик Рейн из фольксдойчей.

У Радомского были заместители: Ридер по прозвищу «Рыжий», законченный садист, и специалист по расстрелам «Вилли», очень высокий и худой.

Далее шла администрация из самих заключенных: сотники и бригадиры. Особенно выделялся чех по имени Антон, любимец и правая рука Радомского. Было уже известно: что Антон предложит шефу, то и будет; Антона боялись больше, чем самого шефа. У женщин бригадиром была двадцатипятилетняя Лиза Логинова, артистка театра русской драмы, любовница Антона, не уступавшая ему в садизме, зверски бившая женщин.

Давыдов подробно рассказывает об этой дикой не столько жизни, сколько полужизни, потому что каждый день можно было запросто умереть. Умирали в основном вечером.

После работы все заключенные собирались на плацу и выстраивались буквой «П». Начиналось самое главное: разбор накопившихся за день провинностей. Если был побег, это значило, что сейчас расстреляют всю бригаду. Если Радомский прикажет, будут стрелять каждого десятого или пятого из строя.

Все смотрели на ворота: если несут пулеметы, значит, сегодня «концерт» или «вечер самодеятельности», как иронизировали полицейские. На середину выходил Радомский с помощниками, и объявлялось, что вот-де сегодня будет расстрелян каждый пятый.

У стоящих с краю в первом десятке поднималась дикая молчаливая борьба: каждый видел, какой он по счету. Ридер начинал отсчет, и каждый стоял, замерев, съевшись, и если падало «Пять!», Ридер выдергивал из строя за руку, и просить, умолять было совершенно бесполезно. Если человек продолжал упираться, кричал: «Пан, пан, помилуйте, пан...» — Ридер выстреливал в него мимоходом из пистолета и продолжал счет дальше.

Ни в коем случае не следовало смотреть ему в глаза: он мог уставиться на кого-нибудь и выдернуть без счета просто за то, что ты ему не понравился.

Далее отобранных подталкивали в центр плаца, вели: «На колени!» Эсэсовцы или полицейские обходили и аккуратно укладывали каждого выстрелом в затылок.

Заключенных заставляли запевать песню, они обходили круг по плацу и отправлялись по землянкам.

Однажды прибыла партия заключенных из Полтавы. Забили в рельс среди дня, собрали всех на плацу и объявили, что сейчас будут расстреляны украинские партизаны. В центре плаца стояли на коленях человек шестьдесят, с руками назад, за ними встали рядыми полицейские.

Вдруг один молоденький полицейский закричал: «Не буду стрелять!» Оказалось, что среди заключенных его родной брат и немцы специально подстроили этот спектакль: чтобы брат стрелял в брата.

К полицейскому подбежал немец, достал пистолет. Тогда молоденький полицейский выстрелил, но ему тут же стало плохо, и его увели. Ему было лет девятнадцать, убитому брату — лет двадцать пять. Всех остальных стреляли зачем-то разрывными пулями, так что мозги летели прямо в лица стоявших в строю.

За мелкие провинности назначалась порка. Выносили сделанный в столярке стол с углублением для тела, человека клали туда, прижимали сверху доской, накрывавшей плечи и голову, и два здоровых

лба из лагерных прихлебал добросовестно молотили палками, которые шутя звали «автоматами». Получить двести «автоматов» означало верную смерть.

В одной бригаде при вечерней поверке не хватило человека. Его быстро нашла собака в уборной висящим под стульчаками. Он хотел дожидаться ночи, чтоб бежать. Сотники били его на станке палками до тех пор, пока мясо не стало отваливаться кусками, били мертвого, расшлепав в тесто.

Парнишка лет семнадцати пошел на помойку поискать еду. Это заметил сам Радомский, он осторожно, на цыпочках, стал подкрадываться, доставая на ходу револьвер, — выстрелил в упор, спрятав револьвер и ушел, удовлетворенный, словно бродячую собаку убил.

Стреляли за то, что второй раз становился в очередь за едой; сыпали «автоматы» за то, что не снял шапку; когда в «больничной» землянке скопилось много больных, их выгоняли, клали на землю и строчили из автоматов. А «зарядки» даже за наказание не считались, это было сплошь и рядом: «вставай», «ложись», «рыбьим шагом»...

Все это Давыдов видел своими глазами, был бят, пел песни, стоял в строю под отсчетом Ридера, но роковая цифра на него все не выпадала.

Радомский изобрел чисто свой, уникальный способ наказания. Заключенным велели влезть на дерево и привязать к верхушке веревку. Другим заключенным велели дерево пилить. Потом тянули за веревку, дерево рушилось, сидящие на нем убивались. Радомский всегда лично выходил посмотреть и, говорят, очень смеялся. Которые не убивались, тех Антон добивал лопатой.

Быстрее всех гибли евреи или полуевреи из «жидовской» землянки, которых немцы со свойственным им «юмором» называли «зимль-команда» — «небесная команда». Но другие изо всех сил цеплялись за жизнь, боролись за еду, одежду.

Одежду не выдавали. С прибывающих снимали что получше — сапоги, пальто, пиджак, и полиция меняла это в городе на самогон. Поэтому каждый старался добыть одежду с трупов.

С едой было сложнее. Кроме утреннего кофе — темной бурды и хлеба, давали днем еще баланду. При тяжелой, изнурительной работе на такой еде, конечно, нельзя было протянуть, но иногда поступали передачи. Женщины бродили вокруг лагеря, высматривали своих и бросали через проволоку хлеб. Если же давали полицию у ворот литр-другой самогону, то он иной раз передавал заключенному мешочек с пшеном или картошку.

По утрам выделялись дежурные, которые под конвоем обходили проволочные заграждения под напряжением в 2 200 вольт и длинными палками доставали погибших за ночь собак, кошек, ворон, иногда попадались даже зайцы.

Все это они приносили в «зону», и начиналась «барахолка»: кусок кошки менялся на горсть пшена и т. п. С помойки можно было стащить картофельных лушпаек. Складывались и сообща варили на плите свой суп, благодаря которому Давыдову и таким, как он, и удавалось тянуть.

Никто, и он в том числе, не загадывал, надолго ли оттягивается конец. Тяга к жизни существует в нас, пока мы дышим. Одни прибывали, другие умирали — сами ли, на плацу ли, в овраге ли. Машина буднично работала.

ДЕД — АНТИФАШИСТ

Мы жили, как в мертвом царстве: что и как происходило на свете — одни слухи, неизвестно, сколько в них правды. Тому, что писали немецкие газеты, нельзя было верить и на грош. Читали только между строк. Кто-то где-то слушал радио, кто-то все знал, но не мы. Однако с некоторых пор нам не стало нужно и радио. У нас был дед.

Он прибежал с базара или от знакомых возбужденный и выкладывал, когда и какой город у немцев отбили, и сколько сбито самолетов.

— Не-ет, им не удержаться! — кричал он. — Наши их разобьют. Вот помните мое слово. Дай, господи милосердный, дожить!

После краха с нашим последним обменом дед перепугался не на шутку. Он возненавидел фашистов самой лютой ненавистью, на которую был способен.

Столовую для стариков давно закрыли, идти работать куда-нибудь в сторожа деду было бессмысленно: на зарплату ничего не купишь. И вот однажды ему взбрело в голову, что мы с мамой для него — камень на шее. Он немедленно переделал все барахло, забрав себе большую часть, и заявил:

— Живите за стеной сами по себе, а я буду вещи менять, богатую бабу искать.

Мама только покачала головой. Иногда она стучала к деду и давала ему две-три олады из лушпаек, он жадно хватал и ел, и видно было, что он жутко голодает, что тряпки, которые он носит на базар, никто не берет, а ему страшно хочется еще жить, и он

цепляется за что только может. Он позавидовал моему бизнесу и сам взялся продавать сигареты. Все кусочки земли и даже дворик он перекопал и засадил табаком, ошипывал листья, сушил, нанизав на шпагат, и потом резал их ножом, а стебли толоч в ступе и продавал махорку на стаканы. Это его и спасло.

Иногда к нему приходил старый садовник, дед полил его липовым чаем без сахара и рассказывал, как раньше, при Советской власти, было хорошо, какой он был хозяин, имел корову, откармливал кабанов, если б не сдохли от чумки, а какие колбасы жарила бабка на пасху!

— Я всю жизнь работал! — жаловался дед. — Я б на одну пенсию прожил, если б не эти зар-разы, воры, а-ди-оты! Но наши еще придут, помочишь мое слово.

Его ненависть возрастала тем больше, чем голоднее он был. Умер от старости дедушка Ляли Энгстрем. Мой дед прибежал в радостном возбуждении.

— Вот! Ара! Хотя и фольксдойч был, а умер!

В соседнем с нами домике, где жила Елена Павловна, пустовала квартира эвакуированных. Приехали вселяться в нее какие-то аристократические фольксдойчи. Дед первый это увидел.

— У-у, г-гады, буржуйские морды, мало вас Советская власть посекала, но погодите, рано жируете, кончится ваше время!

УБИТЬ РЫБУ

Я все думаю, и мне кажется, что умным, правдивым и по-настоящему добрым людям, которые будут жить после нас, трудно будет понять, как же это все-таки могло быть, — постичь зарождение самой мысли убийства, массового убийства в темных закоулках извилин мозга обыкновенного людского существа, рожденного матерью, бывшего младенцем, сосавшего грудь, ходившего в школу... Такого же обыкновенного, как миллионы других, — с руками и ногами, на которых растут ногти, а на щеках — поскольку оно мужчина — растет щетина, которое горюет, радуется, улыбается, смотрит в зеркало, нежно любит женщину, обжигается спичкой — словом, обыкновенного во всем, кроме патологического отсутствия воображения.

Нормальное человеческое существо при виде чужих страданий, даже при одной мысли о них в воображении видит, как бы это происходило с ним самим, во всяком случае, чувствует хотя бы душевную боль.

Иногда на базаре продавали рыбу. Нам она, конечно, была не по карману, но, все время судорожно размышляя, где бы добыть поесть, я подумал: а почему бы мне не ловить рыбу?

Раньше мы с пацанами ходили на рыбалку. Это, вы сами знаете, огромное удовольствие. Правда, мне было жалко рыбу, но ее обычно кладешь в мешок или держишь в ведерке, она себе попрыгивает там, пока не уснет, а ты, в общем, не вдаешься в подробности. Зато какая она потом в ухе — мечта!

Удочка у меня была примитивная, с ржавым крючком, но я решил, что для начала хватит и этого, накопал с вечера червей, а едва стало светать — отправился к Днепру.

Между Куреневкой и Днепром лежит обширный богатый луг, который начинается сразу за насыпью. Весной его часто заливало, и он превращался в море до горизонта. Я шел долго сквозь травы, и ноги мои совсем промокли, но голод и мечта поймать много рыбы вдохновляли меня.

Берега Днепра песчаные, с великолепными пляжами и обрывами, вода коричневатая. Здесь абсолютно ничто не напоминало о войне, о фашистах. И я подумал, что вот Днепр совершенно такой же, как и в те дни, когда по стрелю реки плыли лодки князя Олега или шли караваны купцов, пробиравшихся по великому пути «из варяг в греки». Такие мысли и подобные им приходят потом много и много раз в жизни и в конце концов становятся пошлостью. Но мне было тринадцать лет.

Я забросил удочку, положил в карман коробку с червями и пошел за поплавком по течению. Течение в Днепре быстрое. Тут два выхода: либо сидеть на месте и каждую минуту перезакидывать удочку, либо идти по берегу за поплавком.

Прошел, наверное, добрый километр, пока не уперся в непроходимые заросли прибрежного тальника, но ничего не поймал. Бегом я вернулся и снова проделал тот же путь — с тем же успехом. Так я бегал, как дурачок, досадуя, нервничая, но, видно, я чего-то не умел, либо грузило не так установил, либо место и наживка были не те. Солнце уже поднялось, стало припекало, а у меня ни разу не клонуло, как будто рыба в Днепре перевелась.

Расстроенный, голодный, чуть не плачущий, понимая, что лучшее время клева безнадежно упущено, я решил попытаться счастья в небольшом омутке

среди зарослей, хоть и боялся, что там крючок зацепится за корягу, а он у меня один.

Омутки этот был обособленным, течение захватывало его лишь косвенно, и вода в нем чуть заметно шла по кругу. Я не знал его глубины, наугад поднял грузило как можно выше — и забросил. Почти тотчас поплавок стал тихонько прыгать.

Едва он ушел под воду, я дернул и выхватил пустой крючок из воды: кто-то моего червя съел. Это уже было хорошо, уже начиналась охота. Я наживил и снова забросил, в глубине опять началась игра.

Что я только ни делал, как я ни подсекал — крючок неизменно вылетал пустым. Рыба была хитрее меня. Я весь запарился, мне так хотелось поймать хотя бы ершишку величиной с мизинец!

Вдруг, дернув, я почувствовал тяжесть. С ужасом подумал, что крючок наконец зацепился, и в тот же миг понял, что это все-таки рыба. Нетерпеливо, совсем не думая, что она может сорваться, я изо всех сил потянул, так что она взлетела высоко над моей головой, — и вот я уже с торжеством бросился в траву, где она билась: «Ага, умная, хитрюга, доигралась! Я тебя все-таки взял!» Счастливым миг! Кто хоть раз поймал рыбу, знает, о чем я говорю.

Это был окунь, и сперва он показался мне больше, чем был на самом деле. Красивый окунь, с зелеными полосами, яркими, красными плавниками, упругий и будто облитый стеклом, хоть пиши с него картину.

Но неудачи преследовали меня: окунь слишком жадно и глубоко заглотал червя. Леска уходила ему в рот, и крючок зацепился где-то в желудке. Одной рукой я крепко сжал упругую дергающуюся рыбу, а другой «водил», пытаюсь вытащить из ее желудка крючок, но он зацепился там, видно, за кости. И я все дергал, тащил, сильно тащил, а рыба продолжала бить хвостом, открывая рот, глядя на меня выпученными глазами. Потеряв терпение, я потянул изо всех сил, леска лопнула, а крючок остался в рыбе. Вот в этот момент я вообразил, как из меня вырывают крючок, и холодный пот выступил на лбу.

Знаю я отлично, что это детские «телячьи нежности». С готовностью отдаюсь на смех любому рыбаку. Но я был на берегу реки один, вокруг было хорошо, солнце шпарило, вода искрилась, стрелы садились на осоку, а мне нечем было ловить дальше.

Я отбросил окуня подальше в траву и сел подождать, пока он уснет. Время от времени там слышались шорох и хлопанье: он прыгал. Потом затих. Я подошел, тронул его носом — он запрыгал в пыли, облепленный сором, потерявший свою красоту.

Я ушел, задумался и ждал долго, совсем потерял терпение, наведывался к нему, а он все прыгал, и вот меня стало это мучить уже не на шутку. Я взял окуня за хвост и стал бить его головой о землю, но он открывал рот, глядел и не умирал: земля была слишком мягкая.

В ярости я размахнулся и швырнул его о землю изо всех сил, так что он подпрыгнул, как мячик, но, упав, он продолжал изгибаться и прыгать. Я стал искать палку, нашел какой-то корявый сучок, приставил к голове окуня — на меня продолжали смотреть залепленные сором бессмысленные рыбы глаза — и стал давить, протыкать эту голову, пока не проткнул ее насквозь, — наконец он затих.

Лишь тогда я вспомнил, что у меня есть ножик, не без дрожи разрезал окуня, долго ковырялся в нем, отворачивая нос от сильного запаха, и где-то среди жиденьких внутренностей нашел свой ржавый крючок с целым червем. Причем окунь приобрел такой потрепанный и гнусный вид, словно вытасненный с помойки, что было странно: в чем тут держалась такая сильная жизнь, зачем надо было ее, упругую, ловко скроенную, в зеленых полосах и красных перьях, так бездарно разрушать. Я держал в руках жалкие вонючие рыбы ошметки, и как я

ни был голоден, я понял, что после всего случившегося не смогу это жрать.

Это я только начинал знакомство с жизнью, потом я убил много животных, больших и малых; особенно неприятно было убивать лошадей, но ничего, убивал и ел; но об этом дальше.

...Был солнечный день, и пока я возился с окунем, там, в Яру, и по всему континенту работали машины. Я меньше всего рассказываю здесь об убийствах животных. Я говорю о воображении, обладая которым очень нелегко даже убить рыбу.

ГЛАВА ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Очень строго запрещается в какой-либо форме помогать русским военнопленным при побеге — то ли предоставляя им помещение, то ли продовольствие.

За нарушение этого запрета будет наказанием тюрьма либо смертная казнь.

Штадtkомиссар РОГАУШ¹.
Киев, 8 мая 1942 г.

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР В УКРАИНСКУЮ ПОЛИЦИЮ

Требования: возраст от 18 до 45 лет, рост не менее 1,65 м., безупречное прошлое в моральном и политическом отношении³.

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР, сезон 1942 г.

(только для немцев)

Оперы: «Мадам Баттерфляй», «Травиата», «Корневильские колокола», «Пиковая дама», «Фауст».

Балеты: «Коппелия», «Лебединое озеро».

Все трудоспособные жители Киева в возрасте от 14 до 55 лет обязаны трудиться на работах по повесткам Биржи труда.

ВЫЕЗД ТРУДОСПОСОБНЫХ ЛИЦ ИЗ КИЕВА МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ЛИШЬ С РАЗРЕШЕНИЯ РАЙОННЫХ УПРАВ.

В случаях самовольного выезда из Киева, а также неявки по повесткам Биржи труда в течение 7 дней со времени самовольного отъезда виновные привлекаются к ответственности **КАК ЗА САБОТАЖ, А ИМУЩЕСТВО ИХ КОНФИСКУЕТСЯ².**

Переименование улиц:

КРЕЩАТИК — фон **ЭЙГОРНШТРАССЕ**,
Бульвар ШЕВЧЕНКО — **РОВНОВЕРШТРАССЕ**.
Ул. КИРОВА — ул. доктора **ТОДТА**.
Появились улицы Гитлера, Геринга, Муссолини.

Май 1942 г. **СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ:**

ГЛОРИЯ — «Таковы уж эти мужчины», «Трижды свадьба».

МЕТРОПОЛЬ — «Первая любовь», «Свадебная ночь втроем».

ЭХО — «Да, люблю тебя», «Свадьба с препятствиями».

ЛЮКС — «Женщина намерения», «Сальто-мортале».

ОРИОН — «Танец вокруг света», «Только любовь».

«ОСВОБОЖДЕННАЯ УКРАИНА ПРИВЕТСТВУЕТ РЕЙХСМИНИСТРА РОЗЕНБЕРГА» — под такой шапкой газета дает восторженный и развернутый отчет о том, что рейхсминистр оккупированных восточных областей присутствовал на обеде у генерал-комиссара, осмотрел выдающиеся памятники г. Киева, был на балете «Коппелия», посетил хозяйство в окрестностях города, «где беседовал с крестьянами и имел возможность убедиться в их готовности выполнить стоящие перед ними задачи»⁴.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каждый, кто непосредственно или косвенно поддержит или спрячет членов банд, саботажников, бродяг, пленных-беглецов или предоставит кому-либо из них пищу либо иную помощь, будет покаран смертью.

¹ «Новое украинское слово», 23 мая 1942 г.

² Там же, 10 мая 1942 г. «Постановление № 88 Головы города Киева».

³ Объявление в «Новом украинском слове» из номера в номер, май 1942 г.

⁴ «Новое украинское слово», 23 июня 1942 г.

Все имущество его конфискуется.

Такое же наказание постигнет всех, кто, зная о появлении банд, саботажников или пленных-беглецов, не сообщит немедленно об этом своему старосте, ближайшему полицейскому руководителю, военной команде или немецкому сельскохозяйственному руководителю.

Кто своим сообщением поможет поймать или уничтожить членов любой банды, бродяг, саботажников или пленных-беглецов, получит либо 1 000 рублей вознаграждения, либо право первенства в получении продовольственных продуктов, либо право на надел его земель или увеличение его приусадебного участка.

Военный комендант Украины
Рейхскомиссар Украины¹.

Ровно, июнь 1942 г.

Заголовки сводок Главной
квартиры Фюрера:
«ГОЛОД И ТЕРРОР В ЛЕНИНГРАДЕ».
«НАСТУПЛЕНИЕ ИДЕТ ПЛАНОВЕРНО.
УНИЧТОЖЕНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СОЕДИ-
НЕНИЙ ВРАГА У ДОНА».

«СОВЕТЫ ПРОДОЛЖАЮТ НЕСТИ КРУП-
НЫЕ ПОТЕРИ». «ВЧЕРА СОВЕТЫ ТАК ЖЕ
БЕЗУСПЕШНО АТАКОВАЛИ ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ И ЮЖНЫЙ УЧАСТКИ ВОСТОЧНОГО
ФРОНТА»².

Цены на рынке осенью 1942
года: 1 килограмм хлеба — 250 рублей,
1 стакан соли — 200 рублей, 1 килограмм
масла — 6 000 рублей, 1 килограмм сала —
7 000 рублей.

Зарплата рабочих и служащих 300—500
рублей в месяц.

КИНО

СЕГОДНЯ

ЕШНАПУРСКИЙ ТИГР

Большой прекрасный приключенческий
фильм.

Впервые на экране **НАСТОЯЩИЕ ПЕЙЗА-
ЖИ ИНДИИ**.

В главной роли — ЛА-ЯНА,
любимая танцовщица необыкновенной красо-
ты. **СЕНСАЦИЯ! НАПРЯЖЕННОЕ ВНИМА-
НИЕ! ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ДРАМА.**

С пятницы в кинотеатрах «Глория» и «Люкс».

ИНДИЙСКАЯ ГРОБНИЦА

В главной роли ЛА-ЯНА

Еще более сильный, еще более драматиче-
ский и захватывающий фильм — такой яв-
ляется эта вторая, целиком законченная
часть «ЕШНАПУРСКОГО ТИГРА».

Смотрите в кинотеатрах «Глория» и
«Люкс»³.

СРЕДИ ОБЛАВ

Шел на «Индийскую гробницу», а попал в
облаву.

На большой скорости ворвались на нашу
площадь грузовики, с них посыпались немцы, со-
баки, полицаи, выстраиваясь в цепь. Бабы на ба-
заре с визгом бросились врассыпную, с прилавков
полетели корзины, посыпалась картошка, кто успел
выскочить, кто нет, толпа заметалась волной от од-
них ворот к другим, где уже шла проверка «ар-
байткарте».

А мне что? Мне еще нет четырнадцати, я под
трудовую повинность подхожу, но в Германию —
нет. Я присел на ступеньку ларя, на всякий случай
все-таки съежился, чтоб выглядеть еще меньше,
чем я есть, и наблюдал.

Брали главным образом женщин, разных деревен-
ских девчат, пришедших на базар; их быстренько
подсаживали в крытые грузовики, они там визжали,
трясли брезент, высовывали в дырки руки: «Ой, ма-
тинко, помогите! Ратуйте!» Растрепанная тетка кри-
чала: «У меня грудной ребенок дома, смотрите, мо-
локо!» Полицаи шли цепью, прочесывая базар, под-
гоняя оставшихся, но явно дряхлых старух не тро-
гали, взглянули на меня и тоже ничего не сказали.
Облава кончилась так же внезапно, как и началась.

Машины отъехали полные. Земля была усыпана раз-
давленной картошкой, разбитыми бутылками, зали-
та молоком.

У меня в кармане была получка, новые «украин-
ские» деньги, и то, что я пойду в кино, волновало
меня тогда больше всех облав.

Советские деньги перестали ходить в один день:
просто было объявлено, что советские деньги не-
действительны. Вместо них вышли отпечатанные в
Ровно «украинские». Правда, писалось, что со вре-
менем советские деньги будут обмениваться, но это
только писалось, и, по-моему, это была одна из
самых незапутанных денежных реформ в мире:
просто выбрасывай старые деньги на помойку, и де-
ло с концом. Новые деньги были отпечатаны на
очень скверной бумаге, почти как тетрадной, со
свастиками. С одной стороны надписи только по-
немецки, с другой — тоже по-немецки, и только в
самом низу по-украински стояло: «Один карбова-
нець», «Десять карбованців» — вот это и называлось
«украинские» гроши.

В кинотеатре «Глория» (бывший «Октябрь») я
взял билет, прошел в зал и вдруг услышал радост-
ный крик: «Толик!»

Обернулся — Шурка Маца. Он кинулся ко мне,
тормошил, щупал, я тоже ужасно обрадовался, что
он жив и с ним ничего не случилось. Он замахал

¹ «Киевщина в годы Великой Отечественной вой-
ны». Сборник документов. Киев, 1963. Стр. 282—283.

² «Новое украинское слово», 4, 7 и 20 июля 1942 г.

³ «Новое украинское слово», реклама из номе-
ра в номер.

руками, кинулся в фойе, принес бутылку сидра и два бумажных стаканчика, и мы прямо в зале стали наливать и пить, чувствуя себя настоящими мужчинами, добрыми старыми товарищами, для которых дружба свята.

— А на Подоле меня никто не знает, — рассказывал Шурка. — Я для всех украинец.

— Чем занимаешься?

— Как раньше! Серебряные рубли продаю.

— Да, Болик ведь пришел! — воскликнул я. — Драпанул из-под охраны, говорит: «Чуть-чуть пулеметик не прихватил». Только домой явился — его цоп, и в Германию. А он из самого пересыльного лагеря как чесанет — и опять пришел.

— Ну, смотри, живучий какой! — покотился Шурка со смеху. — Куда его только ни берут, а он все приходит! Но его ж схватят.

— А он в погребе сидит, мышей ловит.

— Что-о?

— Мышеловки делает.

Свет погас, и на нас зашикали. Начался киножурнал, который назывался «Приезжайте в прекрасную Германию».

Вот бодрые и веселые парубки и девчата энергично, выпятив грудь и вдохновенно глядя вперед, садятся в товарные вагоны. Задумчиво смотрят в двери на проплывающие леса, поля, рощи. Поют под стук колес украинские песни. А вот и прекрасная Германия — всюду удивительная чистота, беленькие домики, отличные дороги. Смеюсь от счастья, приезжающие облачаются в новую, выданную им одежду, натягивают хромовые сапожки, и вот уже парни лихо правят сытыми лошадьми, а девушки обнимают за шею тучных, породистых коров. Вечер... Солнышко село. Теперь можно и отдохнуть. Они выходят на берег очаровательного пруда и чарующе поют украинскую народную песню «Світить місяць, світить ясний...», а добродушный немецкий хозяин, в меру солидный, в меру забавный, тихонько подкрадывается и присаживается, ласково улыбаясь, слушает задумчивую песню, как отец родной...

Давно, с самого Крещатика, я не был в кино. Поэтому каждый кадр врезался мне в память, особенно «Индийская гробница».

Я смотрел ее сначала доверчиво, потом стал постепенно настораживаться, и мне полезли в голову мысли, фильмом совершенно не предусмотренные, мысли посторонние и неожиданные. Меня вдруг стала душить ненависть.

За мелькавшими на экране фигурами раджи, милых немецких инженеров и ослепительной европейки я вдруг увидел нескончаемые вереницы рабов, строивших эту треклятую бессмысленную гробницу.

Они прошли вторым, даже третьим планом, чуть-чуть, но этого хватило, чтобы меня затрясло от ярости и с фильма слетели завесы.

Они уже подбирались к Индии и снимали подлинные ее пейзажи. У них у всех — этих рабовладельцев, эксплуататоров, раджей, королей, правителей — особая жизнь, а там, на заднем плане, так, между прочим, рабы, поделенные на бригады...

Мы с Шуркой вышли из кино мрачные, как гены. По тротуарам Подола прогуливались немецкие солдаты, обнимая за талии местных девушек. Девушки были оформлены по последней моде: крупно вьющиеся и небрежно падающие на плечи длинные волосы, пальто без талии нараспашку, руки обязательно в карманах. Две пары перед нами распрощались, и мы услышали такой разговор.

— Что он тебе дал? — спросила одна девушка.

— Две марки, мандаринку и конфет, — похвасталась вторая.

— Мне три мандаринки.

Шурка презрительно пожал плечом:

— Самодеятельность. Настоящее у них во Дворце пионеров — «Deutsches Haus», публичный дом по всем правилам, на Саксаганского, 72, тоже... Слушай, у тебя есть три тысячи? Тут один сутенер продает мешок советских денег, решил, что они пропали, просит три тысячи. Возьмем?

— У меня двести, вся зарплата.

— Жалко... А то пошел он в ж... с такими деньгами. Эх, доживем ли мы еще до наших?

В витрине парикмахерской были выставлены карикатуры на красноармейцев, на Сталина. На одном рисунке он был изображен в виде падающего глиняного колосса, которого напрасно пытаются поддержать Рузвельт и Черчилль.

Мы посмотрели, позевали.

— В Первомайском парке, — сказал Шурка, — вешали ребят. Они кричали: «Да здравствует Сталин!» Им нацепили доски «Партизан», а на другое утро вместо этих досок висят другие: «Жертвы фашистского террора». Немцы рассвирепели, как тигры, поставили полицейских сторожить. На третье утро — трупов нет, а полиция висят... Вот что, я пошел! Скажи Болику, что я приеду!

— Где ты живешь? — закричал я, удивляясь, почему он так быстро уходит.

— Там! — махнул он. — Тикай, облава! Болику привет!

Только теперь я увидел, что по улице мчатся крытые грузовики. Люди, как мыши, побежали по дворам, шмыгали в подъезды. Я прислонился к стене, не очень волнуясь: мне еще не было четырнадцати лет.

КАК ИЗ ЛОШАДИ ДЕЛАЕТСЯ КОЛБАСА

Дегтярев был плотный, немного сутуловатый и мешковатый, но подвижный и энергичный мужчина лет пятидесяти с гаком, с сединой в волосах, большим мясистым носом, узловатыми руками.

Одет был скверно: замусоленный пиджак, грязные, заплатанные штаны, кепка блином, стоптанные сапоги в навозе.

Наиболее часто употребляемые выражения: «фунт дыма» — в смысле «пустяк», «пертурбации» — в смысле «смена режимов», «погореть на девальва-

ции» — в смысле «лишиться состояния при денежной реформе».

Я явился в шесть утра, и первое, что сделал Дегтярев (и очень правильно, добавлю), — это накормил меня до отвала.

В доме у него было уютно и чисто, полно разных белых салфеток, покрывал, на кровати белоснежное белье; и среди такой чистоты сам хозяин выглядел сивопалым мужиком, затесавшимся в ресторан.

Я живо поглощал жирный борщ с бараниной, кашу с молоком, пампушки, которые подсовывала мне старуха, а Дегтярев с любопытством и некоторой жалостью смотрел, как я давлюсь, и вводил меня в курс дела.

Когда-то у него была небольшая колбасная фабрика, но в революцию ее забрали. Был нэп, и у него опять стала почти фабрика, но поменьше, потом ее забрали. Теперь у него просто мастерская, но подпольная, так как патент стоит бешеных денег, поэтому ее заберут.

— Революции, перевороты, пертурбации, а мы должны как-то жить? Я считаю: повезет — пляши, не повезет — фунт дыма. Соседи знают все про меня, я им костями плачу. А другие не должны знать. Спросят, что делаешь, говори: «Помогаю по хозяйству». Как в старое время батрак. Будешь водить лошадей, а то когда я по улице веду, все пальцем показывают: «Вон, Дегтярев клячу повел на колбасу».

Я натянул свой картуз, и мы пошли на площадь к школе. Шла посадка на пароконные площадки биндюжников, исполнявшие теперь роль трамваев, и автобусов, и такси. Бабы с корзинками, деревенские мужики, интеллигенты в шляпах лезли, ссорились, подавали мешки, рассаживались, свесив ноги на все четыре стороны.

Мы втиснулись меж корзин с редиской, ломовик завертел кнутом — поехали на Подол быстрее ветра, три километра в час, только кустики мелькают. Я трясся, весь переполненный сознанием законности проезда (а то ведь все зайцем да пешком, а тут Дегтярев заплатил за меня, как за порядочного), и с чувством превосходства смотрел на тащившиеся по тротуарам унылые фигуры в рваных фуфайках, гнилых шинелях, калошах или босиком.

Житный рынок был человеческим морем и чревом Подола (Золя я уже прочел, найдя на свалке). Кричали торговки, гнусавили нищие, детишки пели: «Кому воды холодной?» У ворот стояла худущая-прехудущая (как у нас говорят, «шкилетик») девочка лет десяти и продавала с тарелки пирожные: «Свежие пирожные, очень вкусные, купите, пожалуйста». Ах ты черт возьми!..

По Нижнему Валу тянулася грандиозная барахолка, стояли нескончаемые шеренги. «Шо воно такое?» «Палто». «Куда ж воно годно, такое пальто?» «Хорошее палто! Теплое, как гроб».

Дегтярев уверенно пробивался в толпе, я хватался за его пиджак, чтоб не отстать, чуть не свалил старушку, продававшую одну ложку: так вот стояла и держала перед собой стальную (хоть бы уж серебряная!) ложку. Ах ты черт возьми!..

Большой плац был забит телегами, под ногами навоз и растоптанное сено, ревели коровы и визжали свиньи. «А чтоб отдал?» «Семьсот тыщ» «Шоб ты подавився!» «Давай шиисят!» Дегтярев к свиньям только приценивался, в память добрых старых времен, а ухватился за старого, хромого, в лишаих мерина. Губы мерина отвисли, с них капали слюни, грива полна репьев, он стоял понуро, наполовину закрыв веками бельмастые глаза, и не обращал внимания на мух, которые тучами облепили его морду. «За пять беру!» «Ты шо, сказився? Это ж конь!» «Голова, четыре уха, за шесть по рукам?» «Бери за сем, хозяин, будеть все шо хошь возить, конь-огонь, на ем только на еподроме скакать».

Дегтярев торговался жутко, хватко, размахивая деньгами, бил по рукам, плевался, уходил, опять возвращался, но дядька оказался лопухим только с виду, уже не сходились только на какой-то десятке, наконец, повод перешел в мои руки, и мы с

трудом выбрались из этого котла. У стоянки извозчиков Дегтярев напутствовал меня:

— Можешь сесть верхом, если он не упадет, но, упаси бог, не проезжай мимо полиции. Я буду ждать.

Я подвел мерина к тумбе, влез ему на спину и толкнул пятками. Хребет у него был, как пила. Он тащился медленно, хромя, поминутно выражая желание остановиться, я его подбадривал и так и этак, лупил прутиком, потом мне стало его жалко, я слез и повел за уздечку.

Долго мы плелись боковыми улицами, тихими, поросшими травой. Я назвал коня Сивым, и он понравился мне, потому что и не думал лягаться или кусаться. Я ему давал попасть под заборами, отпущал совсем, потом говорил:

— Сивый, жми сюда, тут трава лучше!

Он поднимал голову, смотрел на меня и шел, понимая, спокойный, умный и добрый старик. Мы совсем подружились.

Дегтярев поджидал меня в Кошицевом проулке. Мы долго высовывали из него носы, выжидая, пока на улице никого не будет, потом быстро, бегом завели Сивого во двор, прямоком в сарай.

— Дай ему сена, чтоб не ржал! — велел Дегтярев.

Сивый при виде сена оживился, активно стал жевать, пофыркивать, видно, не ждал, что привалит такое добро.

Дегтярев был в отличном настроении, полон энергии. Поточил на бруске два ножа, сделанные из полосок стали и обмотанные вместо рукоятки изоляцией; взял в сенях топор, ушат, ведра, и мы пошли в сарай, а за нами побежали две кошки, волнуясь и мяукая, забегая вперед, словно мы им мясо несем.

Сивый жевал сено, ничего не подозревая. Дегтярев повернул его, поставил головой против света и велел мне держать за уздечку — держать крепко! Покряхтывая, он нагнулся и связал ноги коню. Сивый, видно, привыкший в этой жизни ко всему, стоял равнодушно, не сопротивляясь.

Дегтярев встал перед мордой коня, поправил ее, как парикмахер, чтоб держалась прямо, молниеносно размахнулся и ударил коня топором в лоб.

Сивый не шевельнулся, и Дегтярев еще и еще раз ударил, так что череп проломился. После этого конь стал оседать, упал на колени, запалился на бок, ноги его в судороге вытянулись и задрожали. Дегтярев отшвырнул топор, как коршун, навалился на коня, сел верхом, крикнул коротко:

— Бадью!

Я подтащил ушат. Дегтярев приподнял обеими руками вздрагивающую голову коня, я подсунул ушат под шею, и Дегтярев полоснул по шее ножом. Из шеи бурным потоком хлынула кровь, она лилась, как из водопроводной трубы, толчками, и в ушате поднялась красная пена. Дегтярев изо всех сил держал дергающееся тело коня, чтоб кровь не лилась мимо ушата. Каким-то образом его руки уже были окровавлены, и на мясистом лице — капли крови. Копыщающийся над конем, вскидывающийся вместе с ним, крепко уцепившийся, он был чем-то похож на паука, схватившего муху.

Я заикался ни с того ни с сего. Он поднял забрызганное лицо.

— Чего испугался? Привыкнешь, еще не того наглядявшись в жизни. Коняка — фунт дыма! Подкати бревно!

Кровь вылилась вся и сразу прекратилась, словно кран закрылся. Дегтярев перевернул коня на спину

и подпер с боков бревнами; четыре ноги, растопырившись, торчали в потолок. Дегтярев сделал на них, у бабок, кольцевые надрезы, от них провел надрезы к брюху, и мы принялись тянуть шкуру. Она сползала, как отклеивалась, лишь чуть помогая ножом, а без шкуры туша уже перестала быть живым существом, а стала тем мясом, что висит на крюках в мясном ряду.

Тут кошки подползли и вцепились в мясо, где какая присосалась, отгрызая куски, злобно рыча. Дегтярев не обращал на них внимания, торопился, не смахивал капли пота с лица, и так мы вчетвером стали растаскивать Сивого на части.

Копыта, голову и шкуру Дегтярев свалил в углу, одним махом вскрыл брюхо, выгреб внутренности, и вот уже печенка летит в одно ведро, легкие — в другое, ноги, грудинка отделяются в одно касание, будто и нет в них костей. Разделять тушу Дегтярев был мастер. Мокрый, перепачканный, сосульки волос прилипли к красному лбу, кивнул на бесформенную грудку мяса:

— Носи в дом!

А дом у него хитрый: спереди крыльцо, комнаты, как положено, а сзади — еще отдельная комната, со входом из узкого, заваленного хламом простенка, и не догадаешься, что там дверь.

На больших столах, обитых железом, мы отделили мясо от костей и посыпали его солью. Ножи были, как бритвы, я сто раз порезался, и соль дико щипала. Так я потом постоянно ходил с пальцами в тряпичках. Дегтярев утешил:

— Я с того же начинал, и я из батраков вылез. Я тебя кормлю, а вот меня ни хрена не кормили, за одну науку работал. Вот ты головастый — учись, я сделаю из тебя человека, получишь профессию колбасы делать, а это тебе не фунт дыма, никогда не пропадешь, все пертурбации и девальвации переживешь! В министры не суйся — их стреляют; будь скромным колбасником.

Я учился.

В центре комнаты стояла привинченная к полу мясорубка в человеческий рост с двумя рукоятками и воронкой размером с небольшой круглый стол. Дегтярев постучал в стену, явилась его старуха, рыхлая и флегматичная, с белесым деревенским лицом, вздыхая, забралась на табуретку и стала скалкой толкать мясо в воронку. Мы взяли за корбы, машина зачавкала, заскрежетала, старенькие шестерни затарахтели. После голодухи я не был силен, главную прокрутку делал хозяин, он работал, как вол, тяжело дыша, мощно вертел и вертел. Жестоко работал. Я задыхался, и временами не я вертел, а ручка таскала меня.

Готовый фарш шлепался в ведра, а когда мясо было прокручено, Дегтярев вывернул его в корыта, сыпал соль, перец, толченый чеснок, какие-то белые кристаллы горстями.

— Это селитра, — объяснял он, — для цвета.

— А не вредно?

— Черт его знает, в общем, жрут, никто не подышал. Я сам лично колбасу не ем и тебе не рекомендую... Теперь льется вода, два ведра мяса впитывают ведро воды, вот тебе и вес и прибыль.

Удивительно мне было. Надев фартуки, мы перетирали фарш с водой, как хозяйки трут белье на стиральных досках: чем больше тереть, тем больше воды впитается. Опять у меня зеленело в глазах...

Я напоролся в фарше на что-то, порезался: кусочек полуды.

— Воронка в мясорубке лупится, — озабоченно сказал Дегтярев. — Иди завяжи, чтоб кровь не шла.

— Люди будут есть?..

— Помалкивай. Вольному воля. Пусть не жрут.

Шприц, как положенное набок красное пожарное ведро, тоже имел корбу, шестерни и длинную трубку на конце. Набив его фаршем, Дегтярев крутил рукоятку, давил, а я надевал на трубку кишку и, когда она наполнялась, завязывал.

Работали несколько часов, как на конвейере, оказались заваленными сизыми кольцами. Но самой неприятной оказалась кровяная колбаса: каша из шприца сочилась, а кровь была еще с прошлого раза, испорченная, воняла, дышать нечем, а конца колбасы не видно — руки в каше и крови. Когда все это кончилось, я шатался, вышел во двор и долго дышал воздухом.

А Дегтярев работал, как столичный. В углу была печь с вмурованным котлом, полным зеленой, вонючей воды от прошлых варок. Дегтярев залил колбасы в котел, они варились, становясь красными. Мы нанизывали их на палки и тащили в копильню на огороде, замаскированную под нужник.

Глухой ночью мы выгружали последние колбасы из копильни — горячие, вкусно пахнущие, укладывали в корзины, покрывая «Новым украинским словом». Я уж и не помню, как Дегтярев отвел меня спать на топчане. Я пролежал ночь, как в яме, а чуть свет он уже тормозил:

— На базар, на базар! Кто рано встает, тому бог подает!

На коромыслах мы перетащили корзины к стоянке, отвезли на Подол, и в каком-то темном грязном дворе торговли приняли их. Дегтярев вышел с отдувающимися от денег карманами. Опять пошли на толкучку, он шушукался с разными типами, уходил, оставляя меня у столба, вернулся с похудевшими карманами, хитро спросил:

— А ты золотые деньги видел?

Я не видел. Он завел меня за рундук, достал носовой платок, завязанный узелком. В узелке были четыре червонца царской чеканки. Дегтярев дал мне один поддержать.

— По коню! — весело сказал он. — Все, что мы наработали.

Я пораженно держал эту крохотную монетку, в которую превратился старина Сивый. И еще я оценил доверие Дегтярева. Давно уже печатались приказы о сдаче золота, за обладание которым или недонесение о нем — расстрел.

— При всех революциях, войнах, пертурбациях только с этим, братец, не пропадешь. Остальное — фунт дыма, — сказал Дегтярев. — Подрастешь — поймешь, ты меня слушай, ты не смотри по сторонам, еще вспомнишь старого Дегтярева не раз... А теперь пошли торговать нового скакуна.

Работал я у Дегтярева тяжело и зверски. На меня он переложил всю доставку колбас торговкам: его с корзинами уже примечали. Он мне выдавал деньги на извозчика, но я экономил, «зайцевал», прыгал на трамваи. Извозчики сгоняли, лупили кнутом. С корзинами трудно. Раз свалился с грузовика, собралась толпа. Очень оборвался, вечно был судорожный, неприкаянный, как беспризорный котенок.

Однажды, убирая мастерскую, решил и стянул кольцо колбасы, запрятал в снег под окном. Весь вечер дрожал, потому что Дегтярев пересчитывал. А я тянул до счета. Уходя домой, полез в снег — нет колбасы. Тут у меня душа ушла в пятки: выгонит Дегтярев. Присмотрелся — на снегу следы кошачьи... Ах, гадюки проклятые, я у Дегтярева, они у меня! Так и не попробовал колбасы. Дегтярев в первый день дал мне четыре кости Сивого, и потом с каждого коня давал по кости, по две. Но с них мало навару. Конина — вообще жесткое и пресное мясо,

МНЕ ОЧЕНЬ ВЕЗЕТ В ЖИЗНИ, Я НЕ ЗНАЮ, КОГО УЖ ЗА ЭТО БЛАГОДАРИТЬ

Д а, я считал, что мне очень повезло. Работал тяжело, но был сыт, приносил кости. Маме было хуже: она только раз в день получала на заводе тарелку супа. Самый ловкий шаг выкинул дед: пошел «в приймаки» к бабе.

Он долго и галантно сватался на базаре к приезжим колхозницам, напирая на то, что он домовладелец и хозяин, но у одиноких старух были на селе свои хаты, переселяться в голодный город они не хотели даже ради такого блестящего жениха.

Дед это скоро понял и сообразил, что если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Он срочно полюбил одну старую одинокую колхозницу из Литвиновки по имени баба Наталка, запер свою комнату и отправился «в приймаки» в село.

Дед дипломатично рассчитывал, что баба Наталка будет готовить борщи и пампушки, подавать ему на печку и добавлять по субботам самогонку, но он не учел того, что контракт был двусторонний. Баба Наталка была такая же хитрая, как и он, и рассчитывала, что дед будет пахать, сеять, жать, молотить вместо нее. Пребывание деда Семерика в Литвиновке превратилось в одно сплошное недоразумение и непрерывный скандал.

Длилось это несколько месяцев, потому что дед все-таки отчаянно цеплялся за возможность каждый день есть борщ и кашу, но в свои семьдесят два года пахать он все-таки не мог, и оскорбленная баба Наталка с треском изгнала его. Он утешился тем, что перезнакомился со всей Литвиновкой, и теперь колхозники все чаще останавливались у него на ночлег, платили кто кучку картошки, кто стакан горюху, и этим он стал жить. Снова позавидовал мне, просился к Дегтяреву вторым работником, но из этого ничего не вышло — какой опять-таки из него работник?

И вдруг Дегтярев исчез.

Я пришел, как всегда, рано утром. Озабоченная старуха велела идти домой: Дегтярев уехал по делам, будет завтра. Но его не было завтра и послезавтра. Потом он сам зашел за мной, взволнованный, с большой корзиной:

— Скорее, пошли работать!

В корзине была свежая рыба, которую он подрабывал. Он нацарапал несколько записок, послал меня с ними к торговкам на Подол. Когда я вернулся, рыба уже была готова, кучей лежала на столе в мастерской — бронзово сверкающая, головокружительно пахнущая. Дегтярев задумчиво сидел перед ней, какой-то осунувшийся, усталый, впервые безвольно положив на стол свои прежде такие деятельные руки. Я ничего не понимал, но у меня сжалось сердце.

Торговки передали ему деньги в свертках, но он — тоже впервые — не стал пересчитывать, равнодушно сунул в карман.

— А ничего рыба получилась! — сказал я.

— Вот именно, что ничего. Запорол, — сказал Дегтярев. — Я ее давно коптил, все напутал. Стыдно нести.

Он стал осторожно укладывать рыбу в корзину, выстеленную газетами. Я не видел, что он там запорол.

— Вот что. Ты отнесешь, — сказал он. — Скажешь: Дегтярев плохо себя чувствует, не смог. Упаси тебя

бог отковырнуть: они по счету. Пойдешь по Сирецкой, на консервный завод, за кирпичные заводы, дорога свернет влево, в гору; иди по ней долго, придешь к военному лагерю с вышками, в воротах скажешь: «Это пану офицеру Радомскому». Объяснишь ему, что я не мог прийти. С корзиной отдавай, обратно ее не носи.

— Корзина новая...

— Ничего. И не говори, что я испортил, он, может, еще и не поймет. Отдал — и ходу домой. Понял?

А чего тут понимать? Я взвалил тяжеленную корзину на плечо (вечно болит, натертое до крови коромыслами) и потопал. Уже выбился из сил, едва дойдя до Сирецкой. Но я знаю это: вроде сил уже нет, а тащишься и тащишься, и все они откуда-то есть.

Садился отдыхать с наветренной стороны, чтоб не слышать этого проклятого запаха копченой рыбы. И миновал консервный и миновал кирпичные, и дорога шла налево в гору.

Уж так я был рад, такой был довольный, когда увидел наконец слева от дороги военный лагерь. А здоровый он был, собака, я все шел и шел, а ворот не видно. Щиты: «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА. ПРИБЛИЖАТЬСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 15 МЕТРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. ОГОНЬ ОТКРЫВАЕТСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ».

Поэтому я инстинктивно жался к правой обочине и косился на часовых на вышках. Проволока была в три ряда, и средний ряд на чашечках, явно под током, значит, лагерь был очень важный, может, даже секретный.

Доплелся наконец до угла, где были ворота. Решил, что тут пятнадцатиметровая зона недействительна, подошел к часовому, который скучал, опершись о столб ворот.

— Пану офицеру Радомскому, — сказал я, показывая на корзину.

Он кивнул на длинное приземистое строение тут же у ворот, что-то сказал, я понял только одно слово «вахштубе» — караулка. Я поднялся по ступенькам на крыльцо, вошел и очутился в длинном коридоре. Никого не было, только слышался стук пишущей машинки, и я пошел на него.

Дверь в комнату была приоткрыта, несколько девушек болтали — наши, местные, секретарши, что ли. Как в какой-нибудь конторе — забрызганные чернилами столы, счеты, расчерченные ведомости со столбиками цифр. Девушки были по-куреневски красивые: розовощекие, полненькие, в кудряшках; они усталились на меня.

— Это пану офицеру Радомскому, — сказал я свою фразу.

— А-а! Ставь сюда. — Одна из девушек помогла мне водрузить корзину на стол и сразу полезла под бумагу, переломила рыбу. — Ого, ничего... м-м... а вкусно!

Они окружили корзину и своими полненькими пальцами в чернилах стали рвать рыбу и класть в рот, простые такие, озорные куреневские девчонки. Я забеспокоился, но раз они так храбро уцепились за эту рыбу, значит, они имели право, так я подумал — и обрадовался, что она им понравилась. Жрите на здоровье.

— Это от Дегтярева, он не мог прийти, — сказал я, завершая свою миссию.

— Ага... м-м... передадим. Спасибо!

Я и ушел, правда, немного беспокоясь, что не отдал лично «пану офицеру», они же могут половину сожрать. А потом я пожалел, что не съел сам хоть самую малую: никто и не собирался их пересчитывать. Точно, я мог бы съесть одну, даже две...

Дегтярев необычайно обрадовался, когда я вернулся и подробно рассказал, как и кому вручил рыбу. Ему не понравилось, что я отдал не самому «пану офицеру», но когда я описал, как секретарши ели и хвалили, он вскочил, заходил по комнате.

— Это хорошо, может, даже лучше! Они, дуры, не поймут. И пальчики облизывают? Слава богу, может, эта пертурбация сойдет. Больше не возьмусь, ну ее к дьяволу! Фу, слава богу! Чеши домой, больше работы нет.

Я ушел, недоумевая, почему все это так его встревожило. Ну, даже если и испортил рыбу, подумаешь, велика беда. Понимаю, конечно, что ему, как мастеру, стыдно перед немцем-заказчиком...

И вдруг я подумал: постой, где ж это я был? Я прислонился к забору, не в силах ступить шагу.

Ведь это был тот лагерь на Сырце, у Бабьего Яра, о котором говорят ужасы. Но у меня, уставшего и обалдевшего от этой корзины, не увязалось, что я подхожу к нему с тыла. Возили-то в него из центра города, через Лукьяновку, а я пришел отсюда, с тыла.

Значит, Дегтярев там был — и вышел? За что, как? За золото, за корзину рыбы? И мое счастье было именно в том, что «пана офицера» не оказалось: а ну рассердись он, что Дегтярев не пришел, ведь он мог бы оставить меня! Ах ты ж..., ах ты ж гадина подлая, послал меня вместо себя! Как на минное поле.

Я стал вспоминать эту проволоку под током, вспомнил, что видел во дворе унылых военнопленных, но не присматривался: где их теперь нет? И слышал выстрелы за бараками, но не прислушивался: где теперь не стреляют? Я, как воробей, прилетел в клетку и улетел, и мне повезло.

И во всяком случае, мне вообще до сих пор здорово везет, я не знаю, кого уж за это благодарить, бога нет, судьба — фунт дыма. Мне просто везет. Совершенно случайно я не оказался в этой жизни ни евреем, ни цыганом, не подхожу еще в Германию по возрасту, меня минуют бомбы и пули, не ловят патрули. Боже мой, какое везение! Наверное, вообще в жизни живут только те, кому здорово везет. Не повези — и я в этот момент мог бы сидеть уже за проволокой Бабьего Яра, случайно, нечаянно; допустим, только потому, что «пан офицер» оказался бы не в духе или вдруг оцарапал десну рыбьей костью...

Я прошел немного по улице, как пришибленный. Уже вечерело, тучи были тяжелые и лиловые. Я вдруг опять бессильно прислонился к забору. Мне стало так тошно, такая тоска, что хоть бери и твякай.

Невыносимое ощущение духоты; молчаливый мир; багровые полосы по небу. Я почувствовал себя муравьишкой, замурованным в фундаменте. Весь мир состоял из сплошных кирпичей, один камень, никакого просвета, куда ни ткнишь головой — камень, стены, тюрьма. Во мне было море отчаянной, животной тоски. Это же вдуматься: земля — тюрьма, кругом запреты, все нормировано от сих до сих, все разгорожено и перегорожено, ходи только так, живи только так. Как это, зачем это, кому надо, чтоб я рождался, жил и ползал в этом мире, как в тюрьме? Настроили заграждений не только для муравьишек — для самих себя!

Боже мой, да что же это делают с человеком?..

(Окончание следует)



Марк
Вейцман

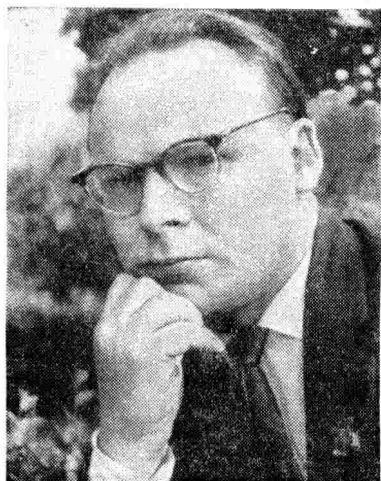
Нежность

Сердце с теми ребятами
Что, бедою задетые,
Уходили солдатами,
Возвращались поэтами.
Повидали такого,
Что поблекнут все вымыслы.

Из огня да из крови
Нежность бережно вынесли.
Вот глядите:
Изранена,
Голодна и обижена,
В самом пекле была она,
А подите-ка —
Выжила!
И губами бесцветными
Над сожженными хатами
Шепчет:
— Будьте поэтами,
Но оставайтесь солдатами!

Рассвет

Еще туман лежит на взгорке
холодно и легко.
В эмалированном ведре
несу парное молоко.
А хлопцы спят, зарывшись в сено.
Им снятся копны и мешки,
волненья сессии весенней,
футбол, девчонки и стихи.
И все прозрачно. Все несложно.
И так мне радостно ступать
и быть затем лишь осторожным,
чтоб ничего не расплескать!



**Михаил
Беляев**



Этот ров отыскивали ветра.
Здесь трава зелена,
Словно в мае.
Но такая приспела пора —
Зелень,
Словно стекло,
Разбивает.

На ромашке качается шмель.
Он тут свой —
И солидней
И тише.
И блестит краснозерный щавель,
Трепет крыльев
Внимательных
Слыша.

Далеко до вечерней зари.
Он весь ров
Облетит
Величаво.
Одари его, ров, одари
Сладким медом,
Таящимся в травах.

По долинам прохлады течет.
Холодеют цветы по долинам.
Гуще стал
Высыхающий мед,
Неотвязней,
Прочней паутина.

Скоро ливни,
Как трубы,
Взревут,
Шмель укроется в теплом жилище:
Столько меда собрал он во рву —
И последнюю каплю
Отыщет.

Баллада о буханке черного хлеба

Не будет, наверное, школьных занятий,
Хоть дети явились из снежной дали.
Не взяли ребята ни книг,
ни тетрадей —

С буханкою
Черного хлеба
Пришли.

Внесли ее в школу, как сон необычный.
В ней сорок две горсточки теплой муки —
Ячменной, ржаной, просяной

и пшеничной,
В ней сорок две сильных по хлебу тоски.

В ней сорок два сильных
Мечтанья о свете
Слились ручейками —
Осела зима,
И голод боялся приблизиться к детям
И обходил стороною дома.

И отрывались с земли пепелища,
И яблоком
Вышла над взрывами
Вьсь.
И не было раненых,
Не было нищих,
И к детям отцы
Из могил поднялись.

И так они к детям застывшим прильнули,
И так, улыбаясь,
Дышали они,
Что сплющивались от дыхания пули
И возвращались ушедшие дни.

Легко молодея,
Стройнея, как в сказке,
Сходились к ребятам
Все люди села
Смотреть,
Как буханка румянилась в каске,
Как будто рождалась она из тепла.

Как будто не пухли под каждой крышей,
Войною не стерло
Посевы с земли...
Но дети хотели, чтоб хлеб этот вышел —
И матери сделали все, что могли...

...Ребятам сугробы натерли колени.
Как будто стальные,
Ботинки звенят.
У старой учительницы
День рождения.
В руках ее тает
Буханка ребят...



Взбеленились густые снега.
Побелело дыхание мое.
Не помаййтесь в мороз, берега,
Не качайся от снега, жилье.
Не качайся от снега, тоска,
Словно плуги, мечты озвени.
Пусть зима высока, высока,
Но в руках ее теплые дни.
Но в руках ее стаи ручьев.
Встрепенутся, сорвутся ручьи.
Лишь теснее они от снегов.
Громче, свет, по снегам застучи.
Встрепенется земля у села —
Вся в зеленых колечках ростков,
Выйдет тихо она из снегов,
Как из улья выходит пчела.



Дмитрий
Сухарев

Последняя декада декабря

Не веселит
Залива мерзлый вид,
Короткий день,
Высокие широты,
Посвечивает небо без охоты,
Отсвечивает без охоты снег,
Добро бы выюга, так и выюги нет,
Что завтра,
Что сегодня,
Что вчера,
Скольжение лыж по тусклому свеченью
Подобно дней теченью —
Вот пора!

На мой балкон
Вертявая синица прилетает,
И, отвечая на ее поклон,
Я, дважды отгороженный стеклом,
Ей кланяюсь достойно и толково.
Должно быть,
Мой предшественник кормил
Свистунью эту,
Или просто мил
Ей мир писательский
И влажный снег балкона.

Декабрь.
Его последняя декада.
И мысль дика,
Что где-то есть июнь, не знающий заката,
Купающийся в солнце,
Плещущийся в нем!
Мысль дельная, по чести говоря.
Зело, однако ж, мыслями богата
Последняя декада
Декабря.

Лес

Что ни говори, а лес лечебен.
Как мне было сумеречно — как!
Как я был раздавлен и унижен,

А вот в лес вошел — и вроде выжил,
Дышим, брат, а это не пустяк.

Как ни рассуждай, а мне, пожалуй,
Надо бы напасть перенести,
Будто впрямь гвоздище этот ржавый,
Что сидит, заклинившись в кости,
Мне сулит не почернение крови,
А простое, скажем, нездоровье —
Пей таблетки, брат, и не грусти.

Так он, лес, блюдет себя на свете,
Хоть его и рубят и палят,
Что в любой беде тебя приветит
Благотворный свет его палат.

Не трудись над собственным над горем,
Не тебе паскудно одному.
Палом жженный,
Срубленный под корень —
Оглянись,
Не тошно ли кому.

Мать, а ведь самая малина...

Мать, а ведь самая малина
Теперь, пожалуй. В лес пора!
Сойдем, не доезжая Клина,
Иль мы с тобой не мастера
Заготовительного цеха!
Мать, собирайся, не до смеха,
Малину собирать пора!

Сойдем и подадимся вправо.
Работать надо — выходной!
В лесу работников орава,
А ягод вовсе ни одной.

Ну нет!

Малины — изобилие.
Иль мы с тобой перезабыли
Свой места, и надлежит
Нам чьим-то следовать советам!
Ну нет, привет. Мы — по кюветам,
Авось, бидон и набейт.

Зато известно наперед,
Как после, стылою порою,
Когда снега тебя покроют
И душу стужа проберет,
Придет черед,
Наступит срок
Ему,

пахучему варенью.
Оно по щучьему веленью
На скатерть — скок!
Ну, мать, кончай
Печалиться,

подуй на чай,
Не век стоять зиме угрюмой.
Ты вспомни некий выходной
И с пониманием подумай:
Куда садовой до лесной!..

● Аркадий
Адамов



тая



Рисунки Г. Калиновского
и Л. Фалина.

ГЛАВА I

«Чистая мистика» для начала

В кабинете у Бескудина сидела незнакомая женщина, и Виктор в первый момент подумал, что зашел не вовремя. Но Федор Михайлович кивнул ему, и Виктор присел в стороне на стул. Женщина даже не посмотрела в его сторону. Она сидела сгорбившись, поминутно прикладывая платок к распухшим, покрасневшим глазам, и как-то надломленно, безнадежно говорила хмутившемуся Бескудину:

— Не знаю я его, не знаю. Одно прошу: найдите. Страшный он человек. Вы поймите. Погубит он Толю. Господи, никогда не думала, что такой бессильной буду. Что чужой человек так им распоряжаться сможет, так подчинить.

— А отец?

— Что отец, — горестно махнула рукой женщина. — Если уж я не могу. Вы не думайте, — вдруг встревожилась она, — отец — хороший человек. Но давно уж к сыну подхода не найдет. Не делится Толя с ним, нет. Ох, как муж это переживает! Про себя, конечно. Тоже скрытный. Нет, муж мне тут не помощник. Я-то ближе к Толе всегда была.

— Ну, а все-таки Толя что-нибудь рассказывает? — спросил Бескудин.

— Ничего из него не вырву, ни слова. — Женщина приложила платок к глазам, губы ее дрожали. —

Будто я ему чужой стала. Я к нему с вопросами, с лаской. А он отворачивается, грубит: «Не твое дело», «Меня одного касается». А ведь слышу, плачет по ночам, не спит. Как-то не выдержала я. Среди ночи слышу, он тихо так, в подушку плачет. Встала я, присела к нему, голову обняла, прижала к себе, говорю: «Толюня, ну скажи ты мне, горе, что ли, какое у тебя? Ну, облегчи душу-то». А он вдруг еще крепче ко мне прижался, обнял и глухо так, еле слышно, говорит: «Жить мне, мама, не хочется. Вот что». И так ни слова больше не сказал, отвернулся, уткнулся в стенку. Я думала, сердце у меня разорвется от жалости к нему, от своей слабости, беспомощности. Нет моих сил больше, совсем нету. — Она снова прижала платок к глазам, потом вдруг встрепенулась и с ненавистью проговорила: — Его надо найти... того, страшного того человека. Все от него, все!

— А видел его кто?

— Никто не видел, проклятого. Но есть он, есть!

— Это понятно, что есть, — задумчиво сказал Бескудин, вертя в руке карандаш. — Это понятно... Он посмотрел на Виктора. — Вот какие дела, видал? — И, обращаясь к женщине, добавил, указав карандашом на Виктора: — Вот этот товарищ будет вашим Толей заниматься. И всем этим делом вообще. Панов его фамилия, Виктор Александрович.

Женщина впервые оглянулась и испытующе посмотрела на Виктора. Потом с сомнением сказала:

— Пусть попробует. — И, уже обращаясь к Виктору, добавила совсем другим тоном, сухо, почти с

ПОВЕСТЬ

угрозой: — Хочу вас предупредить. Не говорите Толе, что я тут была, ни за что не говорите. Он мне этого в жизни не простит.

— Как знать, — усмехнулся Бескудин. — Может, когда и спасибо скажет. Как знать!

— Нет, нет! — Женщина со страхом посмотрела на него и прижала обе руки к груди. — Я вас умоляю...

Бескудин кивнул головой.

— Все понятно, Марина Васильевна. На этот счет будьте уверены. Вообще прошу учесть, ваш сын у нас не первый. И, к сожалению, не последний. Опыт имеем. Вот так.

— Что-нибудь уже натворил? — спросил Виктор.

— Он недавно пьяный пришел, совсем пьяный, — торопливо сказала женщина, словно боясь, что ей не поверят, не поймут, как страшно все то, что происходит сейчас с ее сыном. — И курить начал и в карты играть...

— И это пока, кажется, все. — Бескудин положил карандаш на стол. — Пока.

Но женщина отвергла эти успокоительные интонации.

— Он раньше не был таким, не был. — Ее глаза опять наполнились слезами, и она поспешно прижала платок. — ...Когда в институте учился...

— Учился? — переспросил Бескудин. — В институте? Но ведь он, вы говорите, работает сейчас?

Она уже не отнимала платок от глаз и, еле сдерживая рыдания, сказала:

— Его... его исключили... и из комсомола тоже...

— За что же это?

— За аморальное поведение... Девушка там какая-то... в общежитии... а он ночевать остался... у товарища... а там пьянка...

Бескудин и Виктор переглянулись.

— Но это неправда! — воскликнула женщина, комкая мокрый платок в кулаке. — Это неправда! Он мне все рассказал!

— Ну, ладно, — вздохнул Бескудин. — Успокойтесь, Марина Васильевна. Одно пока ясно: надо парня спасти, и не только от того человека, но и от самого себя.

Женщина поднялась со стула, и Виктор предупредительно открыл перед ней дверь.

Начиналось новое дело, и на первый взгляд казалось оно вполне заурядным.

Итак, Толя Карцев, его друзья, его мысли и поступки... Обычный для Виктора круг вопросов. И даже «страшный человек», о котором говорила Марина Васильевна, тоже довольно обычная фигура в таких случаях, вероятно, судимый и отбывший «срок» и, уж конечно, парень сильный, волевой. Группирует вокруг себя ребят из соседних домов, со своего двора. Такую группу нетрудно установить, гораздо труднее ее ликвидировать, «отколоть» всех от главаря, не дать им дойти до преступления. Тут способов много, но выбор зависит от того, что из себя представляет главарь да и другие члены группы. Но особенно главарь. А установить его, как правило, тоже нетрудно. Такую компанию «своих» хулиганов знают все в доме и во дворе.

Вот этим и собирался прежде всего заняться Виктор. Предстояло первое знакомство с «натурой», с обстановкой. И ему не терпелось скорее добратся до этого двора.

...Вообще-то как удивительно на первый взгляд сложилась у него судьба! Выпускник исторического факультета, затем комсомольский работник, и прямо из райкома — сюда, в милицию. Это же надо! От глубины истории, от величайших гениев челове-

чества и грандиозных событий, потрясавших когда-то мир, вдруг прийти к какому-нибудь Федьке, пьянице и вору, к драке в темной подворотне, к удару ножом...

Стоило Виктору на четвертом курсе попасть в районный оперативный отряд, как судьба его первого подопечного, отчаянного Славки из Марьиной роши, перевернула ему душу.

Было много споров с друзьями. «Ты же научный работник, ты склонен к анализу и обобщениям фактов! — кричал Боря Семенов, их комсорг на последнем курсе. — У тебя золотая голова! И, наконец, ты обязан. Нужны кадры молодых ученых! Ты думаешь, все так благополучно на нашем фронте? И нет борьбы?» Все это Виктор, конечно, знал. «Значит, я не ученый», — сказал он тогда упрямо и чуть обиженно. «Врешь!» — завопил Борис. «Путь наименьшего сопротивления», — вставила Катя Рощина. — А через три года у тебя диссертация уже может быть готова. Если не через два».

«Я еще напишу диссертацию», — сказал тогда Виктор. Но он и сам не представлял себе, о чем будет эта диссертация, если он станет работать в милиции.

А ведь каждое дело, которым Виктору пришлось в эти годы заниматься, упиралось в важнейшие проблемы — экономические, идеологические, психологические, воспитательные. Как причудливо порой переплетаются влияния семьи, школы, друзей, окружающей жизни, черты характера — наследственные и приобретенные. Какие же рычаги надо пустить в ход, к каким средствам прибегнуть, чтобы воздействовать на формирование характера подростка? Над этим Виктор думал непрестанно, излагал порой свои мысли в докладных записках, на собраниях и совещаниях. Но подготовка диссертации... Куда там! Вот он должен был написать всего лишь статью в газету о работе с подростками. И как раз сегодня собирался сесть за нее. Но пришла Марина Васильевна...

Первые сведения о Толе Карцеве и его друзьях Виктор надеялся получить в местном отделении милиции. Уж кто-кто, а участковый уполномоченный должен был кое-что знать на этот счет. Но тут Виктора ждало не очень приятное открытие: этим участковым оказался старый знакомый, капитан Федченко, который в свое время «обслуживал» участок, где жил раньше школьник, а затем студент Витька Панов.

«Все такой же», — со старой неприязнью подумал Виктор, разглядев в комнате участковых уполномоченных знакомую плечистую фигуру и круглую, коротко остриженную седоватую голову с большими оттопыренными ушами. Только добавилось седины в лихих запорожских усах, паутинка красных склеротических жилок выступила на толстых скулах, а глаза остались все те же, с прищуром, усмешливые и настоженные.

— Здравствуйте. Я к вам, — сказал Виктор.

Федченко встал во весь свой великолепный рост, выпятил грудь и протянул громадную красную ручищу.

Он явно не узнал Виктора. А мог бы и узнать. Все не потому, что Витька Панов был из тех, кем приходилось заниматься милиции. В отношениях Федченко с ребятами из дома, где жил Витька, с обычными шалунами и сорвиголовами, было столько враждебности и взаимного неуважения, столько происходило между ними стычек, так часто устраивал им Федченко «выволочки», что Витька Панов не выдержал. Однажды Федченко без всякой причины грубо отобрал у них футбольный мяч, просто

вырвал его из Виткиных рук, хотя никто из жильцов и не думал жаловаться на ребят. И вот тогда Витка Панов организовал делегацию к начальнику отделения милиции. Безбоязненно выступив вперед в большом холодноватом кабинете, он взволнованно и возмущенно все изложил молчаливому худощавому майору. А затем уже загалдели, осмелев, и другие ребята. Майор, хмурясь, выслушал их и обещал разобраться.

После этого Федченко впервые появился в квартире Пановых. Он принес мяч. Но предупредил растерянных родителей, что следующий раз, если будет нарушено обязательное постановление Моссовета — он не счел нужным объяснять, что это за постановление, — он заберет не мяч, а их сына, и тогда уже поздно будет его воспитывать, тогда уже останется только передачи носить. Федченко говорил раскатисто, зло и уверенно, с укором поглядывая на набычавшегося, молчавшего Витку. Отец не нашелся, что ответить, он только нервно потирал тонкие пальцы и вздыхал. А мать все повторяла: «Конечно, конечно... Мы понимаем...»

А потом до Витки дошло, что Федченко продолжает интересоваться им и его товарищами, даже собирает какой-то «материал».

Встречался Виктор с ним и потом, когда поступил в университет. Федченко недоверчиво и настырно расспрашивал о жизни. Однажды Федченко увидел его со Светкой и проводил их долгим, подозрительным взглядом. Потом он видел их не раз.

Вскоре Федченко перевели в какой-то другой район.

И вот спустя столько лет эта встреча...

— Не узнаете? — усмехнулся Виктор.

Федченко, разглядывая его, неуверенно спросил:

— Неужто Панов Виктор?

— Он самый.

— Изменился ты, милый человек. Сразу и не узнать. Ну, приседай, раз такое дело. Потолкуем.

Он уже пришел в себя, зарокотал уверенно, с привычными хозяйскими интонациями. Резким движением развернул к себе стоявший рядом тяжелый стул, указал на него Виктору, расправил усы большим корявым пальцем и снова, уже заинтересованно и настороженно, оглядел Виктора. Вопросы у него были все те же: про мать, про отца, про университет и даже с хитрой усмешкой про Светку.

«Такой же», — досадливо подумал Виктор. Отвечал он коротко и сухо. Про мать сказал, что на пенсии, что болеет — гипертония и с глазами плохо. Про отца сказал: «Умер» — и закусил губу. Про университет сказал, что окончил. Ну, а про Светку ничего не сказал, только нахмурился, дав понять, что уж это собеседника и вовсе не касается.

Когда же Виктор сообщил, где сейчас работает, Федченко изумленно посмотрел на него, потом, вздохнув, с насмешливым сочувствием спросил:

— Выходит, осечка по линии науки произошла?

— Не совсем так, — ответил Виктор и перевел разговор на Толю Карцева.

Федченко слушал молча, на широком, обветренном лице его застыло выражение отчужденности и упрямства. Потом он решительно сказал:

— Никакой там группы нет. И не ищи.

— А проверить я все-таки должен, — возразил Виктор. — Прощу помочь.

Каждым словом своим Федченко вызывал у него раздражение.

— Не доверяешь, выходит? Твое дело. Хочешь, сейчас туда пойдем?

Когда они вышли на улицу, совсем стемнело. Высоко над головой сияли необычной формы лампы

на тонких, изогнутых штангах, в их молочном свете меркли магазинные витрины. Прохожих было много: кончился рабочий день.

Некоторые здоровались с Федченко. Одни — с выражением полного дружелюбия и даже неприятного подбострастия, другие — откровенно холодно. Он отвечал солидно и сдержанно, двоим же — с особой благосклонностью, удостоив даже короткого разговора. Кое-кто отворачивался, делая вид, что не замечает Федченко. Участковый лишь усмехался в усы.

Виктор размышлял над словами Федченко. Неужели в том доме действительно нет группы и не складывается? Марина Васильевна хоть и очень сбивчиво, но дала точные признаки надвинувшейся беды. Отчего хороший, казалось бы, парень вдруг теряет равновесие и катится, катится?.. Что за причины? Как вмешаться? Впрочем, это он решит потом. Сначала надо собрать факты. Но если нет группы, значит, нет и главаря? Может быть, случайное знакомство? Или на работе? Или... Но все-таки какой-то «страшный человек» есть, с группой или без группы, но он есть. Тут материнское чутье подсказывает верно. «Ну, погоди, — мысленно обратился он к Толику Карцеву. — Погоди. Я скоро все узнаю о тебе, и тогда мы поговорим, как мужчина с мужчиной. Кстати, что ты там выкинул в институте, интересно бы узнать...»

— Ну вот, — прогудел бас Федченко. — Вот мы и пришли, милый человек.

Они стояли перед распахнутыми железными воротами, за которыми тонул в темноте обширный двор.

Указывая куда-то рукой, Федченко добавил:

— Вот и Семен Матвеевич сидит. Можешь потолковать. Он чесать языком любит.

Они двинулись в глубь двора. И, когда глаза привыкли, двор показался не таким уж темным. Слабый, рассеянный свет наполнял его, свет этот лился из освещенных окон, от лампочек над бесчисленными подъездами, он исходил, казалось, даже от белого снежного покрова под ногами.

И еще двор был полон звуков, близких и дальних. Дальние были привычным фоном, близкими же двор жил, это были его звуки. Музыка откуда-то, ребячьи возгласы, голоса взрослых, чей-то свист, чья-то возня, шорох полозьев по снегу.

Виктор различил длинную скамью за деревьями, увидел желтоватое пятно света на снегу и, наконец, столб посреди этого пятна и неяркую лампу на нем. На скамье виднелись две темные фигуры. Люди беседовали о чем-то.

— Мое почтение, — прогудел, подходя, Федченко. — Как здоровьице?

Семен Матвеевич оказался старичком общительным и говорливым. Когда разговор свернул на ребят во дворе и коснулся как бы незначай Толи Карцева, Семен Матвеевич убежденно сказал:

— Паренек весьма скромный. Не сгубит старшим, не обидит младших. Тихий паренек, что говорить. Если и постоит тут с кем...

— Друзья?

— А что же, он не живой, по-вашему? — недовольным тоном спросил Семен Матвеевич.

— Друзья должны быть, — ответил Виктор. — Обязательно. Хорошие, конечно.

— Вот я и говорю.

— У меня тут спокойные хлопцы живут, — басовито вставил Федченко. — А иначе разговор короткий.

Семен Матвеевич заметил ворчливо:

— Всякие имеются. И посторонние захакивают. Совсем не ангелы, доложу.

— И наших, случится, обижают, — добавил второй старичок, сидевший до того молча. — Вот хоть как с Толькой вчера. Звезданули ему, аж плакал бедный.

— Толика Карцева? — насторожился Виктор. — Кто же это его? За что?

— Понятия не имею, кто и за что. Я вот тут сидел, а они вон оттуда шли. — Старичок махнул рукой по направлению к воротам. — Идут, потом остановились, тот его спросил чего-то — и р-раз!..

— Кто?

— Да тот, чужой, значит. И пошел себе назад. А Толик, бедняга, вон до той скамейки добрался, чуть не плачет. И кровь по лицу размазывает. Я уж ему платок дал. Спрашиваю: «Кто это тебя?» А он говорит: «Ладно, дядя Анисим, сами разберемся. Мама только не говорите».

— А какой из себя-то тот, чужой?

— Как сказать? Ну, невысокий, плотный, пальто черное, волосы светлые, без шапки был. И вроде не молодой, а с мальчишской связался. Да вы еще у Зои спросите, вон с коляской сидит. Она его в воротах встретила.

Виктор даже боялся поверить, что появилась первая ниточка. По опыту он уже знал: то, что идет само в руки так быстро, с такой легкостью, чаще всего оказывается несущественным, посторонним и может лишь увести в сторону от главного. Чаще всего, но порой...

И Виктор слушал, стараясь не упустить ни одной детали, запомнить каждое слово. В его работе все может пригодиться, и наперед в ней ничего предсказать нельзя.

Еще поговорили о том о сем, а потом Виктор встал и сказал, что хочет расспросить ту женщину о вчерашней драке.

— Зоя, говорите, ее зовут?

Молодая женщина, мерно покачивая от себя и к себе коляску, с возмущением рассказала ему:

— ...Ударил, понимаете, и идет прямо на меня как ни в чем не бывало! Я ему говорю: «Ты как смеешь драться, паршивец эдакий!» А он...

— Это вы взрослому человеку так? — удивленно спросил Виктор.

— Сопляк он еще, а не взрослый человек! А мне говорит: «Ты, тетка, помалкивай». Ну, тут уж я...

— Постойте! Но какой же он из себя?

— Как так какой? — Женщина на секунду задумалась. — Ну, длинный, в клетчатом пальто, чернявый такой, наглец. А глаза цыганские.

— В шапке? — на всякий случай спросил Виктор, окончательно сбивый с толку.

— Ага. В черной такой «москвичке», знаете?

Виктор ничего не понимал. Ведь эта женщина и тот старик видели одного и того же человека. Одного и того же! Как же можно так по-разному описывать его?

— А куда этот парень пошел, вы не заметили? — спросил он.

— Как он мне такое сказал, я его за рукав хвать! Я эту шпану, слава богу, знаю. На заводе у нас тоже водится. Ну, а он вырвался и драла.

— Куда?

— А вон туда, к троллейбусной остановке. Потом видит, что я за ним бежать не могу — наследник-то мой при мне, — она указала на коляску, — так он еще остановился, папиросы покупал. Также чего-то там выкомаривал, стервец.

Женщина разругивалась от волнения, глаза ее заблестели, а рассказ свой она сопровождала таки-

ми энергичными жестами, что Виктор с улыбкой подумал, глядя на нее: «Ну, эта спуску не даст, фабричная девчонка».

Подошел Федченко.

— Ну, налюбезничались? — добродушно прогудел он. — Какого я тебе, Зоя, кавалера-то привел, а?

— Вы бы его года два назад привели, — засмеялась та. — А сейчас я для него безопасная.

Выйдя на улицу, Виктор сказал:

— Погодите, я сейчас.

Он подошел к табачному киоску. Федченко видел, как он нагнулся к маленькому окошку, что-то сказал, потом обошел киоск и скрылся за маленькой дверцей.

Тут только Федченко смог наконец собраться с мыслями. Появление Панова не на шутку обеспокоило его. Еще бы! Выходит, он, Федченко, проморгал какую-то группу? Быть того не может! Ну, а если что и есть, то он докопается раньше и все оформит, как надо. Главное, чтобы раньше и самому. Но сперва надо отвадить этого попрыгунчика. А уж он, Федченко, знает, как потом поступить, не впервой, небось.

Прошло минут пятнадцать, прежде чем Виктор вернулся. Вид у него был расстроенный и обескураженный. Федченко с напускной тревогой спросил:

— Ты чего это?

— Мистика, — развел руками Виктор. — Чистая мистика. Та тетка, — он кивнул головой на киоск, — тоже вспомнила этого парня, она даже видела, как он вырвался от Зои. И что вы думаете? Она дает совершенно другие приметы, третьи! По ее словам, он низкий, в кожаном пальто, лицо круглое, курносое. Ну, что вы скажете?

— М-да, — неопределенно проговорил Федченко. — И в самом деле...

— Нет, это просто становится интересно. Какой-то трансформатор попался. Артист просто.

Федченко снисходительно покачал головой.

— Тут, милый человек, ничего интересного нет. Ошибаться все могут. А ребята эти... Ну, повздорили, дал один другому по роже. Тут до группы еще ой как далеко!

— Далеко, значит? — Виктор испытующе поглядел на Федченко. — И что же вы предлагаете?

— Давай-ка я этого Тольку к себе вызову. Нажму, как полагается. И все-то он мне расскажет.

— Сомнительно. На этот счет у меня другая мысль есть.

— Как знаешь, — буркнул Федченко и насмешливо прибавил: — Ты же университет кончал. Тебе в нашем деле виднее.

ГЛАВА II

ЧП в институте

—3 ачем тебе туда ездить? — быстро и строго спросил Бескудин. — Зачем? Тебе не старые, тебе новые его связи надо изучать, новые.

Виктор стоял на своем:

— Без старых не поймешь и новых, Федор Михайлович.

— Опять философствуешь? — Бескудин осуждающе посмотрел на своего молодого сотрудника. — Опять?

Внешне совсем неприметный паренек был этот Панов. Среднего роста, худощавый, на узком лице



светятся большие серые глаза, то лукавые, бойкие, то такие задумчивые, глубокие, что посмотришь, и просто оторопь берет. И еще у него совсем светлые, золотистые волосы падают косым треугольником на лоб. Если приглядеться, то Панов только с первого взгляда кажется неприметным. И мысли у него порой интересные бывают, неожиданные для Бескудина. Но «философствований» его он побаивается.

— Я и не философствую, — покрутил головой Виктор. — Но вот мы говорим — преступность. Пытаемся разобраться в причинах. Особенно у молодежи. Говорим, допустим, виновата семья. Неблагополучная, конечно. Или... там... пьянство. Или отсутствие здоровых интересов. Причины это преступности?

— Ну, причины. Хотя и не все ты перечислил. Не все.

— Ладно. Но вот пьянство, допустим. Ведь оно, я вам скажу, и причина и следствие.

— Чего следствие?

— Вот именно! Чего следствие — пьянство?

— Слушай, — не выдержал Бескудин. — Я тебе серьезно говорю: ты хоть в рабочее время не философствуй. Понял? Не философствуй. Дел тут и так невпроворот, а ты...

— Да не философствую я, Федор Михайлович! Я же докопаться хочу. Вот хоть в случае с этим Карцевым. Мало узнать его теперешние связи. Надо еще выяснить, почему они возникли. А причина эта зарыта где-то раньше. Вот почему меня эта институтская история интересует. Тем более девушка там замешана. Что за девушка?

— Ну, ладно. Поезжай. Но дальше не зарывайся. Все-таки конкретное дело у нас с тобой.

Виктор приехал в институт, когда там шли лекции. В громадном вестибюле стены были увешаны красочными афишами, объявлениями, расписаниями, графиками. Пожилой вахтер с любопытством заглянул в необычное удостоверение и почтительно осведомился:

— Может, вызвать вам кого?

— Ничего, папаша. Я и сам разберусь, будь спокоен, — обнадежил его Виктор.

Но разобраться было не так-то просто. Почти полгода уже, как не учился в институте Толя Карцев. Что произошло в ту злополучную ночь в общежитии, Виктор так и не понял из сбивчивого рассказа Марины Васильевны. Виктор даже не знал точно, где, на каком факультете и в какой группе учился Карцев. Вот с этого, видимо, и следовало начать.

В отделе кадров пожилая женщина в очках на вопрос Виктора брезгливо поморщилась и сказала:

— Ах, это то самое дело!

Виктор улыбнулся.

— Громкое дело?

— Еще бы. На весь район наш институт опозорили.

— А что же произошло?

Женщина сердито махнула рукой.

— Вспоминать даже противно. — Потом вдруг испытующе поглядела на Виктора. — Неужели вы по этому делу приехали?

— Ну что вы! Меня только Карцев интересует.

— Насколько я помню, отвратительный мальчишка.

Сидевшая напротив аккуратенькая девушка, кудрявая и розовощекая, подняла на свою начальницу чуть подведенные глаза и тоненько воскликнула:

— Что вы, Вера Ильинична! Он был меньше всех виноват. Я знаю девочек из их группы.

— Ах, оставь, пожалуйста! — сердито ответила та. — Сами твои девочки ничего не знают.

Видимо, дело это продолжало волновать и вызывать споры. Что же в конце концов там произошло?

Когда Виктор вышел из отдела кадров, уже прозвенел звонок и коридор был полон народа. Чинно прогуливались, взявшись под руки, девушки; группами, что-то горячо обсуждая, стояли ребята; иные сновали с озабоченным видом, кто-то заразительно смеялся. Коридор был полон шума и суеты.

Такая милая, веселая и беззаботная, такая дружная и вовсе не легкая, до всех мелочей знакомая студенческая жизнь обступила Виктора, разбудила совсем недавние воспоминания.

Вон какой-то паренек, невысокий, белобрысый, вроде него самого, Виктора, что-то, смущаясь, говорит худенькой, лукавой девушке в красивом свитере и смотрит на нее, так настороженно смотрит. А та делает равнодушный вид. Любовь, наверное. Студенческая ты любовь! И у него она была тогда, да еще какая! Где-то ты сейчас, Светка?

Боже ты мой, сколько прошло событий за эти пять послестуденческих лет, какие развороты делала судьба, скольких друзей он растерял, скольких приобрел! А Светка живет где-то в самом дальнем уголке его сердца. Что за проклятый у него характер! Ведь со Светкой все кончено. Он же знает это. И все-таки...

А паренек тот все говорит что-то девушке и смотрит на нее... Виктор тряхнул головой и заставил себя отвести глаза.

— Где тут у вас комитет комсомола? — спросил он кого-то.

Ему объяснили.

Виктор не спеша прошел по коридору, поднялся на следующий этаж. Он решил, что бесполезно идти в комитет, пока не кончился перерыв и не прозвенел звонок: там, конечно, полно народа и поговорить все равно не удастся. И к тому же ему не хотелось уходить из этого коридора, от этих незнакомых ребят, так похожих, во всем совершенно похожих на его прежних друзей и на него самого когда-то. Он жадно смотрел по сторонам, чуть-чуть улыбаясь.

Но вот зазвонил звонок, и медленно опустел коридор.

Виктор подошел к двери с табличкой «Комитет ВЛКСМ» и постучал. Ему никто не ответил. Тогда он толкнул дверь и очутился в небольшой комнате. Здесь никого не было. Около следующей двери стоял столик, очевидно, технического секретаря. На столике лежала раскрытая тетрадка с каким-то списком фамилий, напротив некоторых из них стояли крестики, рядом лежал потрепанный телефонный алфавит. У стены размещался громадный кожаный диван, облезлый и продавленный, с высокой спинкой. С плаката на стене улыбались портреты шести космонавтов, рядом висела турнирная таблица футбольного первенства и расписание каких-то дежурств.

Оглядевшись, Виктор направился к следующей двери, за которой слышались чьи-то возбужденные голоса.

В большой, светлой комнате, у длинного, покрытого старенькой зеленой скатертью стола для заседаний в кружок стояли человек шесть и громко что-то обсуждали. Когда Виктор зашел, девушка, которую он сразу узнал, — та самая, худенькая, в красивом свитере, которую он видел в коридоре, — горячо говорила необыкновенно высокому, худому парню в синей футболке:

— А я тебе точно говорю: он не из их институ-



та, и другой, помнишь, с перевязанной коленкой? Это нечестно! Игру надо...

Она вдруг увидела Виктора и умолкла. Сейчас же все головы обернулись в его сторону.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал он. — Мне бы секретаря вашего повидать.

— Это можно.

Виктор подумал, что сейчас подойдет к нему из этой группы тот самый белобрысый паренек, но подошел другой — плотный, черноволосый, крупные черты лица, резко очерченный рот, густые брови вразлет. Парень железно пожал руку и сказал:

— Виктор.

— О! Тезки, значит.

Парень добродушно улыбнулся.

— Тогда придется по фамилии. Шарапов.

— Панов. Надо нам потолковать кое о чем.

Виктор показал удостоверение. Шарапов обернулся к товарищам и с затаенной усмешкой сказал:

— Братцы, товарищ из милиции. Так что спасайся кто может, — и, обращаясь к худенькой девушке в свитере, добавил: — Ты, Леля, останься. Мой зам, — пояснил он Виктору.

— Но имей в виду, — сказал Шарапову длинный парень в футболке, последним направляясь к двери, — мы эту игру будем опротестовывать.

— Еще поговорим, — кивнул Шарапов.

— Будем, будем, Коля! — крикнула девушка в свитере. — Можешь не волноваться. Готовь лучше начерталку.

— Вот она у меня где, ваша начерталка! — Парень хлопнул себя по шее и, страдальчески скривившись, прикрыл за собой дверь.

— Так, теперь мы вас слушаем, — сказал Виктору Шарапов. — Чем мы, грешники, провинились?

Когда Виктор рассказал, что привело его в институт, и попросил вспомнить историю Толи Карцева, Шарапов вздохнул.

— История безобразная. — Он покосился на Лелю. — При девушке даже неудобно рассказывать.

Та вспыхнула и резко сказала:

— Я тебе не девушка, а заместитель секретаря комитета. И историю эту знаю не хуже тебя.

— Что верно, то верно, — подтвердил Шарапов. — История нашумела. А в двух словах она такая. В тот вечер в общежитии ребята из семнадцатой комнаты решили справить день рождения одного из своих товарищей, Бухарова. Собрались, выпили. Часов в одиннадцать, уж изрядно пьяные, вышли в коридор. Видят, идет незнакомая девушка, в комнаты заглядывает. Они ее окружили, спрашивают: «Вам, мол, кого?» «Да вот, — говорит, — зашла к такому-то, а его нет». Эти парни и говорят: «Пошли тогда к нам, у нас весело». Пошла, представляете? С охотой даже пошла. Ну, опять пили, безобразничали. К часу ночи де-

вушка, уже пьяная, уснула. Эти опять в коридор вышли. Шумят, чуть не песни поют. Тут к ним и этот Карцев присоединился. Он у товарища ночевал. Ключ взял, девушку эту запер и объявляет: по очереди, мол, пускать буду. И ведь трезвый, подлец, был. Те хоть пьяные. И одного, значит, пустил. Но тут наши дипломники подошли. Ключ отобрали, девушку вышвырнули, пьяных спать уложили, а его, Карцева, по шее. Вот такая возмутительная история.

— По правилам, их судить надо было! — гневно сказала Леля, щеки ее пылали. — Только наша милиция иногда удивительно либеральной бывает где не надо.

Шарапов усмехнулся.

— Следовало бы, конечно. Но тут девушка оказалась такой, что неизвестно еще, кого сначала судить: ее или их.

— Ну, а дальше что было? — спросил Виктор.

— А дальше мы по совету райкома предали дело гласности. Обсудили на институтском комсомольском собрании. Серьезный урок из этого дела извлекли. Ведь на первых порах у них даже защитники нашлись.

— И у Карцева?

— Именно у него. Комсомольская группа не смогла правильно разобраться. Абсолютную незрелость проявили.

— А ребята там хорошие, — задумчиво произнесла Леля.

— Хорошие — это еще ни о чем не говорит, — строго поправил ее Шарапов. — Вообще хорошие, добренькие?

Леля, вспыхнув, запальчиво возразила:

— Нет, вовсе они не добренькие. Как Бухарова отделили, помнишь? Ты всегда рубишь сплеча. Всегда!

Шарапов усмехнулся.

— Вот так мы и живем. Не зам у меня, а тигра какая-то.

Виктор улыбнулся, потом спросил:

— А остальные ребята жаловались потом?

— Ну что вы! — снова вступила в разговор Леля. — Дело же ясное! Только Карцев, он ни за что не признавался. И вел себя так вызывающе. Я просто не понимаю, как он мог!

Леля говорила запальчиво, и столько горечи было в ее голосе, что Виктор невольно заразился ее настроением. «Хорошая девушка, — подумал он и опять вспомнил того белобрысого паренька в коридоре. — А как ты к нему относишься, Леля, любишь или так?..» Видно, что-то отразилось в его взгляде, потому что она вдруг спросила:

— Вам что-то неясно?

Виктор улыбнулся.

— А вам все всегда ясно?

И Леля тут же засветилась ответной улыбкой и сразу вдруг стала другой, снова лукавой и смешливой.

— Ой, что вы! Разве так бывает?

И Шаратов заулыбался.

— Главные неясности у нее на личном фронте. Леля, зардевшись, махнула на него рукой.

— Витя, перестань!

Расстались они дружески.

В коридоре звонил звонок на большой перерыв.

Виктор направился искать группу, в которой когда-то учился Толя Карцев.

По дороге он вдруг вспомнил: «Неясность на личном фронте» — и усмехнулся. С тем пареньком, наверное. И то ли по схожести своей с ним, то ли по какой-то другой причине опять подумал о Светке. У нее тоже были сначала неясности, а кончилось все... Однако ему сейчас нельзя думать о Светке, ему надо думать о другом. Это счастье, между прочим, что у него такая работа, — все время на людях, все время с людьми, совсем разными, порой полярными по своим взглядам, характерам и поступкам. И перед ним всегда маячит какая-то тайна, маленькая или большая, но тайна, человеческая тайна, которую надо разгадать. От этого всегда очень многое зависит — судьбы чьи-то, даже жизни. А если бы он рылся в архивах, сидел в библиотеках, сколько бы у него оставалось времени думать о Светке...

На четвертом этаже Виктор наконец разыскал нужную аудиторию. Девушке, которая стояла в дверях, он задал странный вопрос:

— Скажите, кто у вас был комсоргом перед теперешним?

— Кто был? Саша Вайнштейн.

— А где он?

— Вон, видим, стоит у окна, в очках? Между прочим, — улыбнулась девушка, — он разговаривает как раз с теперешним комсоргом, Борей Волковым.

У окна стоял высокий, спортивного вида паренек в очках и что-то оживленно говорил румяному и улыбчивому блондину.

Виктор направился к ним.

Волков поначалу был сдержан и насторожен, но Саша Вайнштейн не смог скрыть любопытства.

— Так вы в милиции работаете? — спросил он Виктора. — Это серьезно?

— Конечно. Но к вам я пришел не по милицеским делам, а по комсомольским.

— Ну, скажем, как внештатный инструктор?

— Вроде. Интересует меня бывший ваш студент Карцев. Помните такого?

— Еще бы! Лично я так особенно, — хохотнув, откликнулся Саша. — Вся моя карьера рухнула из-за

этого великого грешника. А на моих костях вот, пожалуйста, воздвигся... — Он сделал широкий жест в сторону Волкова. — Под овации народа.

— Народ безмолвствовал, — улыбнулся тот. — Воздвигся исключительно благодаря вмешательству внешних сил.

Волкову, видимо, передался шуточный тон товарища.

— Именно, — подхватил Саша. — Хотя не такой у нас народ, чтобы безмолвствовать. Крик на лужайке подняли страшный.

Оба парня понравились Виктору, и он прямо спросил:

— А что, хлопцы, верно поступили с Карцевым или нет? Только честно.

— Хотите честно? — азартно переспросил Саша и оглянулся на товарища. — Как, Боря, а? Рубанем?

Добродушная улыбка сползла с лица Волкова.

— Что значит «рубанем»? — Он твердо посмотрел в глаза Саше. — Карцев вел себя, как последний сукин сын.

— На институтском собрании? — живо осведомился тот.

— Да, на собрании.

— А в ту ночь, в общежитии?

— Я тебе уже говорил, — покачал головой Волков. — После того, что он выдал на собрании, я ни одному слову его не верю.

— Ага! А до этого верил?

— Просто не было случая узнать его раньше.

— Брось. Он целый год у нас учился. Мало тебе?

— Ну а как учился?

— Согласен, лентяй! Согласен, никаких интересов! Пустой парень. Но ведь не подлец?

— Оказывается, и подлец.

Приятель ожесточенно заспорили. При этом Саша закипал все сильнее, а Борис становился все упрямее и спокойнее.

— Из чего оказывается? — чуть не кричал Саша. — Из того, что он говорил на собрании? Но ведь даже Бухаров признал, что Карцев тут ни при чем.

— Бухаров твой был пьян и мог все забыть. И вообще он подонок. Это ты прекрасно знаешь.

— Верно! Но тут он не врал! Если хочешь знать, ему даже выгоднее было взять Карцева в свою компанию.

— Он еще и дурак, как тебе тоже известно, — небрежно пожал плечами Борис.

— И все-таки собрание вели необъективно, предвзято! Вот Карцев и сорвался!

— Тем не менее он не имел права оскорблять всех и пороть черт знает что.

— И вина у всех была разная, а наказали всех одинаково и на всю железу! — не унимался Саша.

— Тоже верно, — согласился Борис и обернулся к Виктору. — Знаете что? Вам уже теперь кое-что ясно, надеюсь?

— Кое-что да.

— Поговорите-ка еще с Инной Долиной из нашей группы. Уж она-то Карцева знала лучше всех нас.

— Гениальная идея! — воскликнул Саша. — Сейчас я вам Инку представлю.

Он сорвался с места и исчез в аудитории.

— Они дружили? — спросил Виктор.

Борис кивнул головой:

— Кажется, даже больше.

— И сейчас видятся?

— Вот это не скажу, не знаю. Но если видятся, то она вам скажет. Инна — человек прямой.

В коридоре снова появился Саша. Рядом с ним шла невысокая, ему по плечо, черноволосая девушка, на ярких, влажных губах ее играла улыбка, она

что-то весело говорила Саше, блестя темными, чуть подведенными глазами. «Эффектная девушка», — подумал Виктор.

— Ну, мы пойдем, — сказал Саша, беря Бориса под руку. — Ты, Инна, потолкуй с товарищем. Начистоту.

Девушка ослепительно улыбнулась.

— С удовольствием! — И, когда ребята отошли, спросила: — О чем же мы будем толковать?

Виктор, чуть-чуть стесняясь этой обезоруживающей улыбки, сказал:

— Мне хотелось расспросить вас о Толе Карцеве. Вы, кажется...

Девушка улыбнулась и просто сказала:

— Да, мы дружили. А что?

— Ничего. Но теперь вы не дружите разве?

— Почему вы меня об этом спрашиваете? Ведь я могу и не ответить.

Она продолжала улыбаться. Но Виктор уже не улыбался в ответ. Ее ослепительная улыбка начинала почему-то коробить его. Девушка словно отгораживалась этим от него, отказывая в прямом разговоре.

— Потому что с Толей плохо, — медленно сказал он, глядя ей в глаза и стараясь поймать в них хоть какое-то подлинное чувство, которое должно было мелькнуть при этих его словах.

Но девушка, оказывается, и не думала притворяться.

— Он виноват сам! — сердито сказала она. — Во всем только сам.

— В чем же «во всем»?

— В том, что с ним случилось.

— Вы не верите его объяснениям?

Девушка решительно покачала головой. Сейчас она тоже уже не улыбалась.

— Это не имеет значения.

Виктор удивленно посмотрел на нее.

— То есть как?

— А так. Важно не то, верю или не верю ему я. Важно, что ему не поверили вообще. Важно, что его исключили из института и из комсомола.

Виктор не успел ответить. Зазвенел звонок.

— Знаете что, — торопливо сказал он, — можно с вами договорить на следующей перемене?

Девушка снова улыбнулась.

— Конечно.

— Вот и прекрасно.

Это получилось у него суше, чем следовало.

Прогуливаясь по пустынному коридору, Виктор пытался сосредоточиться и вспомнить все, что узнал, понять наконец, что же произошло с этим, пока неизвестным ему Толей Карцевым, который вот уже два дня занимал все его мысли.

Но сосредоточиться не удавалось. Внимание отвлекали голоса, доносившиеся из-за дверей аудиторий, какие-то объявления на стенах, листки-«молнии», шутливый фотомонтаж, наконец, люди, проходящие мимо с длинными трубками ватмана или стоявшие у окон с конспектами, что-то обсуждающие между собой. И Виктору казалось, что он попал в деловитый, гудящий, трудолюбивый улей. Он наслаждался этой полузабытой уже атмосферой, которой, если честно сказать, так не хватало ему в последние годы, по которой он так стосковался где-то в глубине души.

Но думать надо было о Карцеве, думать и искать...

Виктор некоторое время еще прогуливался по коридору, потом вдруг торопливо посмотрел на часы и устремился вниз по лестнице, перескакивая через ступени.

Слегка запыхавшись, он вбежал в комитет ком-

сомола. В первой комнате, как и раньше, никого не было.

Шарапов оказался один и, хмурясь, что-то писал. Когда Виктор вошел, он поднял голову, скупно улыбнулся и сказал:

— А, тезка. Ну, что скажешь?

— Да вот, решил кое-что спросить. Говорят, собрание было не очень объективным, говорят, что при разной вине все были наказаны одинаково и на всю железку.

— Говорят, говорят, — сердито повторил Шарапов. — Уж ты-то должен знать, что такое «говорят». Мы не милиция и не суд, чтобы копаться в деталях. Мы давали принципиальную оценку всему, мы, если хочешь, урок извлекали из этого вопиющего дела. И оценку нашу поддерживали и партком института и райком. А если при этом один был виноват чуть меньше, а другой чуть больше, то что из того? По большому счету все они виноваты одинаково.

Виктор пытливо посмотрел на Шарапова и спросил:

— Мне передавали, что кто-то уже пробовал оспорить решение собрания?

— Пробовали. Как раз из группы, где Карцев учился. Но мы им объяснили. Менять хоть в какой-то части решение собрания — это подрывать моральное и воспитательное значение всего решения, подрывать наш авторитет в глазах молодежи. Этого нам никто не позволит! — Шарапов многозначительно поднял палец. — И учти еще, что отчет о собрании был опубликован в газете.

— Ого!

— Именно что «ого». Дело это нешуточное.

Простились они вполне дружески, но на этот раз у Виктора вдруг возникло легкое ощущение какой-то неудовлетворенности разговором. Шарапов один, без Лели, казался как бы дальше, холоднее, рассудочнее, что ли.

Поднимаясь по лестнице на четвертый этаж, Виктор размышлял о Толе Карцеве. Что же это за парень? Вот, например, дружил с девушкой. Чем же он понравился ей?

Этот вопрос Виктор и задал девушке, когда они встретились в перерыве между лекциями.

— Чем? — переспросила та и, помедлив, ответила: — Остроумен, начитан, смел был. Ну, и внешность, конечно.

Она улыбнулась.

«Чему же ты улыбаешься?» — сердито подумал про себя Виктор, а вслух спросил:

— Вы говорите «был смел». А теперь?

Инна пожала плечами.

— Теперь он просто жалок. Нам даже не о чем говорить. Все пытается оправдываться. Даже... — на лице ее появилось страдальческое выражение, — даже чуть не плачет, представляете?

— Представляю...

— Он недавно приходил ко мне. Я просто не знала, как себя с ним вести.

— Когда приходил?

— Вчера. И так нервничал, так спешил...

— А куда спешил, он сказал?

— Нет. Но его ждал на улице какой-то парень, Я видела.

Виктор настороженно спросил:

— Какой парень? Какой из себя?

— Кажется, невысокий, в темном пальто, светловолосый. Потом он шапку, правда, надел. Такую, знаете, «москвичку». Он стоял как раз под фонарем. Я его хорошо разглядела.

«Тот самый», — подумал Виктор. — И ведь как дер-
жат, намертво! Даже к девушке одного не пуска-

ют». И еще он подумал, что эта девушка помощником ему не будет, она никому не будет помощником ни в чем.

По дороге, уже в троллейбусе, он подумал: «Карцева сейчас нельзя вызывать к Федченко. Это может поставить его под удар, и неизвестно еще, под какой удар. Но кто же тот парень? И вот еще что: почему Карцев вчера так волновался? И куда спешил?»

ГЛАВА III

Стая

Они шли быстро и молча, прикрывая лица поднятыми воротниками пальто и слегка отворачиваясь от ледяных порывов ветра. К вечеру сильно подморозило.

Розовый неожиданно споткнулся и, чуть не упав, громко выругался, потом, мелко семеня, догнал Карцева, и они снова зашагали рядом. Розовый с ожесточением потер свои рубиново-красные уши и, достав из внутреннего кармана пальто «москвичку», натянул ее на голову.

— Погода, мать ее... — словно оправдываясь, проворчал он. — Еще, глядишь, никто и не притопаёт. Чего тогда?

Карцев сделал вид, что не расслышал вопроса. Ему не хотелось говорить. Хотелось молчать и представлять лицо ветру, хотелось думать об Инне. О ней он думал неотступно, все время, пока они торопились с Розовым на условленное место, боясь опоздать.

Сейчас было больно вспоминать то время: поцелуи Инны на полутемной лестнице перед расставанием; ее улыбку, когда она смотрела на него; и самого себя, такого счастливого под ее взглядами, такого уверенного, ловкого, умного, даже, наверное, красивого. На вечеру в институте ведь сказал же кто-то за их спиной: «Какая чудесная пара».

Чудесная пара... Нет! Не было пары, ничего не было! Был обман! Инна предала его так же, как и все там, в институте. И вот последний их разговор сегодня. Она сказала: «Я не люблю слабых, я сама слабая. Мне тяжело с тобой сейчас. Уходи». Он готов был провалиться сквозь землю от этих слов, от ее недоброй улыбки, от безразличной, совсем чужого взгляда. Ей тяжело! А его словно и не было тут в этот миг. И слезы чуть не выступили у него на глазах от обиды, от отчаяния, потому что он чувствовал, что рушится, рушится, рушится все, чем он жил целый год, чем собирался жить долго, жить так радостно...

Вот этой слабости больше всего и не мог себе сейчас простить Карцев. Впрочем, он многого не мог себе простить, и другим тоже, другим особенно. Злоба, которой он раньше даже не подозревал в себе, душила его при мысли об этих «других». И среди них была Инна. «Не-ет, теперь бабам верить не буду, шалишь». Он так и говорил про себя с нарочитой грубостью — «бабы»! Теперь он сам какую хочешь обманет, пусть только подвернется. И вообще он теперь кого угодно обманет, если уж он мать стал обманывать. Правда, тут другое, тут из жалости. Нечего ей знать про него. А больше ни к кому у Карцева жалости нет, ни к кому. Одна злость. Бывают минуты у него сейчас, когда он зверем готов кинуться на кого угодно, а бывают и другие минуты —

отчаяния, когда холодеет все внутри от безмерного одиночества, страх охватывает душу и вдруг чувствуешь, что не хочется жить. Конечно, бывают минуты бесшабашного, дерзкого веселья. Впрочем, это когда выпьешь... А такое случается теперь с Карцевым, особенно когда они собираются все. Вот как сегодня...

Он покосился на Розового.

Тот был ниже его, но шире и сильнее. И еще он был отчаяннее, безжалостнее и выставлялся, рисовался этим. Он боялся только одного человека, одного на всем свете, но этого человека боялись все, и восхищались им тоже все. Розовый был ближе всех к нему, и отблеск его власти и авторитета падал и на Розового. Он многое знал из того, что другие не знали, многое умел, а главное, мог пойти на такое, о чем другие боялись и подумать. Поэтому Розовому многое и позволялось.

Карцев еще раз покосился на своего спутника. Он хорошо запомнил его вчерашний удар во дворе, надолго запомнил. Что ж, он получил его за дело. Наверное, он бы и сам ударил другого, если бы тот, другой, отказался от сообщения намеченного плана. Ударил бы! Раньше нет, а теперь ударил бы, «нависил», не побоялся. И вот у Карцева вчера был такой момент — он еще думал о встрече с Инной, мечтал, что эта встреча кончится совсем по-другому, потому и был такой момент, когда он вдруг почувствовал отвращение к Розовому, который, как тень, ходил вчера за ним: видимо, Розовый догадался, что Карцева обуял страх перед шальным и опасным делом, что он может подвести. Ну что ж, ему, Карцеву, досталось поделом!

И вот он идет сейчас туда, и нет уже вчерашнего отвращения, нет страха. Розовый прав, все люди сволочи, все гады, а жизнь — копейка, и своя и чужая, все равно подыхать. А раз так, то надо жить лихо и ничего не боясь.

Карцев подтолкнул Розового в бок и, когда тот поднял голову, подмигнул ему.

— Иди ты знаешь куда?.. — зло буркнул Розовый.

— А чего ты?

— А ничего.

У Розового были свои заботы и сомнения.

Это только Карцеву казалось, что Розовый все может и боится только одного человека. На самом деле Николай Харламов, по кличке Розовый, боялся многих и далеко не все мог. У него была мутная, беспорядочная жизнь, все шло кувирком в этой жизни, все было не как у людей.

Началось это давно, еще до того, как арестовали отца. Тот работал кладовщиком в какой-то артели. Колька плохо понимал, за что отца арестовали. Мать злым голосом кричала: «Другие тысячи крадут, и ничего! А мой на копейку, по пьянке — и в тюрьму! Сволочи! Все как есть сволочи, и судьи и прокуроры!» И Колька уже тогда научился по-своему укорять отца: почему он украл так мало, другие вон тысячи крадут, и им ничего не бывает. И ненавидел каких-то неведомых ему судей и прокуроров: они казались ему свирепыми и жадными.

А отец был совсем другим, его Колька помнил. Отец был тихим, подобострастным человеком, вкрадчивым и услужливым. А когда выпивал, то плакал и жаловался, и если не приходил дядя Федя, его приятель, то усаживал напротив себя Кольку и жаловался ему. Колька испуганно таращил глаза и тоже начинал всхлипывать.

Иногда отец появлялся днем, когда мать была на работе. Тогда приходила как-то по-особому улыбава-

шлася тетка Зина, с их двора, и Колька выставлялся за дверь. Он старался улизнуть на улицу, чтобы не встретить соседей. Он их почему-то стеснялся в этот момент. Однажды, когда пришла тетка Зина, Колька спрятался в комнате. «Убежал, шельма», — сказал отец. А Колька с замиранием сердца испуганно наблюдал за ними. Потом так было не раз.

Как-то Колька, забывшись, проговорился матери. Та, побагровев, кинулась на отца, громадная, толстая, разъяренная. Отец не дрался, он только закрывал руками голову и плачущим голосом подвывал: «Машенька, будет тебе... Ну, будет, Машка-а...» Мать была наотмашь, чем попало. Потом она выбежала во двор искать тетку Зину, и оттуда скоро понесли ее злые вопли. После этого к ним в первый раз пришел участковый. Потом он приходил еще. Колька его боялся.

Когда тихого, покорного отца арестовали, мать велела не рассказывать об этом в школе. Так появилась у Кольки тайна от всех. И в школе ему стало плохо. И дома тоже. Мать кляла все на свете и начала выпивать. Вскоре ее уволили с завода — она была фрезеровщицей. Потом устроилась сторожихой. Колька ходил полуголодный и грязный. Соседи кормили его, ругали мать, грозили пойти куда-то. Из школы приходила печальная, усталая учительница, говорила с матерью, та плакала. Кольке становилось жаль ее, и он невзлюбил учительницу.

С ребятами он ладил, они слушались его, он был сильный и много знал такого, чего они не знали. Мальчишки смотрели на него со страхом и почтением. Он стал коноводом у них.

После пятого класса Колька бросил школу: его оставили на второй год, как, впрочем, и в четвертом и в третьем. Он не любил и не умел учиться, он давно перерос всех в классе.

Книг Колька не читал вообще, это было слишком трудное занятие для него. Даже книжки «про шпионов», за которыми гонялись другие ребята, оставляли его равнодушным.

После школы Колька поступил на завод, где раньше работала мать. В бригаде их было двое учеников. Бригадир, прыщавый, рыжеватый парень, хитрый и насмешливый, заставлял их таскать заготовки, убирать помещения, хотя это полагалось делать по очереди. Зарплата не было, учебы тоже.

Вскоре Колька стал совершать прогулы, приходиться пьяным, а иногда и вообще не появлялся дома по суткам. Мать давно махнула на него рукой.

Как раз в это время Колька и познакомился с одним человеком. Он был окружен тайной, он внезапно появлялся и так же внезапно исчезал, он умел рассказывать об убийстве или краже так, что у Кольки загорались глаза. Человек этот знал страшные, захватывающие дух истории о побегах, о погонях, о дураках-милиционерах и ловких, смелых ребятах, которые их дурачат. Этот человек знал далекие северные места, где томятся такие лихие ребята, знал их жизнь, тайную, опасную, вольную, и умел о ней рассказать. И еще он знал песни и пел их хриплым, испитым голосом. Песни были жалобные, хватавшие за сердце, а иной раз такие бесшабашные, что все на свете казалось подвластно тебе и ты мог посмеяться, поиздеваться над каждым.

Человек этот угощал Кольку водкой, вкусно кормил и требовал только тайны и повиновения.

Вот тогда Колька и получил не очень, правда, нравившуюся ему кличку — Розовый. У его кумира и наставника кличка была тоже странной и еще более таинственной — Гусиная Лапа. Как его звали на самом деле и где он скрывался, Кольке долгое время знать

было не дано. Для этого надо было доказать свою преданность. И Колька старался.

А потом пошли дела. Колька научился обирать пьяных, угонять мотоциклы, красть. Гусиная Лапа вел дело хитро, умело и дерзко. Их не могли поймать.

Кольке велено было не уходить с завода. И он, храня свою тайну, старался казаться таким, как все.

Спустя некоторое время в его цехе появился странный, молчаливый парень, длинный, худой, с напряженным, тонким лицом. Колька почувствовал: у него тоже есть тайна. Они познакомились. Парня звали Толькой, фамилия была Карцев. Он был полон злости и недоверия ко всем и этим тоже привлек Кольку. Как-то после работы он предложил Карцеву зайти в закусочную, там вынул бутылку водки и незаметно разлил по стаканам. Разговор пошел откровеннее, и они понравились друг другу еще больше. А потом Колька рассказал о своем новом приятеле Гусиной Лапе. И он велел привести Карцева.

С того дня, вернее, вечера, у них появилась общая тайна, страшная, неразрушаемая, влекущая. И вот сегодня они шли на новую встречу с Гусиной Лапой. Вчера Карцев попытался отшатнуться, но Розовый не дал, он помнил о тайне, он помнил все, чему научился у Гусиной Лапы. И напомнил об этом Карцеву. Тайна и смерть шли сейчас рядом в их жизни.

В темном и длинном туннеле-подворотне, напротив дома, где жил Розовый, собралась группа парней. Лениво подпирая облупленную, истрескавшуюся стенку, курили, смачно сплевывая себе под ноги, похотывая, рассказывали всякие истории, — кого-то избивали за девчонку в кровь, ногами; кто-то кому-то дал «ножа» за «стукачество»; а недавно тут вот, через двор, раздели пьяного «фрайера» до трусов, потянулся за девчонкой, за Галкой, она привела; и еще такой-то «поменял» девчонку, теперь Томка «свободна».

Злой смех доносился на улицу из темной подворотни. Редкие прохожие опасливо косились на огоньки сигарет и ускоряли шаг.

О девчонках особенно любил рассказывать Розовый, он «ходок», он давно начал. У него учились презрению и цинизму в отношениях с Томками и Галками, да и со всякими другими тоже.

Особенно изощрялся Розовый в похабных историях, когда его слушал Толька Карцев; специально изощрялся, стараясь все высмеять и оплевать, стараясь доказать, что «все они одинаковы, все ничего не стоят», только одни «свои, простачки», а другие «напускают на себя», и тут надо быть грубым и смелым, только и всего.

И казалось Розовому, что он добивается своего. Карцев обычно молчал, не лез в спор.

В тот вечер было особенно холодно, в подворотне посвистывал ледяной ветер. Но парни не уходили, ждали, пряча подбородки в поднятые воротники, притопывая ногами и куря сигарету за сигаретой. Все истории были рассказаны, приумолк даже Розовый. А уходить нельзя, надо было ждать.

От нечего делать Розовый начал задирать себя.

— Слышь, Толясь! Ты бы про своих девок чего рассказал, а? Какие там королевы по институту ходят?

— Отцепись, — хмуро ответил Карцев.

— Небось, спервоначалу и подступиться страшно, а возьми такую...

Парни захихикали, а Карцев почувствовал, как его начинает душить ярость. Это одноклассников смеет еще подниматься на задние лапы и рассуждать!

— Слушай, ты, — хрипло сказал он, — Лучше помалкивай, о чем не знаешь.



— А вот и давай, раз знаешь,— не унимался Розовый.— Вот и давай. Про все как есть. Интере-есно. И Карцев почувствовал, что сейчас не выдержит, сорвется.

— Есть такие животные,— пересохшими от волнения губами произнес он,— которые небо видеть не могут. Так они устроены, понял?

— Интере-есно,— угрожающе повторил Розовый.— Это ты куда целишь, халява?

Все насторожились. Назревала драка. Но главное тут была не она. Драка— что? А вот потом, когда придет «сам», кому он назначит за нее плату, кого признает виновным? И, раздувая вспыхнувшую ссору, один из парней задиристо сказал Карцеву:

— Ага. Говори, куда целишь?

— Куда следует,— ответил Карцев.

Он не понимал, что с ним происходит. Ведь только что, идя сюда, он думал, что все люди сволочи и что никого ему не жаль: ни себя, ни других. И вдруг стало только этому Розовому сказать мерзость, как все закипело в нем. И он уже не думает, что все сволочи, он думает, что сволочь этот Розовый.

— А ну, еще брехни! — угрожающе повторил Розовый, надвигаясь на него.— А ну!

Он тоже вдруг обозлился не на шутку. Он все время чувствовал: Карцев чем-то превосходит его,— и это било по самолюбию, подогревало злость.

— Брешут собаки,— презрительно ответил Карцев.— И еще такие вот, как ты.

Он вдруг почувствовал: надо драться. Иначе он станет отвратителен самому себе, иначе...

Карцев не успел додумать. Тяжелый удар обрушился ему на лицо, перед глазами пошли радужные круги, рот наполнился соленой жидкостью. Карцев отлетел к стенке, больно стукнувшись о нее головой, но тут же слепо рванулся вперед. На миг он увидел жестокую усмешку на круглом озверевшем лице и с ненавистью стукнул по нему кулаком. И сразу почувствовал: попал!

Розовый не ждал отпора. Получив удар, он окончательно вышел из себя. Он уже ни о чем не думал и выхватил нож. У Карцева ножа не было, и он беспомощно выставил вперед руки.

Вот тут-то и раздался за спиной у всех чей-то уверенный, насмешливый возглас:

— А ну, назад, жорики!

И Розовый сразу обмяк, послушно опустил нож.

Корявый, с бычьей шеей человек в пальто нараспашку вошел в круг. На мясистом лице маленькие глазки смотрели подозрительно и зорко, изуродованный шрамом рот был плотно сжат. Человек, хмурясь, оглядел всех и вдруг улыбнулся. Непонятным образом расправились жесткие складки на его лице, и оно стало неестественно добродушным. И это было тоже страшно.

— Ну, чего тут у вас? — буркнул он.

Все сразу загалдели вокруг. Розовый, придя в себя, истерично, взхлеб кричал:

— Обзывается!.. Меня обозвал!.. На нож его надо!.. Он хочет отколоться!.. Отколоться хочет, поняли?!

Только Карцев молчал, прерывисто дыша и поминутно сплевывая набегавшую из разбитой десны кровь.

— Продать решил!.. Отколоться!.. — вопил Розовый.

— Цыц! — Человек даже не повернул голову в его сторону и, когда тот смолк, а за ним и остальные, угрожающе закончил: — Понятно, жорики!

Потом он, словно нехотя, обернулся к Розовому и вытянул правую руку с растопыренными толстыми пальцами. На широкой ладони его был ловко вытатуирован могучий, волосатый кулак, три пальца которого были выразительно сложены. Рядом было коряво наколото: «Выкуси!» Стоило чуть сжать ладонь, и вытатуированный кулак превращался в обыкновенный, а надпись исчезала в складке кожи. Это был высший класс татуировки, доступный лишь немногим.

Он протянул руку к Розовому, и тот, поняв, молча отдал нож.

— А теперь,— сказал человек, пылливо взглянув на Карцева,— посчитайтесь при мне, жорики.

Потом бросил Розовому, кивнув на Карцева:

— Подойди к нему.

Тот охотно подскочил, с ухмылкой глядя в лицо своему врагу.

Все замерли. Сейчас этот «профессор» получит сполна. Он может не утирать кровь с губ, сейчас он нахлебается ею досыта.

Гусиная Лапа мрачно, исподлобья взглянул на Карцева и вдруг сказал ему, указав на Розового:

— Бей.

Но Карцев словно оцепенел. Он видел помертвевшее лицо Розового перед собой, его беззвучно шевелящиеся губы, ужас в глазах и не мог пошевелиться.

— Бей, говорят!

Карцев молча покачал головой, все плыло перед глазами.

— Ах, так? Ну, гляди, «профессор».

Человек сделал какое-то неуловимо короткое движение, его рука откуда-то снизу, казалось, лишь дотронулась до лица Розового, и тот вдруг плашмя грохнулся на землю, корчась от боли, и тихо завыл, кусая рукав пальто. Человек нагнулся и ударил снова, на этот раз тяжело, наотмашь, потом с силой пнул ногой. Живой комок на земле судорожно вздрогнул и затих.

— Вот так,— отдуваясь, произнес Гусиная Лапа и выпрямился.— Понял, «профессор»?

Потом он оглядел всех и с угрозой произнес:

— В обиду его не дам. Он теперь наш до гроба, до самой могилы. И всем он еще покажет, чего стоит.

И Карцев вдруг почувствовал, как сквозь охватившее его отвращение, расплавляя ледяной страх, поднимается в нем волна благодарности к этому непонятному человеку. Ведь он восстановил справедливость, он сделал то, что хотел, должен был, но не смог сделать он сам, Карцев.

Потом там же, в подворотне, пили водку. У Гусиной Лапы в каждом кармане оказалось по бутылке. Дали хлебать и Розовому. Тот был заискивающе тих и по-собачьи преданно смотрел на вожака. Гусиная Лапа небрежно вернул ему нож.

— Спрячь подальше. Тоже мне...

У всех уже блестели глаза, все горланили о чем-то, сбились в тесный хмельной круг. И у всех зачесались руки, захотелось совершить что-то необыкновенное. перешибить других, покрасоваться перед Гусиной Лапой, заслужить похвалу.

— Есть одно плевое дельце, жорики,— неожиданно сказал тот, зорко оглядев столпившихся вокруг него парней.

Все оживились. А Розовый подобострастно воскликнул:

— Во, сейчас выдаст! Ох, и выдаст!..

— Говорю — плевое,— резко оборвал его Гусиная Лапа и многозначительно подмигнул.— Мы скоро и не такое с вами провернем, жорики. Есть уже одна мыслишка. А пока что — всего-навсего ларечек. Водкой заьемся. И шоколад двемкам. Ну, и закуски тоже найдется. А вокруг — ни души. Махнем, а?

— Вопрос! — первым откликнулся Розовый.— Айда!

И все сразу загорелись.

— Ага!.. Пошли!.. Во, дадим!..

Они плотной, возбужденной кучей вывалились из подворотни и тесно, плечом к плечу, двинулись по улице, бесцеремонно расталкивая прохожих, которые то опасливо, то возмущенно поглядывали им вслед. Розовый попытался было пристать к каким-то девушкам, но Гусиная Лапа одним взглядом осадил его.

Карцев шел вместе со всеми. В голове шумело, мыслей не было, мелькали лишь обрывки их: «За чем иду?.. А, все идут!.. Интересно, как это делается... Мама, конечно, не спит... Опять плакать будет... А Инна все-таки порядочная дрянь... из-за нее драться?.. Как быстро идем... А он это дело знает... Не из-за нее, а из принципа... Куда это мы сворачиваем?..»

Компания свернула в темный, плохо освещенный переулочек, потом в другой, в третий — лабиринт переулков. Одинокие прохожие сторонились горлающих парней. Когда орать начинали особенно громко, Гусиная Лапа раздраженно шипел:

— Цыц, жорики.

И на минуту все смолкали.

В одном из переулков мимо них медленно протарахтел милицейский мотоцикл. Два человека в ушанках, с алыми погонами на шинелях внимательно поглядели им вслед.

Гусиная Лапа, пригибаясь, злобно сказал:

— Уставили гляделки, мусор. Рисуют...

Потом торопливо свернул за первый же угол, убыстряя шаг. Все устремились за ним.

— Плевали мы на таких, с драндулетами,— бах-валясь, сказал Розовый.

— Это еще какие попадутся,— опасливо возразил ему кто-то.

— Трухаетшь, слизняк? — снова начиная куражиться, задиристо спросил Розовый.— К мамке за подол тебе...

Гусиная Лапа резко оборвал его:

— Цыц, зараза. На дело идешь.

Розовый умолк на полуслове.

И Карцев злорадно подумал: «Он тебе еще и не так выдаст, падаль». Но тут же его обожгла другая мысль: «А ты сам кто? Сам ты даже выдать не можешь, трусишь».

На душе стало мерзко и горько. «И куда ты идешь, с кем? И куда ты катишься, Толька?» И тут же, словно угадав его мысли, Гусиная Лапа толкнул его в бок и добродушно проворчал:

— Порядок, «профессор». Все будет в ажуре. Со мной не пропадешь. За меня держись. Понял?

— Ага,— мотнул головой Карцев.

— С волками, небось, живем. Ты не укусишь, так тебя укусят,— продолжал тот.— Зубы надо иметь, в стаю сбиваться. Я за тебя кому хошь кровь пущу, только скажи. Понял?

— Ага,— снова подтвердил Карцев и почему-то успокоился. «Верно говорит,— подумал он.— Элементарная мысль, конечно, но верная». Необычайная сила, как ему казалось, исходила от этого человека, и рядом с ним Карцев чувствовал себя в безопасности, свободным от всех невзгод, которые сыпались на него, мешали жить. И не было у него, очевидно, другого пути, кроме как идти с этим человеком туда, куда он ведет. И только сердце замирало в ожидании чего-то неведомого.

Они гурьбой пересекли ярко освещенную улицу и снова нырнули в узкие, окутанные мраком переулочки. Вверху тускло светились желтые бусинки фонарей. Прохожих почти не было.

Внезапно Гусиная Лапа остановился. Все сгруппировались вокруг него, напряженно озираясь по сторонам.

Карцев заметил в темном проеме между домами, наискосок от них, черный силуэт палатки.

Гусиная Лапа увлек всех за ограду небольшого скверика и, кивнув в сторону палатки, тихо сказал:

— Вот она, сердечная. Стоит и ждет.

— Так чего же? Пошли! — рванулся Розовый.

На его плечо легла тяжелая рука.

— Слушай сперва меня все,— властно сказал Гусиная Лапа.— Делать будем так...

Он распределил обязанности, назначил место для встречи и с угрозой закончил:

— Если кто не послушает, шуметь не буду, но тихую посчитаюсь. Поняли?

Из сквера вышли поодиночке.

К палатке подошли втроем: Гусиная Лапа, Карцев и Розовый. Остальные были где-то рядом, в темноте. В руках у Гусиной Лапы внезапно возник короткий ломик.

«Что я делаю, что делаю? — стучала в мозгу у Карцева тревожная мысль. — Ведь это — преступление. Ведь за это...» Но ноги шли сами.

Дверка палатки была прижата наискосок железной полосой, внизу ее висел замок.

Гусиная Лапа прислушался. Потом ловко вставил ломик в ушко замка и нажал. Сухо заскрежетал, потом коротко взвизгнул металл о металл. Замок не поддавался. Гусиная Лапа тихо выругался и всей тяжестью навалился на ломик.

Карцев чувствовал, как его мелко-мелко трясет, словно в ознобе, липкий пот выступил на лбу и щеи, он боялся вытереть его: руки тоже дрожали. А рядом прерывисто дышал Розовый.

Оба не спускали глаз с массивной фигуры человека, который, сопя, выламывал теперь петлю из косяка двери.

Внезапно где-то невдалеке послышались шаги. Все трое прижалось к стенке палатки и замерли.

Двое людей, громко и весело разговаривая, прошли мимо. И Карцев вдруг почувствовал зависть: идут себе, смеются, ничего не боясь. И тут же возникла злость. Конечно, им что? Им хорошо. Вот их бы в его шкуру, взвыли и не на то бы пошли. А ему терять нечего, ему теперь только так и жить, только с этими. В голове все еще шумело, от водки или от волнения подступала легкая тошнота. В его сознании все как-то смешалось.

А тем временем Гусиная Лапа вновь с силой навалился на торчащий в двери ломик.

Раздался громкий треск.

Стальная полоса, на конце которой болтался замок, со звонок отлетела в сторону и ударилась об стену.

Все на секунду замерли, прижавшись к палатке. Но кругом было тихо. Тогда Гусиная Лапа ухватился за ручку двери и рванул ее на себя. Дверь оказалась запертой.

— Плевое дело, — проговорил он. — Вмиг отожмем.

Он подобрал с земли ломик и уже собирался вставить его в щель между дверью и косяком, когда вдруг в конце переулочка возник мотоциклетный треск и Карцев услышал звук стремительно несущейся машины.

— Ходу! — крикнул Гусиная Лапа, срываясь с места.

Из того, что было потом, Карцев запомнил лишь бешеный стук сердца, свист ветра в ушах, чей-то грозный окрик, топот чьих-то ног впереди, сзади. Потом мелькнул незнакомый двор, темные сараи, еще двор. И вот наконец возникла какая-то приоткрытая дверь с разбитым стеклом, за ней грязная, темная лестница и отвратительно пахнущий угол возле двери со скользким, мокрым полом и липкими стенами, куда забился Карцев.

Только через минуту он почувствовал, что плачет, упершись головой в стену. И уже не страх, а безысходная тоска и жалость к самому себе охватили его: «Ну, что же это, что же это?» — думал он. И вдруг словно увидел себя со стороны, увидел, как в темном подъезде забился в угол высокий, худой парень и плачет там, один, никому не ведомый, никому не нужный, всеми презираемый.

Глотая слезы и стыдясь их, Карцев выбрался из своего убежища и, очутившись в незнакомом темном дворе, прислушался. Потом он вышел на улицу.

На него решительно никто не обращал внимания, и Карцев постепенно успокоился. И тут он вспомнил: ведь назначена встреча, его ждут, о нем беспокоятся. Это неожиданно приободрило его. Есть все-таки люди, которым он нужен, которые поддержат его в этой проклятой, страшной жизни. Они все знают, им ничего не надо рассказывать, ни в чем не надо признаваться. С ними ему легко и спокойно. Легко и спокойно? Нет, нет. Просто... Ну, просто ему уже некуда больше идти...

Он появился в условленном месте хмурый, запыхавшийся от быстрой ходьбы.

Все уже были в сборе.

— Во. Порядок, «профессор», — приветствовал его Гусиная Лапа и, обращаясь к остальным, добавил: — Фартовый парень. И ни хрена не боится...

Он говорил это, покровительственно хлопая Карцева по плечу, и все как по команде начали громко хвалить его. Потом каждый, перебивая другого, начал говорить о себе, хвастаясь, споря и ссорясь.

— Ну, чего бы такое сотворить, а, братва? — бесшабашно спросил наконец Розовый и, обращаясь к Карцеву, добавил: — Вычу-

ди теперь ты, «профессор».

Он вел себя так, словно и не было ссоры между ними, не было и той жестокой расправы, которую учинил над ним Гусиная Лапа. И Карцев, воодушевленный похвалой главаря, с пьяной решимостью готов был сейчас на все.

Водочные пары еще действовали, и сорвавшееся дело вызвало у всех досаду и желание еще что-то «сотворить».

— Эх! — запрыгал на месте Розовый. — Дом, что ли, толкнуть?

И он с размаху уперся плечом в каменную стену.

— Ты лучше вон его толкни, — посоветовал ему кто-то из парней, указав на синенький «Запорожец» у дома напротив.

— А зачем толкать! — оживился Розовый. — Давайте перетащим его в конец улицы. Во, потеха!

— Веселитесь, жорики, веселитесь, — снисходительно усмехнулся Гусиная Лапа, потом притянул к себе за рукав Розового. — А его не оставляй покуда! — И он указал глазами на Карцева.



Розовый понимающе кивнул в ответ.

Все с ревом бросились к машине, облепили ее со всех сторон.

— Взяли!—крикнул Розовый. Машину чуть приподняли и потащили с хохотом и улюлюканьем.

— Пошла!.. Пошла!.. И-их!.. Фи-фи-и!.. Давай!..

Пустой полутемный переулок наполнился диким шумом.

Внезапно из дома, около которого стояла машина, выскочил какой-то человек.

— Ребята, что вы делаете! — закричал он. — Сейчас же оставьте машину!

Человек подбежал и стал суматошливо отрываться парней от машины.

— Это черт знает что такое! Я милицию сейчас позову!

— А-а, милицию?! — зверея, завопил Розовый. — Братва, за мной!

И первым кинулся на человека, сбив его с ног. За ним рванулись остальные. Началось избиение.

Карцев остался у машины и с ужасом наблюдал за происходящим.

За что они бьют этого человека, за что?

— Бросьте! — вдруг слабо крикнул он, не в силах двинуться с места. — Розовый, бросьте!

Но в этот миг он увидел, как в руке у Розового блеснул нож. И тут же до него донесся протяжный, мучительный стон, который на секунду даже заглушил яростные выкрики и звуки ударов. Карцев не помня себя кинулся в самую гущу свалки, расталкивая всех.

— Бросьте!.. Бросьте!.. — дрожащим голосом выкрикивал он, беспомощно хватаясь за чьи-то спины и руки.

В этот момент к ним подбежал Гусиная Лапа. В сторону отлетел Карцев, в другую — кто-то еще из парней.

— Назад, жорики! — яростно заревел он. — Кому говорю?! Назад!

Все кинулись врассыпную. Только Карцев не в силах был двинуться с места, не в силах был оторвать глаз от распростертого на снегу человека. Тот стонал, пытаясь подняться, и снова падал.

— Зверье... — захлебывающимся голосом тихо проговорил он. — Боже мой, какое зверье...

...Когда в переулке уже никого не было — ни Карцева, ни избитого человека, ни тех, кто пришел ему на помощь, — там неожиданно появился Гусиная Лапа.

Массивная его фигура сначала осторожно замаячила вдалеке, потом он приблизился и, наконец, видимо, решившись, уже не таясь, сошел на мостовую



и внимательно осмотрел место, где произошла драка.

— Нету... нигде нету... — еле слышно пробормотал он. — Чтoб этим жориком провалиться, мать их...

И, не сдержавшись, он злобно ударил кулаком о кулак.

ГЛАВА IV

На пути к «страшному человеку»

С утренней оперативки у Бескудина Виктор вышел вместе с Глебом Устиновым. Рядом с невысоким, худощавым Виктором Глеб казался богатырем — могучие плечи, круглая, «под бокс» остриженная голова, румянец во всю щеку и цепкие, хитрые глаза.

Устинов лениво спросил:

— Ну, что? Может, хватит изучать условия, а заняться самой личностью? И хорошо бы не одной.

— Займусь и личностью.
— Условия-то, кажется, нормальные, а вот личность — дрянь, — невозмутимо продолжал Устинов. — Теория твоя с практикой маленько разошлась.
— Личность формируется не в безвоздушном пространстве.

— Зачем в безвоздушном? Каких-то поганцев он, конечно, встретил. И прилип. А почему? В семье вроде порядок. Институт тоже плохому не учил. Сам говоришь, ребята там отличные. Ну, что еще? Влияние капиталистического окружения? Тоже не заметно. — И уже совсем насмешливо закончил: — Остаются только пережитки прошлого в сознании.

Но Виктор на этот раз не был расположен к спору и, погруженный в свои мысли, рассеянно ответил: — Разберемся.

Устинов удивленно поглядел на приятеля и все тем же насмешливым тоном спросил:

— Ты где, брат, сейчас витаешь?

— Я, дорогой, витаю в райкоме комсомола. И тут к тебе будет одна просьба...

В этот момент Виктор заметил в конце коридора знакомую внушительную фигуру в синем форменном кителе, разглядел широкое, красное от ветра лицо с пышными усами, ежик седеющих волос и узнал капитана Федченко.

— Здравия желаю, — сказал он, подходя. — Как у тебя с тем делом-то?

Федченко спросил это подчеркнуто равнодушным тоном, но в глазах появилась настороженность.

— Пока ничего особого, — ответил Виктор.

— Парня того удалось установить? — спросил Федченко. — Который Карцева по роже смазал?

— Сегодня думаю установить.

— Неужто по приметам? — усмехаясь, поинтересовался Федченко.

Виктор невольно улыбнулся. Действительно, смешно тогда получилось. Только потом он понял, как все это произошло. Помогла одна фраза, вскользь оброненная Инной: «Потом он шапку надел». Старик-то видел того парня издали, сидя на скамье. Когда парень зашел во двор, свет был сзади, на улице, и пальто на парне показалось черным, а сам он выше ростом, чем был на самом деле. И шел он, видно, не спеша, солидно, вот старик и решил, что человек в возрасте. Ну, а Зоя была близко от него и разглядела, что парень-то молодой, и пальто разглядела, что в клетку, а шапку тот уже, выходит, надел. Сама эта Зоя маленькая, вот парень и показался ей высоким. А та женщина, в киоске, высокая и рост парня оценила по-своему, но лицо разглядела лучше, ведь он прямо в окошечко к ней сунулся. А пальто... оно, конечно, не кожаное, может, только воротник кожей отделан, так у клетчатого пальто бывает. И Виктор попытался составить себе облик того парня: невысокий он все же, коренастый, белобрысый, в клетчатом пальто и черной «москвичке», лицо круглое и курносое. Вот такой он, надо полагать.

Но объяснить все это не хотелось, и он коротко ответил:

— Устанавливаю и по приметам тоже.

— Ты вот что, — строго сказал Федченко, — меня все же в курсе держи. Я как-никак за свой участок отвечаю.

— Само собой. Только давайте условимся, — предупредил Виктор. — Без меня никаких шагов не предпринимать. А пока извините. Дела ждут.

«Заносится больно, — подумал Федченко. — Надо этого попрыгунчика на место поставить».

И он твердо, с обычной солидностью стал спускаться по лестнице.

По пути в райком комсомола Виктор вначале подумал о встрече с Карцевым, потом вспомнил, что сказала о нем Инна, и с неприязнью подумал о ней самой. Слов нет, красивая девушка, яркая, эффектная. Он вспомнил ее улыбку, громадные, сияющие глаза. И не глупа, даже остроумна. И ребята должны сходиться по ней с ума. А она... О, она с ума не сойдет, она расчетлива. Как спокойно дала она отставку Карцеву, как решительно! Что ж, он найдет другую, встретит...

А он сам нашел другую, встретил?.. Нет, Светка не расчетлива. Так уж все получилось тогда.

Это было после четвертого курса, летом, когда они все уезжали на целину. У Светки внезапно заболела мать, и общее собрание разрешило ей остаться. Накануне отъезда, вечером, они долго прощались. И Светка вдруг робко спросила: «А ты не можешь остаться? Мне так тяжело одной!» Нет, он остаться не мог. Но уехал с тяжелым сердцем. Письма от Светки начали вдруг приходить все реже, в них было столько грусти, растерянности и недоговоренности. Светка о чем-то избегала ему писать. Все выяснилось, когда он вернулся...

Столько времени уже прошло с тех пор, а он никого не нашел, никого не встретил. И, может быть, не он один такой, может, этот Карцев...

Виктор снова подумал о предстоящей встрече с Карцевым, о втором секретаре Косте Онищенко, с которым договорился вместе побеседовать с этим Карцевым.

И еще он подумал о том, что этот Карцев — только начало, что он, возможно, и не самое главное в начинающемся деле.

Виктор думал о комбинации, которую решил осуществить. Да, он постарается убить двух зайцев сегодня, если верен его расчет, если «они» действительно так цепко держат Карцева, как он предполагает.

Глеб с товарищами должен быть уже на месте, и все рассчитано до мелочей.

...А троллейбус все катился и катился по знакомым и незнакомым улицам, отсчитывая гортанным голосом водителя остановки, и казалось, им нет конца. Виктора охватило нетерпение. Ох, и далеко же, оказывается, расположен этот райком! Ну и Москва, нет ей конца и края.

Но вот наконец водитель объявил его остановку. И Виктор стал торопливо пробираться к выходу.

Он сошел с троллейбуса и оглянулся. Сколько настроено тут новых домов и сколько еще их строится вокруг!

Райком он отыскал в первом этаже одного из новых домов.

Около входа толпилась группа ребят и девушек в лыжных костюмах, с вещевыми мешками за спиной. «Куда-то едут», — подумал Виктор, и в ушах прозвучало полузабытое: «Сбор у райкома!» В длинном коридоре было много народа, веселого, говорливого, шумного. Виктор с трудом разыскал комнату второго секретаря.

Костя Онищенко оказался красивым парнем в аккуратном сером костюме, с модным галстуком.

— Ну, давай знакомиться, — сказал Виктор. — Карцев здесь?

— Здесь. Сейчас позову.

Он вышел и через минуту вернулся с высоким, худым, чуть сутулым юношей. Лицо его было нахмурено, он заметно нервничал.

— Садись, Толя, — сказал ему Онищенко. — Давай потолкуем.

Карцев молча сел, не расстегнув пальто, не сняв пушистой ушанки с головы.

— И шапку сними,— мягко заметил Онищенко.

Карцев усмехнулся и снял шапку.

— Итак,— начал Онищенко,— расскажи, как живешь?

— Я, кажется, теперь не комсомолец и отчитываться перед вами не обязан,— враждебно ответил Карцев.— Мог бы и вообще не приходить, между прочим.

Онищенко нахмурился.

— Ты совершил серьезный проступок. И организация...

— Я не совершал никакого проступка. Это ложь.

— Что же, по-твоему, вся организация солгала?

Карцев усмехнулся.

— Почему же и организации не солгать, в воспитательных целях, конечно?

— Думаешь, что говоришь!

— Я думал, не беспокойтесь. Я много думал.— Карцев резко смял шапку на коленях, на бледных щеках пятнами проступил румянец.— Все лгут! Всюду! Никому теперь не верю! Никому!..— Голос его прервался.— Раз со мной... такое случилось. Ложь все!..

В глазах Онищенко вспыхнул гнев, губы упрямо сжались.

— Никто у нас не учит лжи!..— почти крикнул он.— Не клевети...

— Да,— перебил его Карцев.— Сначала было все верно, но потом... «У нас все хорошо»,— передразнил он.— А у нас вовсе не было все хорошо!

— А откуда ты это знаешь?

— Откуда? Я не слепой! И другие тоже не слепые! Да вы возьмите хоть доклад Косыгина на последней сессии!

— А ты его читал?

— Представьте себе!

— И что понял?

— Что не надо лгать! Что надо говорить как есть и не замазывать ошибок!

— Правильно понял. А что из этого вытекает?

— В каком смысле?

— В смысле нашего спора.

Карцев подозрительно посмотрел на Онищенко, ожидая подвоха. А тот сурово усмехнулся и сказал:

— Вытекает одно. Мы ведем очень трудную борьбу. Здесь не обходится без ошибок, порой больших, даже трагических. Мы о них говорим в открытую и исправляем, чего бы это ни стоило.

— У нас не любят признавать ошибки.

— А кто любит? Но надо. И это еще трудно потому, что кругом не только друзья, но и враги. Враги, ты понимаешь?

Виктор сидел, еле сдерживаясь, чтобы не вмешиваться в спор. Это было не просто, спор задел его за живое. Да и сами спорщики заражали его своим азартом. Но с особым интересом следил он за Карцевым. Ведь парень действительно ничему и никому не верит. Это тоже одна из глубинных причин преступности, вообще-то говоря. Аморален мир, значит, могу быть аморален и я. Ну, у этого парня не только безверие, у него злость. Он считает, что в отношении его, лично его, тоже поступили аморально, несправедливо. Как же так?

И, словно читая его мысли, Онищенко сказал:

— Так обстоит дело с ложью вообще. А теперь давай разберемся в частности. Ты говоришь, что не совершал никакого проступка, что это ложь. Так?

— Да, ложь!

— Ты парень умный, докажи мне это. Я пока сомневаюсь.

— Вы не были на собрании, вы не знаете, как было дело!— запальчиво воскликнул Карцев.— Но уже сомневаетесь...

Онищенко улыбнулся, в нем уже не было прежней суровости.

— Сомнения—двигатель прогресса. С их помощью познается истина.

— Пожалуйста!— воскликнул Карцев.— Я вам могу сказать, как было дело. Тогда ночью, в общежитии, мне не отдали ключ, я его отнял. Я хотел выпроводить ту девочку. Но она спала как убитая, как я ее ни тряс. А в комнату лезли те ребята. Я их выгнал и запер дверь. Потом пустил одного, самого трезвого из них, он сказал, что выгонит ее. А она подняла крик, и сбегался народ. Вот и все. Но мне не хотели верить. А потом было уже поздно что-нибудь доказывать.

— То есть как это «было поздно»?— сухо спросил Онищенко.

— А так. Мне сказали, что решение все равно менять нельзя, это подорвет авторитет. И газета—это уже попало в газету!—никогда не даст опровержения. О, я знаю, наши газеты никогда не дают опровержений! И наши «организации»,—он с иронией произнес это слово,—никогда не ошибаются!

Карцев дрожал от возбуждения и злости, глаза его блеснули, на щеках пылал румянец.

— Не обобщай на основании одного факта,— строго сказал Онищенко.— Так, милый, не делают. А насчет случая с тобой... Что ж, мы еще раз проверим. Хорошо, что встретились и потолковали.

— Не нужно мне ваших проверок!—истерично воскликнул Карцев.—Плевал я на них! Сыт вашей принципиальностью по горло!—Он вскочил с места.—И издеваться не позволю! Все! Я пошел! Все!

Он как-то странно всхлипнул и выскочил за дверь.

— Ну, парень...—недоуменно развел руками Онищенко.

— Погоди, погоди,—быстро произнес Виктор, устремляясь к окну.

Он увидел заснеженный пустырь и какие-то строящиеся в отдалении дома.

Тогда Виктор выбежал в коридор и толкнул противоположную дверь. За ней оказалась большая комната, уставленная столами. Под недоуменными взглядами находившихся там людей Виктор подскочил к окну.

Как раз в это время из подъезда показался Карцев. Торопливо нахлобучив шапку, он побежал по протоптанной в снегу тропинке. На тротуаре он остановился, озираясь по сторонам, потом махнул рукой и устремился через мостовую к остановке троллейбуса. Там ждал его какой-то парень.

Виктор впился в него глазами.

— Ну, конечно,—прошептал он.—Тот самый...

Никогда еще Виктор не ждал Глеба Устинова с таким нетерпением, как в тот вечер. Наконец открылась дверь, и он увидел плечистую фигуру друга.

— Ну?

Глеб молча прошел к своему столу, сел и провел ладонью по волосам, потом лениво сказал:

— Задал же ты работу.

— Сочувствовать я тебе буду потом,—нетерпеливо ответил Виктор.—Что узнали?

— В общем,—усмехнулся Устинов,—если они в троллейбус.

— Говорили о чем-нибудь?
 — Тот только спросил: «Чего там было?» А Карцев зло ответил: «Разговор был». А тот смеется.
 — Ну, а Карцев?— спросил Виктор.
 — Зыркнул глазами и молчит. А тот пристаёт: «За Советскую власть агитировали?» А Карцев ему насмешливо: «Много ты в Советской власти понимаешь». Нет, знаешь, он парень неглупый. Мне даже понравился. Но тот — лоб, я тебе скажу.
 — Кто он такой?
 — Вот слушай. Доехали они, значит, до дома, где Карцев живет, и простились. Долго чего-то спорили. Отношения у них, видно, не ахти какие. Потом Карцев домой пошел, а тот...
 — Ну-ну?..

Устинов поморщился.
 — Ты спокойно слушать можешь? Одним словом, тот в другой подъезд зашел. На втором этаже позвонил и медовым таким голосом спрашивает: «Галя дома?»

— Галя? Та-ак. А потом?
 — Потом через полчаса вышел. И домой поехал.
 — Куда?

В этот момент дверь открылась, и вошел Бескудин. За столом у себя в кабинете он всегда казался массивным, солидным и даже старым, особенно когда надевал очки, чтобы прочесть какую-нибудь бумагу. А на самом деле это был невысокий, худощавый человек лет сорока пяти, подвижной, быстроглазый, светлые редкие волосы, зачесанные гладко назад, курчавились на висках.

Увидев Устинова, он быстро, словно спеша куда-то, сказал:

— Прибыл, значит. Докладываешь уже. Ну давай, давай, докладывай.

Бескудин удобно расположился за столом Устинова и оперся локтями, собираясь слушать.

Устинов переставил стул, чтобы видеть обоих собеседников, потом повторил свой рассказ.

— И где живет этот Харламов?— заинтересованно спросил Бескудин.— Где живет?

Устинов назвал адрес.

— А что тебе дал райком?— спросил Бескудин, всем телом повернувшись к Виктору, и тут же спешно закурил, щелкнув зажигалкой.

— Райком мне дал причину,— задумчиво ответил Виктор.

И Устинов тут же насмешливо вставил:

— Мы ищем людей, а он ищет причины. Вот таксе у нас разделение обязанностей.

— А ты помолчи, помолчи,— оборвал его Бескудин и снова заинтересованно обернулся к Виктору.— Ну, и что за причина?

И снова щелкнул зажигалкой, она была новенькой, замысловатой, и Бескудин ею любовался.

Виктор передал разговор в райкоме и с ударением закончил:

— Это очень важно. Это так важно, что трудно сразу охватить. Особенно некоторым.— И он насмешливо покосился на Устинова.

— Ладно тебе, ладно,— раздраженно махнул рукой Бескудин.— На данный момент есть кое-что поважнее, что надо охватить. Вот этот адрес...

Виктора вдруг обеспокоил этот адрес. Он настоялся.

— Вот этот адрес...— повторил Бескудин, откинувшись на спинку стула, и спросил Виктора:— Ты говорил, он в тот вечер нервничал, спешил куда-то?

— Кто спешил?— удивился Виктор и тут же вспомнил:— А-а, так это Карцев спешил!

— Вот именно, именно,— закивал головой Бескудин.— Спешил Карцев. А он связан с тем парнем, по тому адресу. Компания — не дай бог. И в тот же вечер совсем рядом, почти около того дома,— зверское избиение, два удара ножом. Хулиганы напали на человека. А? Не помните?

— М-да, цепочка,— пробормотал Устинов.

— Я вспомнил это дело,— сказал Виктор.— Но тогда... Тогда... Нет! Там ведь они машину вздумали перетаскивать. Там не чувствуется опытного главаря, Федор Михайлович. А здесь должен такой быть.— И убежденно покачал головой.— Не-ет, то другая группа.

Но Бескудин перебил его:

— Гадать нечего. Случай в переулке из виду упускать нельзя. Ты подключись,— кивнул он Устинову, потом задержал на нем взгляд и неожиданно спросил:— Значит, сегодня в троллейбусе они ни о чем таком не говорили?

— Нет.

— Ну, а когда прощались?

— Спорили. А о чем, не понял.

— Не слышал или не понял?

— Если точно, то не понял. А возможно, и ослышался.

— А что именно?

— Странную какую-то фразу Харламов сказал. Это уже напоследок. «Но долбить придется. А то...» Чего «а то», не расслышал. Далеко стояли.

— Гм,— с сомнением покачал головой Бескудин.— Странное дело — «долбить». Чего это они долбить собрались?... Это слово, значит, расслышал?

— Расслышал.

— Гм... Нет, все-таки эта группа... опасная. Если и не сотворили, то сотворят. Поэтому что? Поэтому вот что. Мы уже знаем троих, почти знаем. Кто они? Первый — Карцев, второй — тот парень, Харламов, третий, вернее, третья, — та Галя.

— Выходит, за три дня узнали трех человек,— вставил Устинов.

И Бескудин подхватил:

— Именно! И только об одном из них мы кое-что знаем. Плохо! Плохо и медленно! Ты запомни,— он сердито взглянул на Виктора,— тут тебе не Академия наук, тут МУР. Тут не только голова, тут ноги кормят. Комбинируй с этими тремя и ищи. Пусть к главарю ищи, чтобы расколоть группу. Дымится она, вот-вот пожар устроит. Ишь ты, «долбить» чего-то вздумали!

Это словечко, видимо, не дало ему покоя.

На следующий день после разговора с Бескудиным Виктор побывал в доме, где жил Николай Харламов, посмотрел домовые книги, осторожно побеседовал кое с кем из жильцов, потом встретился с участковым уполномоченным местного отделения милиции, прекрасно знавшим всех «своих» хулиганских подростков, в том числе, конечно, и Харламова.

Для полной «ясности» Виктор поехал и на завод, где этот парень работал и где, как выяснилось, работает Анатолий Карцев. Знакомство их стало, таким образом, понятным. Виктор в сопровождении мастера прошелся по цеху, решив разглядеть Харламова поближе. Карцев в тот день работал в другой смене, и Виктор не рисковал с ним встретиться.

Короче говоря, Виктор собрал, казалось бы, все необходимые сведения. Виктор узнал жизнь Харламова за последние годы, его характер и повадки. Но и только.

Никаких «выходов» на главаря группы, даже намека на его существование Виктор пока не получил. Сам Харламов главарем быть никак не мог. На это у него не хватало ни опыта, ни авторитета, ни инициативы. Кроме того, вел он себя во дворе и на улице нагло и задиристо даже по отношению к более взрослым парням, словно давая понять, что за ним стоит кто-то поопаснее и посильнее. И его действительно побаивались.

Итак, сам Харламов был более или менее ясен. Теперь следовало заняться Галей. Поэтому в ту субботу Виктор с утра поехал в дом, где эта Галя жила и где жил, в другом лишь подъезде, Карцев. В том доме у Виктора уже были знакомые, — он хорошо запомнил двух стариков-пенсионеров и бойкую маленькую «фабричную» Зою.

Но прежде он решил заглянуть в отделение милиции к Федченко. Теперь уже было чем поделиться с ним, да и Галя жила на его «территории».

Федченко встретил Виктора хмуро и, еле поздоровавшись, спросил:

— Что ж, милый человек, признаков не подаешь? Сам тебе уже звонил, да разве застанешь? Обещался быть, планы составлять.

— Человек предполагает, а бог располагает, — попробовал отшутиться Виктор. — Закрутился я.

— Насчет бога не к месту употребляешь, — сурово возразил Федченко и, вздохнув, добавил: — Ну, давай разбираться, коль прийти соизволил.

Виктор поинтересовался Галей. У Федченко никаких сведений о ней не оказалось, кроме самых формальных — мест работы ее и родителей и самой общей характеристики из домоуправления, в которой говорилось, что девушка эта ведет себя безупречно, а родители ее вполне приличные люди.

— Это все так, для бедных, знаете, — с неудовольствием сказал Виктор.

— Стараюсь, — неопределенно ответил Федченко и солидно расправил усы.

Виктор, выходя из отделения милиции, раздраженно подумал: «Черт знает что. Только время зря на него убил».

Заскочив по дороге в первую попавшуюся закусочную и наскоро проглотив там какое-то странное харчо, Виктор поспешил в дом, где жила Галя.

Каково же было его удивление, когда все, с кем он только ни говорил там, в один голос подтвердили безупречную Галину репутацию. «Тихая она, совсем тихая, — говорили ему. — Подружек ее не знаем, знакомых и подавно. И не ходит к ней никто. А работает в ларьке, у вокзала».

Вот и все, что узнал за этот день Виктор.

Уже вечером, возвращаясь домой, усталый, издерганный и вконец раздосадованный тем, что зря прошел еще один день, он решил пройти мимо дома, где живет Харламов. Вздохнув, Виктор нехотя вышел из троллейбуса, который прямоком вез его домой, и стал соображать, как быстрее добраться до новой цели. Потом направился к видневшейся вдали станции метро с огненной буквой «М» над входом.

Идти было тяжело. После недавних вьюжных холодов внезапно наступила оттепель, и ноги вязли в мокром, липком снегу.

Когда Виктор уже подходил к нужному дому, он увидел на противоположной стороне полутемного переулка группу парней. Они громко и оживленно обсуждали что-то. По их развязным манерам, по

словечкам, долетавшим оттуда, по тому, как они курили, сплевывая себе под ноги, нетрудно было догадаться, что это за компания. Чуть поодаль стояли еще двое парней. В желтоватом, расплывающемся свете висевшего невдалеке фонаря Виктор узнал одного из них. Это был Харламов.

Виктор остановился и стал наблюдать.

...Между тем Розовый отнюдь неспроста вот уже битых два часа толковал с бойким чернявым пареньком Пашкой Авдеевым. Это была просто удача, что он наконец вспомнил сегодня про Пашку.

Еще три дня назад Гусиная Лапа велел срочно подыскать именно такого парня, как Пашка. Все эти дни Розовый ломал себе голову, но ничего не мог придумать. А Гусиная Лапа каждый вечер с нарастающей тревогой спрашивал, нашел Розовый нужного парня или нет. И вот вчера, когда с той проклятой стеной было покончено, Гусиная Лапа предупредил: «Последний у нас срок — среда. Понял? Не найдешь, гляди тогда».

Дело было затеяно и впрямь нешуточное, невиданное еще дело, лихое и опасное. Он, Розовый, знал про это, ему одному доверился Гусиная Лапа. Остальные ничего не знают, думают: так, мелочь, вроде того ларька. Если им сказать, — враз струсят, особенно Толька, «профессор». Они узнают потом, когда дело будет сделано, и деваться им тогда будет некуда. Даже Галка — и та, наверное, ничего не знает.

Между прочим, именно на нее сейчас и рассчитывал Розовый, вспомнив наконец про Пашку. Еще бы! Они с Галкой и не такие номера откалывали.

А приказ Гусиной Лапы заключался в том, что требовалось найти шофера, причем «своего» абсолютно и к тому же отчаянного.

Вот таким человеком и был Пашка Авдеев. Правда, пока что он удовлетворял только двум из трех требований. Он «шоферил», да к тому же лихо, до дерзости, любил «левачить», и потому не было у него больших врагов, чем строгие орудовские инспектора.

Конечно, «своим», да еще абсолютно, Пашка не был, но, по мнению Розового, он для этого вполне созрел. Подбить Пашку на какое-нибудь рискованное дело казалось ему тем более просто, что мечтой Пашки было скопить деньги на машину, не новую, конечно, а хотя бы самую подержанную, которую он потом уже сам доведет до совершенного «блеска» и заставит работать «как часы». Ни о чем другом Пашка, казалось, говорить вообще не мог. Он был помешан на машине.

И еще одно обстоятельство притягивало Розового к этому парню. Дело в том, что, по его убеждению, у Пашки уже было кое-что скоплено. А самым страстным и постоянным стремлением Розового было погулять и выпить на чужой счет. Для этого у него был разработан свой метод, хитрый и, как ему казалось, безотказный. Только бы попался «фрайер» с деньгами.

И вот сейчас такая возможность тоже перед ним открылась.

Розовый в этот вечер старался вовсю, обрабатывая Пашку, в страстной надежде убить сразу двух зайцев.

— Девочка — блеск, — вкрадчиво говорил он Пашке, отводя его в сторону от остальной компании. — Красотка такая, что закачаешься. Как в кино.

Пашка снисходительно усмехнулся.

— Ладно, поглядим. За поглядеть деньги не берут. А они мне на данном этапе для другого дела требуются.



— Будет! — быстро подхватил Розовый. — Куча денег будет. Со мной, брат, не пропадешь. Ты за меня держись. Ясно? Я такое тебе устрою — не приснится. Знаешь, чего повернуть можно, если ты...

...Вот в этот-то момент наблюдавший за ними Виктор Панов и решился на рискованную комбинацию. Двигали им при этом и досада, что не удалось сегодня выполнить до конца задание Бескудина, и горячность, и злость, и, главное, нетерпеливое желание скорее нанести первый, ощутимый удар по опасной группе, над которой он сейчас работал. А непосредственным поводом для возникновения этого замысла послужило то, что в группе парней, стоявшей недалеко от Розового, он заметил одного, который сегодня утром видел его вместе с участковым уполномоченным, когда они шли по этому переулку.

Итак, решившись, Виктор не торопясь пересек мостовую и на виду у всей сразу насторожившейся компании подошел к Розовому.

— Привет, Коля, — спокойно сказал он и протянул руку.

Розовый невольно пожал ее.

А Виктор все тем же спокойным и уверенным тоном, не давая ему опомниться, прибавил:

— Ну-ка, отойдем на минутку. Два слова тебе надо сказать. Ребята тебя извинят, надеюсь.

Он взял Розового под руку и увлек за собой, краем глаза заметив, как возбужденно зашумелись парни у него за спиной, подозрительно поглядывая вслед уходящим.

Только через минуту Розовый наконец пришел в себя и угрюмо спросил:

— Чего надо-то?

— Ничего особенного, — усмехнулся Виктор. — Не вспоминаешь меня?

— Ладно в жмурки-то играть.

— А я и не играю. Как работаете-то? Григорий Семенович не обижает?

Так звали мастера в сме-не, где работал Розовый. И тот, растерявшись, ответил:

— Не обижает.

— Ну и порядок. Будь здоров, — сказал Виктор и снова потряс ему руку.

Когда, все еще хмурясь, Розовый возвратился к своим, один из парней враждебно спросил:

— Ты с кем это водишься?

Розовый задумчиво пожал плечами.

— С завода один там.

— Я те дам «с завода», — со злостью возразил тот.

...Между тем Виктор, подъезжая к дому, думал о незнакомой ему Гале, о которой так и не удалось узнать ничего путного. Думал он и о Харламове, который теперь начнет метаться и уж непременно побежит оправдываться к главарю, сломя голову побежит, скорей всего завтра же. Надо будет ребятам посмотреть за ним.

И Розовый действительно побежал на следующий же день, но побежал... все к той же «тихой» Гале.

Это было уже совсем странно...

ГЛАВА V

Свои девочки

Мария Алексеевна сразу обратила внимание на этого пассажира. Высокий, стройный, светлая башковатая шапка и такой же воротник на модном пальто красиво оттеняли его смуглое, энергичное и веселое лицо.

Его провожали двое приятелей и высокая рыжеватая женщина в меховой шубке. Компания расположилась в купе — пассажиров в этот зимний день было мало. Открыли бутылку шампанского, говорили смешные тосты, желали пассажиру удачи.

Потом, когда поезд уже тронулся, Мария Алексеевна узнала пассажира поближе. Он был весел, разговорчив, утонченно вежлив и буквально покорила ее своей щедростью. То и дело заходя к ним с Соней в служебное купе, он угощал их дорогими конфетами, редкими фруктами — гранатами, персиками, рассказывал смешные анекдоты, а за стакан чаю платил по рублю. Его звали Роберт.

Когда поезд уже подходил к конечной станции, Роберт, улучив момент, сказал Марии Алексеевне, понизив голос и проникновенно устремив на нее свои громадные черные глаза:

— Ах, дорогая, если бы вы могли оказать мне одну пустяковую услугу.

— Что же вам надо, Роберт? — улыбнулась Мария Алексеевна.

— Вы когда поедете обратно?



— Через двое суток.

— Я должен передать своему приятелю чемодан, он бы встретил вас на вокзале. О, мне так неудобно утруждать вас, но я оказался в очень неловком положении... Да вы его помните, конечно. Он провожал меня. Такой толстый и лысый. Я вам буду очень благодарен. Очень. Понимаете?

Она охотно согласилась.

На следующий день Роберт привез ей чемодан и при этом сунул три красненьких десятки.

Так началась их дружба, такая выгодная для Марии Алексеевны.

Роберт часто навещался в Москву и жил подолгу. Мария Алексеевна не задумывалась над тем, кто он, где работает. Она лишь исправно возила чемода-

ны, ящики, иногда по два, даже по три сразу. Ее встречали и провожали самые разные люди, но чаще всего Роберт. Однажды он зашел даже к ней домой, когда не было мужа. Григорий Афанасьевич работал начальником поезда дальнего следования на другой дороге и тоже надолго отлучался из дому.

Григорий Афанасьевич последнее время удивлялся резкому пополнению семейного бюджета, и как-то Мария Алексеевна намекнула мужу на свои коммерческие операции. Вот тут-то и произошла у них первая ссора. Григорий Афанасьевич, разволнованный, кричал, что не потерпит подобных безобразий. Мария Алексеевна кричала еще громче — это случилось днем, и соседи все были на работе. Она кричала, что он не умеет жить, что все кругом воруют, а она, слава богу, еще никогда чужого не брала, но оказать услугу...

Такие ссоры происходили все чаще. Потом супруги разъезжались по «своим дорогам» и возвращались через неделю соскучившиеся, примиренные, но ненадолго. Вскоре вспыхивала очередная ссора.

Их дочери Гале было семнадцать лет. Она только что окончила школу торгового ученичества и работала продавщицей в большом магазине. Это была высокая, плотная, красивая девушка с белокурыми, как у матери, волосами, такая же деятельная и беспокойная. Галя всей душой сочувствовала матери, утешала ее, когда та жаловалась на отца, но в родительские ссоры не вмешивалась. И только однажды, когда отец, окончательно выйдя из себя, поднял руку на мать, Галя, заливаясь слезами, кинулась на него. Тот, опомнившись, сразу умолк, потом, не говоря ни слова, ушел из дому. Вернулся он поздно.

С тех пор Галя еще больше сдружилась с матерью. А мать то и дело подсовывала ей деньги, привозила красивые безделушки. У Гали проснулся жадный интерес к вещам. Она гонялась по Москве за модными кофточками, цветными чулками, дорогими сапожками на меху, стала делать высокую прическу и подводить глаза. Отец в свои редкие приезды домой смотрел на нее с грустью, но молчал.

Однажды к матери заглянул Роберт.

Галя была дома. Роберт окинул ее дерзким, восхищенным взглядом, и она залилась краской. Вечером он пригласил ее в ресторан.

Галя никогда раньше не бывала в ресторане и в первый момент даже растерялась. Громадный, красивый, залитый светом зал, веселые, беззаботные, модно одетые люди, оркестр, танцы, наконец, вино, закуски, фрукты, которые небрежно и щедро заказывал Роберт. Он казался ей необыкновенным человеком, таким красивым, умным, богатым. Они много танцевали, и ей приятно было ощущать его сильные, властные руки, его влюбленный взгляд. Они были действительно красивой парой, — Галя не раз ловила обращенные к ним взгляды и гордилась Робертом. Ей было необычайно хорошо в тот вечер. Прощаясь на лестнице у ее квартиры, Роберт нежно поцеловал ей руки. А она уже была без ума от него.

Вскоре он пригласил ее опять в ресторан, потом опять.

Однажды он предложил остаться дома: мать и отец были в отъезде. Роберт достал из портфеля бутылку коньяку, закуску, апельсины. Это был необычный вечер. Он впервые обнял ее и стал целовать в губы. И Галя легко уступила ему, она ни о чем не думала. Она была влюблена, ей было так хорошо.

Еще два или три раза приходил к ней Роберт, а потом исчез. Галя не знала, что думать. Сначала она беспокоилась, не заболел ли он, потом стала сомневаться, сердиться.

С приездом матери Роберт появился, но приходил он только по делу и смотрел на Галю так равнодушно, словно между ними ничего не было. Она решила с ним объясниться и, улучив минуту, когда мать вышла из комнаты, еле слышно спросила, сгорая от стыда:

— Ты меня разлюбил, Роберт?

Вздыхнув, он с улыбкой ответил:

— Ну, что ты, дорогая. Просто занят.

— Нет, ты меня разлюбил.

Она с досадой почувствовала, как жалобно прозвучали ее слова.

Роберт опять улыбнулся.

— Дорогая, не воспринимай все так серьезно. Мы еще поведемся. Я тебя познакомлю с одним...

Но тут вошла мать, и разговор прервался.

Эту ночь Галю не спала. «Да, да, все такие, все воруют, все обманывают», — думала она. Горе и оскорбление родили у ней злость. Все, все такие! Вот и мать говорит то же самое. Тогда и она будет такой. Роберт ушел от нее? Пусть! Ей вдруг стали ненавистны его холёная внешность, его вкрадчивые манеры, красивые и высокопарные слова. Все обман, все, все! Что ж, она и без него будет ходить в рестораны, пить, кружиться в танцах, ловить восхищенные взгляды. Подумаешь! Найдутся другие. Она ведь такая молодая и красивая. Но теперь она будет умнее, теперь никто не заставит ее плакать, пусть плачут другие. А слезы душили ее, и она кусала подушку, чтобы не разрыдаться и не разбудить мать.

Утром она спросила:

— Правда, мама, все люди — обманщики?

— Да уж честных поискать, — ворчливо ответила та и вдруг, пристально посмотрев на дочь, с угрозой добавила: — Но ты, смотри, в магазине ни-ни, чтобы и в мыслях не было.

— Что ты, мама, — усмехнулась Галю. — Пусть воруют другие. А я... я буду только веселиться.

Мать усмехнулась в ответ.

— Правильно, дочка. Веселись, пока молода.

Галю оказалась хитрой, научилась ловко притворяться. Она мечтала о деньгах, блеске и роскоши, о бездумной, веселой жизни, танцах, музыке, вине, о богатых поклонниках. Но на работе оставалась деловой, расторопной и была на самом лучшем счету.

Вскоре Галю перешла работать в палатку около одного из вокзалов. Здесь она торговала всем: и водкой, и консервами, и папиросами, и конфетами. План она перевыполняла: место было бойкое, к тому же Галю так приветливо улыбалась, так весело отвечала на шутки, что покупать у нее было приятно. Агент, привозивший товар, всюду ухаживал за ней, и потому ассортимент в ее ларьке всегда был самым лучшим. У нее появились постоянные покупатели.

За Галей многие ухаживали, часами любезничая с нею через прилавок, провожали домой, добивались внимания. И она снова порой... уступала наиболее щедрому и симпатичному. Она бывала с ними в ресторанах, танцевала, пила, веселилась. Но это были уже совсем другие люди, чем Роберт. Они были грубее и проще, этих она раскусывала с первой же минуты, командовала ими, насмехалась. Порой ее обижали, тоже грубо и даже жестоко. Она научилась это легко сносить, лишь озлобляясь, лишь делаясь еще расчетливей и хитрее. Она все больше опускалась, сама не замечая этого.

Но домой к себе Галю никого не пускала, домой она приходила одна, тихая и вежливая. Родители и соседи ничего не знали о ее подлинной жизни.

Однажды около ее киоска остановился веселый, круглолицый парень в черной «москвичке», лихо наклонив на одно ухо. Узенькие глазки его блестели озорно и хитро. Парень показался симпатичным. Он пришел второй раз, третий. А потом пригласил в ресторан. Впрочем, он пригласил куда-то еще, но тут Галю умела брать инициативу в свои руки.

Парня звали Николай, только позже она узнала его кличку — Розовый. После второго «захода» в ресторан он ей сказал очень весело и прямо:

— Все, Галочка. Грошей больше нема. А выпить охота.

— Очень сочувствую, — насмешливо отозвалась она.

— А тебе, небось, тоже охота?.. — спросил Розовый, и в голосе его прозвучало что-то недоговоренное.

Галю насторожилась.

— Ну и что?

— А то. Давай выставим какого-нибудь фрейера, а?

— Спасибо. Тебе хорошо. Погулял вечер, и все. А мне возись потом с ним.

— Зачем? — Розовый хитро посмотрел на нее. — Пока у него будут гроши, мне вовсе не все. А когда кончатся, я тебе помогу избавиться. Будь спокойна. Дорогу забудет.

Последние слова он произнес так уверенно и многозначительно, что Галю вся затрепетала в предвкушении чего-то необычного и увлекательного.

— Где ж ты такого дурачка найдешь? — спросила она.

— Это моя забота. Только будь поласковой.

И действительно, он скоро привел какого-то парня. Тот буквально потерял голову при виде Гали. Она с Розовым повеселилась на его счет всласть. Галю доставило какое-то особое, острое, мстительное удовольствие дразнить этого парня. А когда у него не стало денег, он исчез. Об этом позаботился Розовый. Кажется, он что-то рассказал про нее тому парню и чем-то припугнул. Галю это мало интересовало.

За одним парнем появился другой, тоже очень смешной и по-глупому тут же влюбившийся в нее. Над этим они поиздевались еще смешнее. Такая потеха — он предложил жениться на ней! Он по-настоящему мучился, этот дурачок. Он даже в последний раз что-то украл из дому, чтобы провести с ней вечер в ресторане, — она ходила только в самые модные рестораны. И, конечно, Розовый был с ними.

А однажды Розовый подошел к Галиному ларьку с коренастым человеком в дорогой пушистой кепке и распахнутом, несмотря на мороз, пальто. Этот человек с воловьей шеей посмотрел на Галю так властно и цепко, что у нее замерло сердце.

С того дня у нее пошла еще и третья жизнь. С того дня Розовый стал ее слушаться и побаиваться, стал даже заискивать перед ней. Хотя веселиться по способу Розового они продолжали. Новый «друг» этому не препятствовал.

Розовый застал Галю за самым прозаическим занятием: она стирала. Галю так и открыла ему дверь — в стареньком ситцевом халатике, в тапочках на босу ногу, белокурые волосы были небрежно прихвачены косынкой, на распаренном лице глаза казались бесцветными, словно вылинявшими: Розовый привык видеть их густо подведенными.

Галю недовольно спросила, ничуть, однако, не стесняясь своей внешности:

— Ну, чего приперся? Видишь, не вовремя?

В ответ Розовый чуть заискивающе хохотнул.



— А я сей момент же испарюсь, будьте уверочки. Дельце, понимаешь, есть.

— Ну, так и быть — снисходительно сказала Галя, но в глазах ее мелькнул интерес. — Раздевайся и проходи. Я сейчас.

Взглянув на пустую вешалку, Розовый понял, что соседей дома нет, и окончательно приободрился.

Через минуту Галя появилась в комнате, все так же небрежно одетая, и, лениво потянувшись, закинув руки за голову, сказала:

— Скучно что-то, Коленька. Давно мы с тобой не гуляли.

— А чего ж! Можно! — с напускной беспечностью отозвался Розовый. — Володьку, значит, в отставку?

— А ну его. — Галя небрежно махнула рукой. — Пустой он уже.

Розовый бодро ответил:

— Другого найдем, самое плевое дело. Наклюнулся тут один парень. Денежки копит, понимаешь.

Он, конечно, немного того. — Розовый повертел пальцем у виска. — На автомобиле малость свихнулся.

Галя усмехнулась, в глазах зажглись искорки.

— Ничего, Коленька. Мы ему шарики вкрутим. Когда познакомишь?

— Да хоть сегодня. — И озабоченно добавил: — Тут у меня одна закавыка случилась, понимаешь.

— Ну, чего еще? — сухо спросила Галя.

Она не любила выслушивать чужие неприятности, когда к тому же могла потребоваться ее помощь.

— Да ребята цепляются, — пожаловался Розовый. — Сволочи. Тут, понимаешь, один какой-то гаврик вчера вечером ко мне подошел. Я его и знать не знаю. А Федька-Столб его, оказывается, с участковым видел. Ну, и клеят мне теперь.

— Ладно, Коленька. Заткнись, — думая о чем-то своем, равнодушно сказала Галя. — Ах, как хочется гульнуть, Коленька! А то ты просто забыл про меня. — Она капризно надула губки, потом задумчиво спросила: — Значит, сегодня гульнем? А может, еще кого прихватим?

— Это в смысле чего? — насторожился Розовый.

Он не любил присоединять к своей компании еще кого-нибудь из любителей выпить на чужой счет.

— Есть у меня подруженька. Девка своя, будь спокоен. Но... — Галя усмехнулась, — не очень, того, опытная. Ей бы кавалера найти, а, Коленька? Чтоб тоже мог, конечно, развлечь ее, как надо. Вот бы и закатились все.

Розовый задумчиво почесал затылок.

— Кавалера, значит?

— Ага. Культурного только.

— Так. Культурного, значит, ей подавай? — Он снова поскреб затылок. — Та-ак. Поищем сейчас.

Розовый задумался, потом хитро взглянул на Галю.

— Есть один. В самый раз ей будет. — Он сейчас думал о Карцеве. — Но тут, понимаешь, нахрапом не возьмешь, тут сперва всякие шуры-муры нужны. А потом хорошо бы, чтоб припугнули его, а то больно самостоятельным стал.

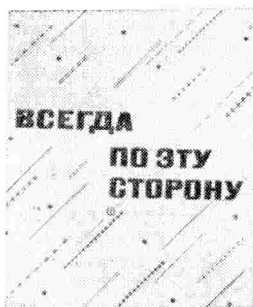
— Будь спокоен, — засмеялась Галя. — Научу всему.

— Учи, учи. Но их мы до другого раза оставим. А этого парня — его Пашка зовут — привязать надо намертво. Чтоб он ради тебя на что хочешь пошел. Ясно? Нам, понимаешь, к среде шофер во как нужен. — И он провел рукой по горлу.

Сговорились они с Галей быстро, и Розовый, успокоенный, ушел.

(Продолжение следует)

Молодежь тридцатых годов зачитывалась книгой Виктора Кина «По ту сторону». В этой книге была показана подлинная романтика трудной и опасной работы и борьбы во вражеском тылу. Виктор Кин не выдумал содержание своего романа, он рассказал о собственной комсомольской юности и юности своих друзей и соратников. Потому этот роман и привлекал сердца юных. Он вышел в 1928 году и ежегодно переиздавался вплоть до 1937 года. Почти на тридцать лет книга была предана забвению, она переиздана лишь в 1956 году. Сейчас она переживает свою вторую молодость, ее читают уже другие поколения. Притягательная сила этой книги не ослабела, ее дерзновенный и романтический дух свойствен юности.



Виктора Кина уже нет в живых. Но вот перед нами книга «Всегда по ту сторону» (составитель и автор послесловия С. Ляндрес. Изд-во «Советский писатель»), где со своими воспоминаниями о Кине выступили плечом к плечу его товарищи, друзья, те, кто с ним встречался, кто его знал. Живые наблюдения, сохранившиеся в памяти, рисуют нам облик человека горячего сердца, высокой искренности и правдивости, настоящего комсомольца тех боевых лет, когда преданность партии и Советской власти проверялась жизнью и кровью. Он предстает перед нами как один из первых комсомольцев Борисоглебска, откуда и отправляется на польский фронт. Он крупный деятель подполья на Дальнем Востоке. О жизни молодых борцов за Советскую власть на Дальнем Востоке — книга «По ту сторону», действие которой происходит в 1921 году.

Затем он избран членом губкома комсомола в Екатеринбург (ныне Свердловск), там же редактирует областную комсо-

мольскую газету «На смену». Газетная работа увлекает его. Вот он уже в Москве, в «Комсомольской правде». Здесь литературная среда, поиски, овладение профессией газетчика. Затем «Правда», Институт красной профессуры. Потом будет Италия, Франция. Но душа его уже отдана литературе. До нас не дошли многие его работы...

В книге «Всегда по эту сторону» с воспоминаниями выступили Л. Славин, В. Шкловский, В. Катанян, С. Маршак, С. Трегуб, Б. Галанов. ...Портретные черты, деятельность Виктора Кина широко освещены его женой Цецилией Кин, его друзьями Г. Литинским, М. Степановым, М. Чарным, А. Арбузовым и другими. Здесь же помещено предисловие к роману «По ту сторону», написанное его близким другом Виктором Шнейдером, также работавшим в подполье на Дальнем Востоке. Шнейдер вместе с Константином Антоновым — одним из организаторов пензенского комсомола — послужил прототипом Матвеева в романе Кина.

Короткие странички воспоминаний доносят до нас обязательный облик человека высокой требовательности к себе и к другим. Но особенно примечательная черта характера Кина — это богатство его стремительной натуры, широта интересов, занятий, круга людей, с которыми он общался. Канов диапазон! Подпольщики, комсомольцы, Маяковский, Островский, Вайян-Кутурье, Горький...

Творческая жизнь Виктора Кина только разворачивалась. Кину было всего 34 года, когда его не стало. Словами Маяковского можно сказать, что он «свое земное не дожил...». Но время вернуло Виктора Кина людям, стране, искусству.

Е. СУВОРИНА

«Есть такие ключи, которые замерзают на зиму, перестают бить. Где-то в глубине вода накапливается, а на виду иссыкает. Приходит тепло — ключ опять бьет. Веру надо побуждать к действию, иначе она — как таковой родник». Эти слова Константина Федина вспоминаются, когда читаешь новый цикл стихов Ираклия Абашидзе «По следам Руставели». Как родник, поэзия Ираклия Абашидзе ждала встречи с Шотом Руставели.

Можно ли встретиться с тенью, видением, легендой? Разве за восемь веков Руставели, о котором мы и без того мало знаем, не превратился в дивный призрак мелькнувшей над горами молнии?

Но где-то же есть камни, сохранившие поступь поэта... Есть холмы и доли, отразив-



шие во взорах Тamar-царицы и Руставели... Ужели невозможна встреча с прошлым? Ведь мы ощущаем его так близко, так нетленно...

Эта встреча произошла. Силу ее испытал Ираклий Абашидзе, многие годы томившийся тоской по Руставели, странствовавший вослед его предполагаемым скитаниям, пока перед ним современным человеком не предстал Поэт. Да, Абашидзе увидел и услышал Руставели. Он так долго словно бы жил его жизнью, мысленно страдал его страданиями, что произошло чудо: Ираклий Абашидзе обрел вдохновение говорить голосом Шота Руставели. Мы втяв, до озноба, поражены невозможным этим свиданием.

Вместе с учеными Акакием Шанидзе и Георгием Церетели Ираклий Абашидзе побывал в Крестном монастыре в Иерусалиме, в Палестине; там открылись им новые следы предсмертных лет Шота Руставели. Поэтическому замыслу, выношенному и облюбованному, был дан страстный импульс. Родилась книга И. Абашидзе «По следам Руставели», достойно высокому оригиналу зазвучавшая по-русски в переводе Александра Межирова (изд-во «Литература да хеловнеба»).

Каждый творец жаждет увидеть свою Мекку. Для Ираклия Абашидзе, замечательного грузинского поэта, лирическое общение с Руставели было поистине открытием художнической Мекки. Руставелиевский цикл Абашидзе — это новые фрески в старинной оправе, воскрешение классической грузинской музыки.

В предисловии к книге Николай Тихонов приветствует труд собрата: «Встреча с Шотом Руставели, новая книга стихов Ираклия Абашидзе, — большое достижение нашей современной поэзии!»

Н. МИКАВА

Что, бы там ни говорили скептики, споры критиков на пустом месте не возникают. Как правило, спорят о книгах талантливых, оригинальных, произведениях серые, « типовые » никого не волнуют... На страницах альманаха « Молодой Ленинград » (1965) выступают почти сорок молодых литераторов, но дискуссия завязалась вокруг произведений Р. Грачева, А. Битова,



И. Ефимова, Б. Вахтина, В. Маразмизина. И это не случайно. действительно, им принадлежат самые интересные вещи в сборнике — на этом сходятся все оппоненты. Другие произведения прозы в альманахе несут на себе более или менее явные следы ученичества, повторяя ситуации, образы и стиль, освоенные и использованные « молодой » литературой лет пять назад (« Профессиональный » уровень поэзии несколько выше, но говорить о самобытности представленных в альманахе дарований на основании двух-трех стихотворений трудно, ничем не блещет критика.) При всей разнице манер (бесстрастная пронизательность А. Битова контрастирует с внутренним лиризмом Р. Грачева, а многозначительность Б. Вахтина — с лукавой простотой В. Маразмизина) при всей разнице манер произведения авторов « Молодого Ленинграда » обладают и известной общностью: объединяет их стремление к скрупулезному психологическому анализу и к постановке сложных нравственных проблем. Их цель — исследовать не психологические мотивы поступка (что тоже не так просто), а нечто еще менее осязаемое — нравственные истоки чувства.

Что, например, происходит в рассказе А. Битова « Пенелопа »? Герой, познакомившись у кинотеатра с девушкой, которая то ли навязывается ему, то ли ищет у него сочувствия, после сеанса убегает, стыдясь жалкого вида своей соседки. Но фабула не дает представления о содержании « Пенелопы »: авторское внимание почти целиком отдано постижению затаенных эмоций. Это рассказ о страхе быть самим собой, о привычке не доверяться своим чувствам, о внутренней ско-

ванности, которые таят бездушные. Что об этом подумают, как это выглядит со стороны, не попадает ли он в ложное положение — герой не в состоянии выбраться из обступающих его со всех сторон условностей. Он понимает, что его случайная соседка несчастна, что она нуждается в помощи — чем-то она даже задела его сердце, — но страх поступить, безоглядно доверясь первому движению души, оказывается так силен, что он бежит, оставив человека в беде. И как бы ни были смутны переживания героя, цель, которую преследует автор, понятна: А. Битов изобличает психологию отступничества, равнодушия.

Однако произведения, о которых идет речь, не только близки по направленности, им присуща и одна общая слабость. Обращаясь преимущественно к миру интимных переживаний, что само по себе не может быть ни достоинством, ни слабостью, они при этом недостаточно вскрывают их конечную обусловленность общественными обстоятельствами.

Да, даже лучшие вещи альманаха не лишены слабостей. Но замысел ленинградских писателей заслуживает всяческой поддержки. Пусть альманах молодых станет изданием регулярным. Потому что людям одаренным необходим контакт с читателями, только в этом случае их развитие идет естественно и они обретают то, без чего вход в большую литературу закрыт — ответственность перед людьми, для которых они пишут.

Л. ЛАЗАРЕВ

Книга Сергея Лукьянова называется « Жизнь А. С. Голубкиной » (издательство « Детская литература »). И действительно — на ее страницах возникает живой облик талантливого, честного человека. В русскую скульптуру девяти-сотых годов Анна Семеновна Голубкина привнесла дух непокорства, обостренное чувство общественного неустойства, стремление к красоте.

Книга С. Лукьянова не искусствоведческий очерк. Она построена на биографическом материале, на письмах Голубкиной к матери и близким, к своему учителю Огюсту Родену. Читатель получил возможность на основании точных документов проследить духовную борьбу Голубкиной за право на творчество, борьбу с мрачной царской действительностью. Но читатель замечает и другое: любовь художника к жизни, к

людям, его умение откликаться на самое потаенное присутствие добра и красоты.

Голубкина была человеком держащей мысли, плодотворного сомнения, разумной непротивности. Ее образы запечатлели пробуждение человека от темного, рабского существования к « буре деяний ». Приход Голубкиной в революционное движение, поддержка ею социал-демократической рабочей партии были моральной закономерностью.

Отношение Голубкиной к со- вести художника принципиально и самоотверженно. « Искусство связанных рук не любит, — писала она. — К искусству надо приходить со свободными руками. Искусство — это подвиг, и тут нужно все забыть, все отдать... »

Повествование в книге начинается с описания жизни семьи Голубкиной в Зарайске. Учитель Анне Семеновне довелось лишь у дядьки — грамоте. Только двадцати пяти лет удалось ей приехать в Москву. А затем — Петербург, Париж... Внешние обстоятельства жизни



были для Голубкиной столь трудными, что, казалось бы, ничего не оставалось сделать, как разочароваться во всем, уйти на обочину современности. Автору удалось показать, как Голубкина нашла в себе силы не отступить, как упорная работа приводила к успеху. И тогда возникали ее замечательные скульптуры — « Железный », « Рабочий », « Идущий человек », « Сидящий человек », портреты, композиции...

И. КУПЦОВ

Перо Марка Щеглова

Первая большая статья Марка Щеглова «Особенности сатиры Льва Толстого» появилась в 1953 году. В ней сразу заявил о себе талантливый критик. Затем мелькнули три года, но это было все, что жизнь отпустила Щеглову; только что окончив филологический факультет Московского университета, он пылко и целеустремленно работает, печатается, обретает читателей, почитателей и недругов. Не многие знали, что над ним с малых лет стоит призрак гибели — паралича, что его труд — подвиг.

В 1956 году Эм. Казакевич пишет Марку письмо: «Думаю, что в Вашем лице советская литература приобретает критика выдающегося. Я не боюсь сказать Вам это: глубокий ум, который Вы так блестяще обнаруживаете, легко оградит Вас от самодовольства перед лицом чьих бы то ни было похвал — моих или людей более значительных, чем я».

Эти слова были высказаны незадолго до смерти Марка Щеглова. Он умер от туберкулезного менингита 2 сентября 1956 года, на тридцать первом году жизни.

Минуло десять лет, но Марк Щеглов остается с нами. Современное и живо вышедшее вторым изданием в «Советском писателе» собрание его литературно-критических статей (составитель В. Лакшин). Оно шире первого; отметим, что в него дополнительно включены статьи М. Щеглова «Реализм современной драмы» и «Русский лес» Леонида Леонова», а также юношески чистая исповедь Марка — его дневники и письма (к сожалению, тираж у книги более чем скромный — всего семь тысяч экземпляров).

Марк Щеглов понимал, что существует общественная потребность в авторитетном критическом слове. Социальная миссия критика сознавалась им остро. Его разборы романа Леонида Леонова «Русский лес», повести Сергея Антонова «Дело было в Пенькове», романа Осипа Черного «Опера Снегина», рассказов Ильи Лаврова, пьесы Александра Корнейчука «Крылья», современных очерков и других произведений перерастали рамки обычного рецензирования, становясь актом общественной мысли.

Так, опираясь на образ Грацианского в леоновском «Русском лесе», Марк Щеглов обнажает дьявольский смысл волюнтаризма подобных типов. Критик мастерски использует социальный заряд леоновского образа и с глубоко партийных позиций атакует грацианских. Они, обобщает Щеглов, представляют «тенденцию, которая в романе связана с лесными делами, но может проявляться в различных областях. Заключается она в том, чтобы демагогически оправдывая свое преступление, стирать с лица земли то, чего не вернуть, — неповторимые дары природы, памятники древности, искусства». Далее Щеглов пишет: «Л. Леонов создает в Грацианском тип той гнусности», которая действует,

«умело и с изощренной лживостью прикрываясь высокими понятиями и идеями», действует «к глубочайшему вреду для великого дела».

Молодой критик находит точный эквивалент образа: «Грацианский — носитель патетического мешанского радикализма, выступающего в ореоле бдительности и мнимой идейной принципиальности».

Марк Щеглов ставит беспощадный диагноз «методам» грацианских: они действуют «в форме ложной ортодоксии, умения взрывать изнутри любое ценное мероприятие, любую животворную идею, доводя их до абсурда».

Это с их помощью, говорит Щеглов, «формируются ложные авторитеты, подавляющие подлинную критику, и аргументом в спорах становятся не истины, не доводы, а ряд магических формул, пользуясь которыми грацианские делают чуть ли не игром совести. И вот в такой стесненной обстановке Грацианский, не способный выдержать в чистом поле настоящего боя, говорит уже от имени целого коллектива и судит, кто «наш», а кто «не наш». Это он-то судит, несчастный

душевный карла, самгинское семья».

И вот уже критик сам судит грацианских, произнося свое веское, оптимистическое, клеймящее слово.

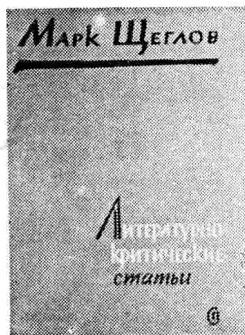
Марку Щеглову близки были люди беззаветных стремлений и идеалов. Он ценил героев, которые хотя и в любом случае знают смысл, цель и оправдание поступков. Щеглов настаивает: «...разные люди по-разному видят общее... герой нашего времени приходит к великим идеям и нормам эпохи, своим умом, чувством, душевным ростом зарабатывая право на высшее мировоззрение, на социалистический характер поступков и отношений».

Любимое слово Марка — «жизнь». К нему сходится все.

Он ощущал жизнь как искусство искусств, а красота слов, музыки, картин была для него непрерываемым голосом самой жизни. И обаяние писательской манеры Щеглова, того, что на кончике пера, что неуловимо и неподражаемо, — это трепет жизни. Жить для него означало быть «в лагере Добра — прирожденно...».

В конце концов, как написал Щеглов одной юной читательнице, дело не в тех или иных статьях, «а в более широких и мужественных вещах». В том же письме сказаны слова, звучащие как «верую». Вот эти слова: «Мы живем в необыкновенное, суровое, полное нежданного-негаданного время. Думайте о серьезном, ничего не бойтесь, будьте всегда честной и любите людей. Когда я вижу, сколько на свете чудес, сколько любви, хороших людей, дорогих слов, картин, музыки, когда я знаю, что стоит только позвать — и сколько всех нас откликнется! — то можно терять голову. Все будет хорошо!»

Станислав ЛЕСНЕВСКИЙ





● Леонид Волынский

СУЗДАЛЬСКАЯ ЗИМА

Моя
Роди-
на

Из Владимира на север дорога идет через суздальское ополье. Впереди и вокруг — чуть круглящиеся холмами заснеженные поля, редкие перелески — ельнички, березовые прозрачные рощицы. Белизна, сероватое небо, желтое солнце неярко светит сквозь морозную марь.

...Еще несколько километров пути — и вот уже впереди из снежно-белого окоема-океана медленно поднимается потонувший град-Китеж старинной сказки; над горизонтом встают шатры колоколен, белые стены, башни, синие в золотых звездах купола кремлевского собора. Суздаль.

I

Здесь гостиница (два этажа, разлапистая пальма на лестничной площадке, горячая и холодная вода в номерах) построена недавно. Летом тут, должно быть, далеко не так малоплюдно.

Умывшись с дороги, я вышел наружу. Похолодало, спустились синие сумерки, а с ними поблескивающий снежными искорками, леденящий губы мороз. Небо до

прозрачности очистилось от дневной дымки. Малиновый закат не обещал потепления. Пожалуй, трудно было бы выбрать миг, более подходящий для первого взгляда на Суздаль.

Прямо перед гостиницей лежала заснеженная просторная площадь. Галки вились в небе над приземистым зданием купеческих «торговых рядов». Лавки еще не закрылись, в глубине между присаженными колоннами кое-где желто светилось. На другой стороне площади розовато белела стенами необширная приходская церковь; над пятью ее куполами-главками, темными, будто почерневшее серебро, тоже вились птицы. Купола рисовались в небе небольшие, как бы на радость-забаву выточенные рукой, знавшей тайны столичного стиля барокко.

Да это и был восемнадцатый век, самое начало.

За пятью игрушками-куполами, ловко и уверенно поставленными на четырехскатную крышу, виднелся шатер каменной колокольни, высокий и необычный: линии граней шатра были не прямые, а чуть вогнутые, смягченные, будто каменная кладка поддалась, по-



Из книги путевых очерков. Печатается с сокращениями.

Вверху диногравюра Л. Ройтера. Суздаль. Покровский монастырь.

корилась руке мастера, огладившего напоследок вершину строения.

Таких шатров я не встречал нигде; теперь они стали для меня памятной приметой Суздаля — в необыкновенном соседстве с изящной выточенностью приходских луковок, с простой, будто монашеская скуфья, округлостью крытых потемнелым лемехом старых монастырских куполов, с былинно-сказочной, в золотых звездах синью кремлевских соборных глав.

Придется, не придется ли побывать еще в Суздале — все равно останется при мне тот первый вечер. Скрип снега, догорающая полоса заката, малолюдье. Где-то пролаяла с подвывом собака, где-то затеплилось в синеве окно. Восемь столетий спят под единым небом на этой земле, пушисто застланной чистейшим глубоким снегом.

Кажется, с самого детства не видел таких снегов. Признаться, думал, что и вообще-то теперь таких не бывает. Но вот ведь есть! Рассыпчатые, незатоптанные, с разметенными вдоль бревенчатых домов тропками, с твердо поблескивающими следами мальчишеских салазок на крутоярах.

Все-таки мне повезло; можно, конечно, приехать сюда и летом, оно вроде бы даже способнее: теплынь, день долгий, ходи, гуляй, смотри. И все же, я думаю, зимой тут лучше, вернее. Зелень в солнечных бликах, рыжеватые пятна суглинка, тихая голубизна реки — все это, спору, нет, прекрасно, как могут быть прекрасны среднерусские задумчивые края. Но белизна снегов и прозрачная оголенность деревьев дают увидеть Суздаль с особенной проясненностью.

Суздальские белостенные монастыри стоят на белых снегах, будто вырубленные из обывающего льда. Они неотделимы от этих снегов, вместе с ними розовеют на закате, одеваются предвечерней синью и теплеют в полдень солнечными отсветами. Немногие мазки красного, черно-серебряного, зеленого, синего — стены отдельно стоящих церквей восемнадцатого столетия, пятна старых куполов — брошены на белое, как яркая грудка снегири или лазоревки, вспорхнувшей на отягощенную снегом ветку, чтобы оживить картину спящего зимнего леса.

Суздальская зима дает взглянуть в прошлое. Она открывает глазу оттенки, которые, быть может, летом не так чисты, не так ясно рассказывают о долгой и протяжной, будто старая былина, судьбе этого единственного в своем роде города.

2

Исшагав из конца в конец синеющий вечерними снегами Суздаль, я вернулся в гостиницу и еле дождался утра, чтобы выйти вновь. Мороз ничуть не устал; всю ночь на площади фырчала заночевавшая тут колонна автомашин-тяжеловозов.

Солнце светило ярко и холодно. Над куполами, над шатрами колоколен вились галки. Радио разносило по всей площади рассказ под названием «Добро пожаловать в Беловежскую пущу».

Провожаемый возвышенными интонациями диктора, я свернул с площади и пошел в сторону кремля. Синие, в золотых звездах купола Рождественского собора виднелись над зубцами белых крепостных стен.

Поначалу стены мономахова кремля были деревянными; перерезав излучину рвом, князь превратил свою крепость в остров. Теперь виден и заснеженный глубочайший ров, где могло бы спрятаться десяти-

этажное здание, видны и высокие валы, на которых стояли бревенчатые стены с шатровыми башнями и проездными воротами.

На месте, где стоит пятиглавый Рождественский собор, высился сначала другой, Успенский, поставленный зодчими Мономаха по образцу Успенского собора Киево-Печерского монастыря. Сложенный из плинфы — плоского красно-розового кирпича, как строили в Киеве, он прожил немногим более столетия и был заменен белокаменным.

Новому собору досталось, как доставалось Суздалью: его жгли и грабили свои и чужие, а вдобавок еще и уродовали перестройками. Деятнадцатый век, в общем-то пощадивший Суздаль, к собору все же приложился: его обмазали снаружи цементной штукатуркой и выкрасили в красный цвет. Лишь в 1949 году реставраторы принялись удалять уродующую обмазку; потребовалось немало времени и усилий, чтобы открыть белизну стен с остатками древней резьбы.

Сохранившийся со времен Юрия Долгорукого колончатый аркатурный пояс, охватывающий здание на половине высоты, напоминает, что именно суздальские края были истоком широкой реки владимиро-московского зодчества и что сыновья Долгорукого, пожелавшие возвысить Владимир, черпали отсюда, из Суздаля, из Кидекши, где и теперь стоит первенцем здешнего стиля белокаменная церковь Бориса и Глеба, перетерпевшая все, что доставалось тут на долю древних строений. Как и Рождественский собор, ее жгли и грабили, перестраивали после пожаров, растесывали узкие окна-бойницы, заменили сводчатое покрытие четырехскатным, а на место древнего купола, так напоминавшего шлем русского воина, поставили луковичную главку.

Но даже при всех искажениях видно, чем отвечали суздальцы своему времени, что противостояло здесь напору византизма. Белокаменная резьба Рождественского собора дышит тем же вольным жизнерадостием, что и резьба владимирских соборов; и тут полуязыческие, былинно-сказочные мотивы звучат смело, не заглушенные царьградской идолобоязнью.

На южном портале — уступчатом белокаменном обрамлении одного из входов в Рождественский собор — можно увидеть любопытную подробность: шаровидную «дыньку» на резной колонке. Узорчатое каменное тело колонки тут как бы перехвачено на половине высоты двумя жгутами, между которыми и взбухает гладкая, не тронутая резьбой «дынька».

Кто видел крыльца северно-русских деревянных построек, не мог не заметить таких сработанных топором и стамеской перехватов на бревенчатых столбах-опорах; из старинной деревянной резьбы выросла любовь суздальцев к резьбе каменной, к узорочной нарядности.

Но сверх того — есть в шаровидной, вздувшейся, будто напряженная мышца, «дыньке» еще и другой смысл: она не только украшает, а и выражает пластически напряженность колонки-опоры, ее «работу». Таково художество истинного зодчества — оно служит правдивому выражению мысли.

«Дыньки» на портале Рождественского собора — самые древние из существующих. Лишь спустя столетие они появляются в Москве, занесенные туда суздальскими «холопами-каменщиками», и сдлаются одной из самых характерных примет раннемосковской архитектуры.

Суздальские строители славились мастерством. Здешние «писцовые книги» хранят имена вызванных после разрухи смутного времени в Москву — «церковные и дворцовые и плотные и городовые разные каменные дела поделати»: Ивашко Федоров сын Ко-

зин, Ефимко Студенцов, Осташко Иванов... И среди многих других странно звучащее: Пятунька Григорьев, сын Треисподнев...

В то время — в начале семнадцатого века — в Суздале жило свыше полутора сот ремесленников: плотников, гвоздарей, котельников, серебряников. Тут были часовщики, пушкари, свешники, мыльники, овчинники, седельники, обручники, сапожники, скорняки, пивовары, ситники, холщовники. Был один किसान, одна пуговишница, шестнадцать портных. Но более всего насчитывалось в Суздале каменщиков, и более всего осталось теперь следов их жизни, их труда.



Лютый мороз заставил меня завязать тесемки шапки-ушанки под подбородком, без перчаток пальцы вмиг свело, ноздри сухо слипались, — и все же было хорошо, как редко бывает. Прекрасны были черные с золотом врата Рождественского собора, редчайший памятник старинного прикладного искусства, с необыкновенно изящными и как-то по-современному лаконичными рисунками в «клеях» (так назывались ограниченные выпуклыми валиками квадраты, в которых помещены рисунки, сверху донизу покрывающие створки ворот).

Огневое золочение — любопытная техника, чем-то предшествующая технике гравюры. Медные пластины чернили особым лаком, затем процарапывали контуры изображения иглой, выскабливали, после чего пластину промывали и смазывали смесью ртути с золотом — амальгамой. При сильном нагреве ртуть испарялась, а золото накрепко соединялось в очищенных скоблением местах с медью.

В черно-золотых квадратах-клеях, кроме графично изысканных рисунков, есть и поясняющие надписи древнерусским письмом, и это еще больше напоминает о гравюре, а заодно и о том, что именно зодчество было колыбелью и школой других пластических искусств. Об этом нельзя забывать, размышляя о сегодняшней, современной архитектуре. Я думаю, именно ей суждено решить, какова будет завтрашняя живопись и скульптура. Пластические искусства должны возродить и непременно возродят свое природное единство.

О сродстве искусств здесь напоминают и частично расчищенные внутри собора строгие рисунки фрески тринадцатого столетия и цветистая узорочная керамика на шатре восточного крыльца архиерейских палат. На другом, западном, крыльце сидит наверху высокого шатра сокол — старинный герб Суздала.

Последнее время то и дело слышишь, что не худо бы нашим городам иметь свои эмблемы, свои гербы, как водилось в старину. Что говорить, ничего худого в таких предложениях нет. Но прежде, наверное, следовало бы подумать об особенном лице каждого города, о местных традициях, возникающих естественно, а не из газетной инициативы, и о бережном к этим традициям отношении. Обезличенному, состоящему из повсеместно возводимых коробок городу самый лучший герб ни к чему.

Архиерейские палаты Суздальского кремля — один из нечасто встречающихся крупных памятников «мирского», гражданского зодчества допетровской Руси. Обширное, тупым углом развернутое трехэтажное здание складывалось на протяжении трех веков. Его первоначальная суровость, отзывавшаяся духом средневековья, смягчена в семнадцатом столетии каменными наличниками на окнах, разными по рисунку во всех трех этажах. Зубчатые и стрельчатые архивольты, опирающиеся на боковые полуколонки с

«дыньками», — все это снова наводит на мысли о любви суздальцев к разнообразной нарядности и о деревянном северном зодчестве, из которого тут опять выросло все.

Внутри здания помещается теперь музейная экспозиция, и там среди многих других любопытнейших экспонатов я увидел портрет Соломонии, первой жены царя Василия Третьего, в монашеской одежде, с лицом, прикрытым черной прозрачной завеской. В Суздале разыгралась одна из мрачных и таинственных драм, какими так богата история царствований.

Русские цари осторожно выбирали себе жен, взвешивали многое: из какого рода, хороша ли собой, здорова ли. Устраивали смотрины, на которых десятки невест, тяжело наряженных в парчу, соболя и червленые бархаты, цепенели до обмороков под царским испытующим взглядом.

Соломония, взятая царем Василием из старинного боярского рода Сабуровых, не смогла в первый год родить царю наследника. Ее обвинили в бесплодии, насильственно постригли в монахини под именем Софии и сослали из Москвы в суздальский Покровский монастырь.

Насильственное пострижение было одной из распространенных форм освященного церковью произвола, одним из способов византийски-бессудной расправы. Вот краткий, но выразительный рассказ о ходе такой расправы над дочерью казенного императрицей Анной боярина Артемия Волынского: «... на обычные вопросы об отречении от мира, постигаемая осталась безмолвною; но вопросы следовали по чиноположению один за другим. Безмолвную одели в иноческую мантию, покрыли куколем, переименовали из Анны Анисию, дали в руки четки, и обряд пострижения был окончен».

Таким же порядком, надо думать, расправились и с Соломонией Сабуровой. Но кульминация драмы была впереди. Пробыв короткое время в Покровском монастыре, Соломония-София дала знать в Москву, что все-таки родила царю наследника. Всполошенный известием, Василий погнал в Суздаль ближних бояр проверить.

Шестнадцатый век не двадцатый; три сотни верст — немалое по тем временам расстояние. Когда бояре прибыли в Суздаль, они узнали, что новорожденный наследник, нареченный в крещении Георгием, умер, скончался. Соломония показала младенчески малую белокаменную намогильную плиту в монастырском соборе.

Развязка драмы остается загадочной; когда в 1934 году подняли белокаменную плиту, в склепе обнаружилась деревянная кукла в детской рубашечке. Эта рубашечка, темно-коричневая с золотым шитьем, хорошо сохранившаяся в сухом склепе, со штычками на старорусский лад подмышечными вставками-потничками из другой, более легкой ткани, висит расправленная под стеклом в музейной витринке рядом с портретом, где сквозь черную монашескую завеску глядят на тебя немой пристальный взором по-восточному удлинённые, темные глаза несчастной Соломонии-Софии.

Есть в экспозиции портрет еще одной жертвы насильственного пострижения — Евдокии Федоровны Лопухиной, первой жены Петра и матери казенного царевича Алексея.

Сосланная сюда двадцати девяти лет от роду, она и тут осталась верна своему беспокойному, пустоватому нраву: развлекалась по мере возможностей, ездила гостить-гулять в ближнее село Покровское и даже будто затеяла противцарскую интригу, за что была перевезена в Шлиссельбург, оказавшись первой в длинном ряду жильцов новой государевой тюрьмы.

Петровское новшество — крепость-тюрьма — положило почин новому виду мест заключения, взявшему на себя часть обязанностей, которые до того (да и после) с успехом исполняли монастыри. Монастырские подклеты-подвалы истари оснащались колодками, кандалами, плетями, кузнечными горнами, клещами и прочими принадлежностями пыточных допросов, а святые отцы выказывали нужное мастерство в «заплетных делах».

Так было не только на Руси, а и повсюду, где человеколюбивая церковь учила смирению и покорности. Жестокости инквизиции широко известны, но сравнительно мало известны тайны ватиканских застенков. Ореол покровителей наук, искусств остается за «наместниками апостола Петра», среди которых были такие изощренные убийцы, как папа Урбан Шестой, гулявший с молитвенником, нюхая цветы и прислушиваясь к стонам и воплям пытаемых.

Суздальские верховные пастыри тоже славились смиреннымудрием и покровительствовали искусствам. Один из них, митрополит Илларион (при нем растесали окна Рождественского собора и поставили там огромный, высокий, золоченый иконостас с темными иконами работы монаха Григория Зиновьева), был заживо причислен к лику святых. В музее хранится прижизненное «Сказание о житии», но там вы не найдете упоминаний о двадцати трех личных слугах, шестидесяти шести стрельцах охраны, о ста двенадцати выездных лошадях и о вотчинных митрополичьих владениях: слободах, селах и деревнях в окрестностях Суздаля, во Владимирском и Московском уездах.

Под архиерейскими палатами была сырая вместительная темница с колодками и цепями для провинившейся крепостной пасты. Довольно места было и в подвалах-подклетах четырех суздальских монастырей, один из которых стал в восемнадцатом веке общерусской тюрьмой для «безумствующих колодников», то есть для религиозных и политических вольнодумцев, признанных умалишенными. Объявлять несогласных сумасшедшими — изобретение, как видно, не новое.

Чтобы дорисовать картину, приведу «Роспись яствами в столы» — меню праздничной трапезы из «кормовой книги» суздальского Покровского монастыря (трапеза была постная, рыбная, а бывали и мясные — всего до 60 в год): «Икра, вязига, щуки паровые, стерлядь, лещ, язь паровой, олады, уха щучья, пирог, разсоленьник, уха плотичья, пирог-звезда со стерлядью, уха стерляжья, пирог-селедка, уха окуневая, пирог-звезда со щучиной, уха язевая, пироги долгие караси, стерлядь под взваром, щука под разсолом, лещ, белужина». Что говорить, умели поест в святых обителях. Да и рыбы, видно, немало водилось в тогдашней, необмелевшей Каменке, в полноводной Нерли и других ближних реках.

З

Я вышел из архиерейских палат наружу, на холодное яркое солнце. Небо к полудню сухо заголубело, стволы старых берез за крепостной стеной казались розово-желтыми на фоне заречной подсиненной белизны. Проваливаясь чуть не по колено в рассыпчатый снег, я обошел палаты вокруг, чтобы еще раз взглянуть на бревенчатую церквушку, перевезенную сюда недавно из села Глотова, Юрьев-Польского района. Привезли ее, наверное, потому, что в Суздале нет ни одной

деревянной церкви; когда увидишь эту (она зовется Никольской) стройную, будто песная лань, с легкой галерейкой-гульбищем, с граненой алтарной частью, крутыми тесовыми крышами и чутко поставленной наверх чешуйчатой луковкой, то лучше понимаешь, чем рождена легкая стройность ее ровесницы и тезки — каменной красно-белой Никольской церкви, стоящей неподалеку в пределах кремлевских стен.

Суздальский мягко вогнутый шатер был как бы ответом здешних каменщиков на далекий вызов столично-заморского стиля барокко, так же как и луковки-купола, изящно точенные, поставленные по-разному на стройные башенки-барабаны; поражаешься, откуда только взялась тут такая изысканность линий, такое изящество силуэта, такое разнообразие. При общем сродстве не найдешь одинаковых; в каждом своя подробность, свои сопряжения выпуклых и вогнутых, упруго круглящихся форм. Таково ведь и семейное сходство цветов — а взглядишь, попробуй найти одинаковые. Природа не хочет знать однообразия, как не должно его знать искусство.

Богобоязненные посадские люди, суздальские прянишники, оловянники, кузнецы, рудометы, купцы и огородники будто сореизносились между собой, расставляя густо по берегам Каменки свои приходские храмы, «холодные» и «теплые». На протяжении каких-нибудь семидесяти лет, с конца семнадцатого по середину восемнадцатого века тут поднялось более двадцати таких «парных» церквей — маленьких живописных ансамблей из двух рядом стоящих зданий с шатровой колокольней.

Белые кубы и призмы украшены каждая по-своему — изразцовыми цветистыми вставками-ширинками, выложенными в кирпиче баясинками, стрельчатыми кокошниками. Башенки под куполами тоже сложены каждая на свой манер, со своим рисунком кладки.

Трудно выбрать пучшую из двадцати; и все же отчетливее других запомнилась Козьмодемьянская, на крутом берегу Каменки, с двумя разновеликими и разновысокими луковками, с белеющим в небе граненым стройным шатром, чуть вогнутым, в черных черточках окошек-«слухов», сквозь которые далеко разносился колокольный звон.

Эта церковь (вернее, «пара», две рядом стоящие с колокольней) рисуется мне и посейчас каким-то предельно ясным образом, где воедино собрались и выразились накопленные веками понятия о хорошем, ладном и складном и, если хотите, об извечных началах жизни, о мужественности и женственности. Слово «пара» показалось мне тут как нельзя более отвечающим той одушевленности, что исходила от близко и дружно стоящих сооружений — одно повыше, другое пониже, с каким-то природным сочетанием силы и мягкости, выраженным в линиях, в сочетаниях твердых и округлых форм. Казалось, уберись отсюда эту одиноко стоящую пару, и померкнет, осиротеет высокий заснеженный берег, и не на чем будет остановиться глазу.

Под крутизной на белой Каменке понурилась мохнатоногая лошаденка. Возница наливает из проруби обмерзшую сосульками бочку, поставленную на полозья. Лошаденка тронулась, встряхивая головой за каждым шагом, двинулся и я, — оторваться трудно, нелегко и стоять на мосту на двадцатипятиградусном ветре, тянущем из ополья.



Дважды в день я отогревался в гостиничном полупустом ресторане. Официантки в крахмальных наколках шептались о чем-то своем у буфета. Проезжие шоферы, краснолицы и краснорукие с мороза, под-

креплялись горячим борщом и толсто нарезанным хлебом. В углу дымили сигаретами нездешние молодые люди — двое в узловатых рябых пиджаках и длинноволосая девушка в очках и голубых спортивных брюках с лыжными ботинками, — не то иностранцы, не то наши москвичи-студенты. Шоферы с завистью поглядывали на их пустеющий графинчик.

Отогревшись, я неторопливо выкуривал папиросу и снова принимался мерить Суздаль из конца в конец. Солнце клонилось к закату, красноватые отсветы падали на снега. Удлинялись, холодно зеленели тени. В такой час я и увидел Покровский монастырь, где были заточены Соломония Сабурова и Евдокия Лопухина.

У самого вылета улицы Ленина на Иваново надо свернуть влево и спуститься по накатанному салазками следу к реке — туда, где женщина склонилась над прорубью, полощет белье. Ярко алеет пятнышко платка на ее голове; в прорубленном квадрате струится, убегает темно-стеклянная вода. Рядом — протоптанная на другой берег тропка. Там, вдали, растянулся белыми стенами, темнеет разновеликими скуфьями куполов Покровский монастырь.

Надо идти туда. Обойти вокруг чуть откинувшихся как бы наизготовку стен с узкими щелями бойниц, с боевыми объемистыми башнями. Надо войти в крепостные ворота с надвратной белозлатоглавой церковью начала шестнадцатого века, пройти мимо молчаливой Приказной избы, под которой была монастырская тюрьма-темница, к трехкупольному Покровскому собору, подымавшемуся в те годы, когда Русью правил отец Ивана Грозного.

Собор поднялся белый, с темными плоскими куполами-скуфьями на крутых башнях, белый, с узко чернеющими щелями окон. Белый снаружи, белый внутри, белый с черным глянцевым полом.

Нет, я не оговорился: пол собора был действительно черный, сплошь вымощенный глазурованными гладкочерными изразцами. Можно представить, как выглядели на этом полу инокини, черные на черном, среди смертной белизны стен и высоких сводов, перед темным, будто спекшаяся кровь, иконостасом, отделявшим алтарь и ризницу, где хранились щедрые царские дары. Можно представить, как плавились в смоляной черноте огоньки свечей, как желтели над огоньками лица...

Кажется, никогда не испытывал такого соприкосновения с прошлым, такого чувства движения времени. Вот ведь до чего изменилось все за три с половиной столетия, с той поры, когда сиял червонной медью пол расписного белокаменного собора над Клязьмой! Значит, бывает белизна молодости, света, но может, оказывается, существовать и белизна тьмы.

Такое у меня было чувство, когда я взшел на высокое соборное крыльцо и заглянул внутрь. Последние лучи дня озаряли внутреннее пространство, оголенное, ясное, твердое, как окончательный приговор.

По сводчатой галерее-гульбищу я обогнул собор. Впереди широко открылся берег и два других монастыря за рекой. Слева — кровянисто-красные стены и граненые башни Спасо-Евфимиевского, державшего при первых московских князьях рубеж обороны (при последнем русском царе сюда готовились заточить Льва Толстого). Справа — высокая белая колокольня-шатер Александровского...

Кажется, вот-вот ударят в колокола, и поплывет над Суздалем вечерний малиновый звон, и затеплятся свечи, и двинутся чередой по белым снегам черноризцы.

Но нет — молчат колокола. Багровое солнце коснулось окова, сплюсилось, съежилось от прикос-

новения, чуть помедлило — и ушло, оставив догорать зарю. На дороге-владимирке прогудела машина. Зажглись редкие фонари, кое-где затеплились окна. На снега сплошь легла синева. Еще один суздальский день окончен.

4

Нашагался по скрипучему снегу, посмотрелся, надышался чистейшим кислородом суздальской зимы, согрелся чайком — и спать. Ложишься с курами, просыпаешься с петухами.

Ночью батареи отопления поостыли; за обыденным окном покачивается под ветром непогашенный фонарь. Тихо. Выprostал из-под одеяла руку, нащупал в темноте папиросы, спичечный коробок.

За яркостью первых впечатлений как-то не вдруг улавливаешь пульс здешнего будничного бытия. Мелькают разрозненные картины: Дом культуры с неизменными колоннами, маслозавод, желтое здание бывшей богадельни — там теперь школа механизации сельского хозяйства. Продмаг под аркадой «торговых рядов», женщина в пуховом платке высчитывает продавцу: «Масла полкило, селедок штучки две, песку...» Засупоненный шарфом малыш дергает за юбку, требует: «Мамка, шоколадку!» Рядом в полупустой Воскресенской церкви отпевают покойника. Желто теплятся свечи, у открытых дверей шуршат на ветру крашеной стружкой венки. По дороге на Иваново промчался пассажирский автобус, навстречу — две автомашины с прицепами...

Не так давно я прочел в «Правде» статью К. Г. Паустовского «Судьба маленького города». Там речь шла о Тарусе — о том, что в недавно еще заброшенном городке на живописном берегу Оки теперь поставлено семь новых жилых домов, пробурены две артезианские скважины, построена водонапорная башня, трансформаторная подстанция, проложено 14 километров водопроводных труб и сделано еще несколько полезных и добрых дел. «...Таруса закрепляет два новых своих лица — города художников и города отдыха», — писал Паустовский.

Каково же лицо (или, может быть, два лица) Суздаля? Карманный путеводитель отвечает кратко и безоговорочно: «Суздаль — город-музей».

В предутренней тишине у меня было достаточно времени подумать над этим определением, но я не находил в нем успокаивающего ответа.

Слово «музей», приложенное к городу, отзывалось чем-то мертвым, кладбищенским. Оно как бы оправдывало и закрепляло глубокую черту, так разительно отделяющую здесь прошлое от сегодняшнего дня, сегодняшний день от прошлого.

Что говорить, не худо бы построить и здесь водопровод, — пора бы суздальской «мамке» не стоять у проруби на коленях над грудой белья, не носить ведра на коромысле. Канализация, замощенные улицы, прачечные, может быть, даже газ — все это, спору нет, хорошо и необходимо.

Но судьба маленького города решается, наверное, не только метражом новопостроенного жилья или водопроводных труб. Гораздо существеннее другое: чем живы, чем дышат здесь люди. Точнее говоря, чем жива молодежь.

Наверное, не каждый стремится стать комбайнером или трактористом, да и не вместила бы школа механизации подрастающие суздальские поколения. Не вместили их и маслозавод и вареньеварочный, громко говоря, заводик. Что-то не слышно молодых голосов над здешними снегами; дороги отсюда открыты на

все четыре стороны. Посторонним жильцам должно быть неловко, неуместно в музейных залах.

Судьба Суздаля казалась мне обидно несправедливой. Я думал о жизни, какая течет за окнами бревенчатых домов с затейливыми наличниками, с кружевными подзорами, старых теплых уютных домов, затерявшихся меж церквями, колокольнями, монастырями, и о том, как могла бы эта жизнь измениться, если бы...

Остерегаюсь глагола «мечтать». Но то, что я представлял себе, дымя папиросой в нахолодавшем за ночь гостиничном номере, действительно смахивало на мечту.

Мечта, впрочем, имела вполне деловое наименование: «Интернациональная Архитектурная студия». Это было учебное заведение широкого профиля, вернее, учебно-творческий центр. Нечто наподобие знаменитого «Баухауза», возникшего в 1918 году в Дессау, близ Веймара.

Экспериментальная мастерская-школа, основанная крупным зодчим Вальтером Гропиусом, возникла на гребне революционных событий в Германии. Она стала оплотом развернувшегося во всем мире движения за слияние техники с искусством. Она прокладывала пути в будущее; из «Баухауза» вышли зодчие, художники, чье творчество наложило самый серьезный отпечаток на архитектуру первой половины нашего века во многих странах мира.

Теперь такого центра нет. «Баухауз» прекратил свое существование с приходом нацистов к власти.

Кому же, как не нам, основать новый «Баухауз», открыть пути к новым поискам, к широкому и свободному развитию зодчества, целью которого будет полное, действительное слияние техники с искусством для общего блага? И где же еще, как не здесь, в целительной тишине, в неповторимом, единственном в своем роде заповедном углу архитектуры? Придумаешь ли лучшее место, лучшую атмосферу, лучший климат — в прямом и переносном, педагогически-психологическом смысле слова?

Рост больших городов, их перегруженность, перенаселенность все больше тревожит ученых, врачей, экономистов, градостроителей. Но как противодействовать разбуханию, если существует магнит благоустроенности, прогресса, полнокровной жизни — индустриальной, культурной?

Сказать, что угасание маленьких городов есть прямой результат чрезмерной централизации — это значит лишь повторить общеизвестное. Естественное притяжение наиболее жизнеспособных сил к промышленно-культурным центрам потому и труднопреодолимо, что оно естественно; над ним не властны волевые решения, тут не может быть универсально-административных рецептов. Но вот ведь стал возможен молодой город науки под Новосибирском. Почему же не возникнуть городу нового зодчества невдалеке от Москвы?

Свой вымечтанный учебно-творческий центр я не случайно назвал интернациональным. Великие национальные достижения тем ведь и велики, что вливаются в широкую реку общечеловеческих достижений, делают ее более полноводной. Среди памятников русского зодчества в Суздале собралась бы одаренная молодежь со всех концов страны, а может быть, и зарубежья. Тут происходил бы стимулирующий обмен; сюда приезжали бы (уверен, охотно) лучшие зодчие мира. Нашлись бы, я убежден, и такие, которые остались бы; есть ли на свете дело более благородное, чем воспитать строителя-художника?

Как ни фантастичны были мои мечтания, они не казались и не кажутся мне случайными, беспочвен-

ными. Ведь не случайно именно здесь выросли такие строения. Ведь не зря вокруг Суздаля издавна гнездились художественные промыслы. Здешные чеканщики, филигранные и басманные дел мастера славились в пятнадцатом веке наряду с новгородскими и московскими. Тут жили умелые стеклоделы, косторезы, гончары, литейщики. Мстера — это ведь тоже суздальские края; знаменитое мстерское шитье белой гладью, расписные лаковые подносы, шкатулки — вот вам еще одно свидетельство, еще один довод «за». О живописцах иконных я не говорю — таких тут было в конце прошлого века более полутора тысяч, и не их вина, что слава изысканно-мягкого, деликатного суздальского письма померкла в условиях перерождения старинных искусств в подсобные ремесла.

Конечно, можно на старых гнездовьях держать прибыльные артели; в Мстере и теперь вышивают гладью, делают «художественные изделия из металла», расписывают шкатулки для разных выставок и подарочных магазинов. Но это все равно, что черпать детским ведерком из обмелевшего колодца вместо того, чтобы пробурить новую скважину, дать ход чистой глубинной воде.

Во времена высокого подъема искусство не знало дробления; «универсальность» художников Возрождения известна, и она не была исключительной особенностью таких титанов, как Леонардо или Микеланджело. Смешно было бы, разумеется, требовать от современного зодчего или живописца конструировать летательные аппараты, а от скульптора — быть одновременно живописцем, зодчим и писать сонеты. Но думать о возрождении единства искусств необходимо.

Впрочем, что значит «думать»? Не значит ли это — прислушаться, внимательнее взглянуть в происходящее? Не рушатся ли самой жизнью перегородки между искусствами? Не появляются ли первые признаки взаимопроникновения, не выходят ли все чаще художники из уединенности мастерских, от мольбертов на паса строек, в заводские художественно-конструкторские бюро? Не отказываются ли, пусть исподволь, неохотно, самые твердокаменные защитники «высокого» станкового искусства от полупрезрительного взгляда на «второсортное» прикладное?

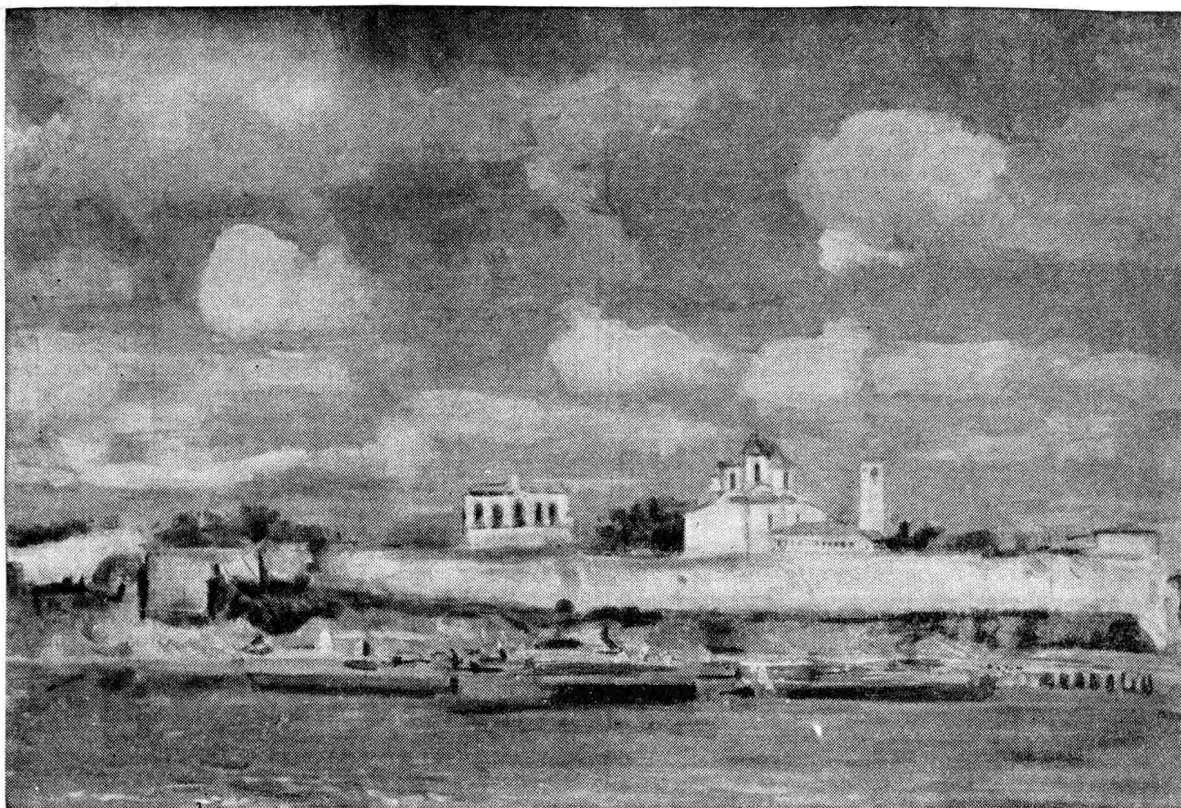
Если это действительно так, то все пластические искусства непременно вернуться к своей матери, к архитектуре. Сквозь века раздельных службаний должна возродиться память общей колыбели. Таково требование времени.

Суздальская студия-школа, как я ее видел, ответила бы этому требованию. Зодчество, живопись, скульптура жили бы тут единой семьей. Мозаичисты, конструкторы мебели, мастера керамики, чеканки, художественного ткачества (к слову, ткачество, набойка — тоже старинный суздальский промысел) росли бы тут под материнским крылом.



Так я представлял себе будущее Суздаля, с его бережно хранимыми памятниками, со сверкающими новизной мастерскими, лабораториями, выставочными залами, домами учеников и учителей. Я даже наметил мысленно места, где могли бы подняться эти здания, но не такие, как новопостроенная гостиница, нет.

Когда среди древних прекрасных сооружений видишь стрелу башенного крана, охватывает невольное



С. ГЕРАСИМОВ. Новгород Великий. Софийский собор в Кремле. Звонница и часовня.

беспокойство; между тем вспоминаешь, что многие замечательные архитектурные ансамбли (можно даже сказать, большинство их) рождались не вдруг, не сразу. Стоя у перил Кировского моста в Ленинграде, не тревожишься тем, что перед тобой полтора века зодчества — от петропавловского шпиля до исаакиевского купола. Полтора века, три архитектурных стиля, семеро очень разных зодчих (Трезини, Ринальди, Валлен-Деламот, Растрелли, Захаров, Тома де Томон, Монферран).

Если новое с полнотой совершенства выражает дух своего времени и если оно вместе с тем проникнуто духом почтительного уважения к старому, старшему, тогда не опасно соседство, напротив, только так и заполняются без досадных пробелов страницы каменной летописи, только так и сохраняется связь времен.

Стекло, бетон, алюминий (в таких словах, на глазах стирающихся от частого употребления, принято характеризовать новинки современной архитектуры) — это еще далеко не все. Суздальские здания, как я их видел (вернее, хотел увидеть), были бы построены зодчими, признающими за архитектурой право и обязанность создавать нечто большее, чем простые, стандартизированные удобства.

Как ни странно, именно эти смелые, ультрасовременные здания, которые я так ясно представил себе, соединили все в единую, цельную картину. Глубокая черта отчуждения сглаживалась, исчезала. Я видел молодость среди старины, младое племя среди древних памятников — не для экскурсионно-туристских минутных восторгов или печальной задумчивости. Я видел молодежь, понимающую неповто-

римость не как превосходную степень похвалы, а как живой, действительный на все времена движущий закон искусства.

И поскольку я впервые увидел Суздаль зимой, то все это так и виделось мне на белых снегах, под ярким холодным солнцем, в искристой ясности морозного дня, с вьющимися в синеве стаями галок и голубей над куполами, над шатрами колоколен, с цветистыми свитерами лыжников на крутых заснеженных берегах Каменки.

Так Суздаль превращался в моих предутренних мечтаниях из «города-музея» в нечто живое, сегоднешнее и вместе с тем единственное в своем роде, неповторимое. Суздальские «холопы-каменщики» были бы, наверное, довольны таким оборотом дела. Может быть, история еще возместит, воздаст Суздалью за обиденность, за все беды и неурядицы прошлых веков.

5

На прощание я снова прошел из конца в конец, от красно-белой колокольни Знаменской церкви, построенной посадскими людьми на месте сожженного татарами монастыря, до Смоленской, стоящей у самого вылета дороги на север, на Иваново.

Рядом с этой церковью, вернее, «парой», поставленной с интервалом в полвека жителями слободы Скучилихи, стоит неприметный на первый взгляд жилой дом, глядит на улицу-дорогу тремя окнами.

Хоть и сложенный из кирпича, он будто связан из двух разновысоких клетей, как вязали бревенчатые. Лицевая часть в один этаж, дворовая повыше, с подклетом-кладовой. Дому этому три сотни лет, что само по себе любопытно («редкий памятник гражданской архитектуры семнадцатого века», сказано в путеводителе). Но еще любопытнее то, что поставил этот дом и жил в нем не кто иной, как поп Никита Константинович Добрынин, известный больше под глумливым прозвищем «Никита Пустосвят».

Он тут и родился поблизости — в суздальской слободе Скучилихе, в семье крепостных людей, а говоря прямее, рабов Спасо-Евфимиевского монастыря. На монастырь-крепость, на могучую, в пять ярусов, кроваисто-красную проездную башню и глядит окнами малый дом Никиты Пустосвята.

По всему судя, это был человек незаурядной одаренности, самородок-самоучка, из тех, что пробиваются сквозь самый твердокаменный грунт. В середине семнадцатого века, лет двадцати трех — двадцати четырех от роду, он был за редкостные способности в чтении и пении поставлен попом Суздальского собора и мог бы, наверное, дослужиться до высоких церковных чинов, если бы не настырное, каменное упорство — характерная черточка многих самородков-самоучек.

Суздальский поп был старовером, яростным врагом «богопротивных новшеств» патриарха Никона. Вместе с протопопом Аввакумом он печатал церковные книги, подвергшиеся затем «никонианским» исправлениям, что вызвало раскол православной церкви. Никита Добрынин стал одним из наиболее упорных и деятельных раскольников.

За нелепыми на современный взгляд церковными распрями: креститься двумя перстами или тремя, ходить крестным ходом «по солонь», то есть по ходу солнца, или наоборот, произносить «Иисус» или «Исус» — крылись куда более серьезные противоречия. Тут нашло выход глубокое народное брожение, тут выразилось назревшее чувство протеста против «черноризического барства», против самовластного беззакония, поддерживаемого и освящаемого церковью.

В 1659 году поп Никита отправился в Москву с жалобой на суздальского архиепископа Стефана. В челобитной, которую он подал, говорилось, что епископ «...служит церковные службы не по правилам, кровь христианскую проливает неповинно, всякого чина людей бьет палками и от тех побоев многие поумирали».

Столица принялась выгораживать Стефана. Устроенное следствие признало его невиновным. Суздальский архиепископ сделал то, что и после него делало в таких случаях раздраженное начальство: прогнал строптивого попа с места и велел читать об этом грамоту публично, чтоб и другие зареклись клезуничать. Поп Никита избил дьяка, порвал грамоту и послал царю новую челобитную, где преступления епископа были описаны в самых достоверных подробностях.

Москве не оставалось ничего другого, как убрать Стефана из Суздаля; его перевели с повышением. Никита, как водится, остался без места, но не угомонился. Пять лет он составлял новую челобитную, обширный обвинительный акт против правящей церкви, за что был отлучен, прозван за ересь Пустосвятом и брошен в темницу Угрешского монастыря. Но и это не угомонило упряма. Выйдя на волю, он не оставил своего и добился в 1682 году открытого диспута в Грановитой палате.

Среди картин В. Г. Перова, с прямолинейной на-

глядностью обличающих церковное ханжество, есть малоизвестный холст, изображающий сцену диспута, где, кроме патриарха московского Иоакима и других высших сановников-попов, присутствовали царевны Софья, Мария и сестра царя Алексея Татьяна Михайловна.

Пустосвят вел себя тут соответственно своему нраву — сам уселся, а царевнам сказал: «Можно-де вам и постоять», — назвал царя Алексея Михайловича еретиком, говорил другие «поносные слова» и даже в запале ярости ударил Афанасия, епископа Холмогорского и Волжского. Именно этот момент и запечатлен в картине Перова «Спор о вере».

Спор закончился тем, чем и должен был закончиться. Всей Руси было наперед показано, что ждет упорствующих любителей свободных дискуссий. Пустосвята схватили, поволокли на Лобное место, где прилюдно прочитали ему приговор: «...казнить тебя смертью, чтобы иным таким вора́м неповадно было впредь так воровать и на государей своих такие хульные и непристойные слова износить».

В этой истории, где на шекспировский лад переплелось высокое с низким, смешное с кровавым, ничто за три сотни лет не отжило, не устарело, как не состарился и сам дом Никиты Пустосвята, крепкий, будто вчера сложенный из желтоватого кирпича, с крутой крышей и растесанными в восемнадцатом веке окнами, занавешенными теперь кружевными чистыми занавесочками. Очень хотелось узнать, кто живет за этими окнами, но не удалось; вполне выразительное урчание послышалось, когда я толкнул калитку ворот. Из конуры выглянул, брякнул цепью взлохмаченный пес, давая всем видом понять, что хозяев нет дома.

Я повернулся, постоял, глядя на двенадцать башен Спасо-Евфимиевского монастыря, на его высокие, глухие стены, давно ставшие из боевых тюремными. Снова жизнь напоминала о невыученных своих уроках.

С утра было по-прежнему ясно-искристо, а к полудню мороз чуть сдал; ветер повернул с юга, небо закрылось облаками, роняя редкие снежинки. Пока я возвращался к автобусной стоянке, снег пошел гуще, разыгралась метель. Крупные пушистые хлопья с лёта ложились на плечи, на лицо, на ресницы. Суздаль исчезал, тонул в густом белом мелькании со своими куполами, шатрами, башнями, со своими потемнелыми бревенчатыми домами, со своей разрушенной надвое жизнью, со всеми своими памятниками людского давнего умения строить и неумения разумно устраивать белый свет.

День был субботний, в автобус подсаживались повсюду: и в семисотлетнем селе Покровском и у развилки дороги на Батыево. Входили густо осыпанные снегом старики и молодые парни в сдвинутых книзу гармошкой хромовых сапогах и лыжных свитерах, румянолицые смешливые девчата из тех, что где-нибудь во Владимире, Иванове или Москве живо позабудут-забросят валенки, зацокают каблучками-шпильками, зашелестят платьем из самоновейшей ткани «космос», и не узнаешь, не отличишь от всякой другой студентки, ткачихи или фрезеровщицы.

Снег валил все гуще и гуще. На городском асфальте он был уже коричневый, изъезженный. Справа мелькнул плакатами-лозунгами огромный химзавод, поверх дороги переметнулись какие-то коленчатые-изогнутые толстые трубы. Посвистывали роликами троллейбусы, машины брызгали шипящей гущей из-под колес. За мокрой метелью мне так и не удалось еще раз увидеть белокаменные соборы на высоком холме над Клязьмой.





П. Кованов,
председатель Комитета
народного контроля СССР



ВЫ — МОЛОДЫЕ ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ

Редакция журнала «Юность» попросила меня написать о народном контроле в нашей стране. Народный контроль... За этими словами — увлекательная, кипучая деятельность большой армии советских людей, исполненных чувства высокого общественного долга. На заводах и фабриках, на транспорте, в колхозах и совхозах, в учреждениях, в воинских частях — всюду энергично действуют группы и посты народного контроля, а с ними вместе, рука об руку, боевые, задорные «прожектористы» Ленинского комсомола. Ближайшие помощники партии и правительства, народные контролеры просматривают все уголки, все стороны нашего огромного, многогранного хозяйства.

Деятельность органов народного контроля — это одна из форм проявления советской демократии. Их сила в сочетании контроля государства с контролем масс. И чем больше людей будет принимать участие в их работе, тем скорее будут изживаться недостатки в нашей жизни.

Разрабатывая вопросы, связанные с привлечением трудящихся к управлению государством, Владимир Ильич Ленин еще накануне октябрьских дней писал: «...когда все научатся управлять и будут на самом деле управлять самостоятельно общественным производством, самостоятельно осуществлять учет и контроль туеядцев, баричей, мошенников и тому подобных «хранителей традиций капитализма», — тогда уклонение от этого всенародного учета и контроля неизбежно делается таким неимоверно трудным, таким редчайшим исключением, будет сопровождаться, вероятно, таким быстрым и серьезным наказанием..., что необходимость соблюдать несложные, основные правила

всякого человеческого общежития очень скоро станет привычкой».

В этих ленинских словах как бы выражена вся программа деятельности органов народного контроля,

«МОЕ» и «НАШЕ»

Вспоминается случай, происшедший в дни моей юности в 1922 году. Решили мы, комсомольцы, помочь семьям погибших красноармейцев заготовить сено на зиму. Вышли на покос. Где-то рядом косили крестьяне на своих участках. И вдруг резкий, душераздирающий крик. Бросились туда — на скошенной траве, истекая кровью, умирал крестьянин. Сосед зарезал его косой за клочок травы, которую тот якобы захватил.

Звериное чувство — «мое!» — сделало человека убийцей.

А вот что случилось уже в наши дни. В Москву, в Комитет народного контроля СССР, приехал из далекого района Кустанайской области шофер Иван Забродецкий. В чемодане он привез образцы испорченного на элеваторе хлеба. Забродецкий видел, что работники элеватора с преступной нерадивостью относятся к общественному добру, видел, как горит хлеб, который он возил по тяжелым целинным дорогам, сутками не выпуская руль из рук. Но в Кустанае на его сигналы никто внимания не обратил. Наоборот, даже сказали:

— Не в свое дело лезешь, Иван. Без тебя знают, как надо хранить хлеб.

Иван же смотрел на это по-иному, поэтому он и поехал в Москву. Приехал за счет отпуска, на свои деньги.

Эта его поездка сберегла государству миллионы

СТАТЬЯ НАПИСАНА ПО ПРОСЬБЕ «ЮНОСТИ»

пудов хлеба. Те, кто допустил гибель зерна, были сурово наказаны.

Немногим более четырех десятилетий разделяют во времени эти два события. Но сопоставьте их — и вы поймете, какой большой путь прошло общественное сознание нашего народа.

За полвека в стране произошли большие социальные и экономические изменения. Изменились запросы людей, их быт и культурный облик. Идеи коммунизма стали близкими, кровными для народа. «Мое» и «наше» не вступают в противоречие; более того, для подавляющего большинства советских людей «наше», то есть общественное добро, выше и важнее «моего» — личного.

Тем нетерпимее проявление чуждой нашему обществу морали. Есть ведь еще люди, которые придерживаются принципа урвать у государства для себя побольше, дать поменьше, а если есть возможность, то и ничего не давать. Есть еще и воровство, и взяточничество, и бюрократизм, и волокита, черствое отношение к людям, есть и нарушения государственной и трудовой дисциплины, есть работа формальная, не по совести.

Потребуется время, чтобы очистить наше общество от этих «родимых пятен» прошлого; потребуются приложить все меры — от суровых карательных и до мер общественного воспитания. И вот здесь-то немалую роль призван сыграть народный контроль.

БЕСПОКОЙНЫЕ ЛЮДИ

В Комитет народного контроля идет поток писем. И подавляющая часть их продиктована хорошим беспокойством, заботой советского человека об общественном благе. В письмах указываются факты бесхозяйственности, бюрократизма, вносятся предложения, как улучшить дело в той или иной области.

Передо мной письмо Виктора Никифоровича Кудряшева. «Я бывший участник Отечественной войны, — пишет он, — работаю плавильщиком на электропечах. Но вот беспорядок, который я вижу своими глазами, просто терпеть не могу. И тех людей, кто это делает, отношу к таким, которые не любят наш строй, наше государство и нашу партию, хотя я в ней практически и не состою». И далее Виктор Кудряшев рассказывает о безответственном отношении к трубам на трассе газопровода. По его письму были проверены все газопроводы страны и наведен порядок с использованием металла.

Такие же письма присылают многие люди, которые не хотят мириться с недостатками в нашей жизни и на работе — с недостатками большими и малыми.

Люди, подобные Виктору Никифоровичу Кудряшеву, — золотой фонд нашего народа. Воспитанные партией, они вступают в непримиримую, а порою и самоотверженную борьбу со всем тем, что мешает общенародному благу.

Я не оговорился, назвав эту борьбу самоотверженной. Разве не проявил самоотверженность шофер Иван Забродецкий, о котором я рассказывал выше? Разве не заслуживает эпитета «самоотверженная» та благороднейшая работа, которую ведет народный контролер Алексей Джола, прицепщик в колхозе «Искра», Черниговской области? Он не раз выводил на чистую воду лодырей, разгильдяев и тех, кто слишком вольно обращается с народными средствами. Уважают Алексея в колхозе за справедливость, смелость и упорство. Но деятельность Джо-

лы далеко не всем пришлось по вкусу. И вот, чтобы расправиться с ним, его хату подожгли. Хорошо, что на пожар быстро сбегались соседи и спасли детей, находившихся в горящем доме. Колхозники не оставили Алексея в беде. Они высоко ценили своего земляка и за две недели народному контролеру построили новый дом — самый лучший в деревне.

Да, для такой борьбы, которую ведут народные контролеры, нужна твердая воля и большое мужество. Надо уметь быть стойким до конца — ведь ты выполняешь свой долг от имени народа и во имя народа.

А может случиться, что деятельность народного контролера, его борьба потребуют от человека и самой его жизни... Да, бывает и так.

В совхозе «Октябрьский», Владимирской области, пастух Алексей Мосин, заметив, что кто-то растаскивает совхозное сено, решил выследить воров. И выследил. Отец троих детей, он не побоялся вступить в неравный бой с жуликами — и был зверски убит.

В колхозе «Искра», Гомельской области, был убит рукой бандита тракторист Адам Дейкун. Убит за то, что смело разоблачил преступные махинации тунеядцев. Все эти герои посмертно награждены орденами.

Пусть такие трагические случаи единичны. Но они говорят о высоком моральном облике народных контролеров, для которых защита нашего, общественного стала священным долгом жизни.

ПЯТИЛЕТКА — ДЛЯ ВСЕХ, КАЖДЫЙ — ДЛЯ ПЯТИЛЕТКИ

К ак вам, конечно, известно, XXIII съезд Коммунистической партии утвердил Директивы по новому пятилетнему плану. Есть о чем помечтать, есть к чему приложить свой труд. Ведь за пять лет предстоит удвоить все то, что создавалось, строилось почти полвека. Большой вклад в осуществление пятилетки могут внести народные контролеры, которых партия зовет бороться против бесхозяйственности, за устранение препятствий на пути экономического прогресса, за выявление резервов.

А среди народных контролеров почетное место принадлежит молодежи. Это и не удивительно. Молодежь в нашей стране — активная сила, не желающая мириться с бесхозяйственностью, не терпящая равнодушия и нерадивости в работе, рвущаяся в бой с бюрократизмом, волокитой, расточительством. Вспомним, какую роль в борьбе за осуществление первого пятилетнего плана сыграла «легкая кавалерия» Ленинского комсомола, ее смелые, инициативные, продуманные рейды. В наши дни, развивая революционные традиции и опыт «легкой кавалерии», на передний край борьбы за построение материально-технической базы коммунизма вышли участники «комсомольского прожектора».

Участвуя в народном контроле, в деятельности «комсомольского прожектора», миллионы и миллионы людей одновременно проходят важную школу воспитания. В непрерывно нарастающем приближении больших масс народа к участию в общегосударственных делах, в управлении государством все отчетливее проявляются черты коммунизма.

Поле деятельности народного контроля и, следовательно, молодых «прожектористов» поистине безгранично.

Посмотрите внимательно вокруг себя. Где бы вы ни работали — на заводе, стройке, в шахте, в колхозе, в научной лаборатории, в учреждении, — всюду вы увидите, как необъятны резервы, которыми мы располагаем. Привести их в действие — значит ускорить наше движение вперед.

На льнозаводах идет в отходы костра. Миллионы тонн ее ежегодно сжигают, сваливают в овраги. А если костру прессовать, получают замечательные строительные плиты, намного лучше древесностружечных.

Или взять нефтяную промышленность. Даже в этой быстро развивающейся отрасли применяемые методы добычи устарели. Значительное количество ценной нефти остается в земле, на иных месторождениях — более 60—70 процентов общего запаса. Но, оказывается, если внедрить разработанные нашими учеными новые методы, можно значительно повысить добычу нефти, заставить даже старые, заброшенные скважины давать нефть. Иначе говоря, можно сэкономить миллиарды рублей, сотни тысяч тонн металла и получить дополнительно десятки миллионов тонн ценнейшего продукта.

В наше время быстро развивается техника, и то, что сегодня казалось передовым, завтра будет отсталым. Быстро стареет технология, нормативы, стандарты, организация труда. Если вовремя их не корректировать, они становятся тормозом, помехой.

Те, кто работает в мясной и кожевенной промышленности, вероятно, сталкивались с термином «прирези». Что означает это слово? Оказывается, возникло оно в результате неправильной, отжившей системы расчетов между мясокомбинатами и кожзаводами. Проверка выявила, что мясокомбинатам было выгодно при сьеме шкур оставлять на них часть мяса и жира, так как кожзаводы принимали шкуры по весу, а стоимость мяса была установлена ниже, чем кожи. Эти потери ценнейших питательных продуктов и скрывались за словом «прирези».

Посмотрите, дорогие читатели, не устарели ли нормативы расходов материалов и сырья на ваших фабриках, заводах, в колхозах. Экономисты подсчитали, что если из картера трактора или автомашины по капле вытекает масло, то по стране его ежегодно теряется тысячи тонн. Особенно велики потери горючего в сельском хозяйстве. Если бы механизаторы укладывались в нормы расхода горючего на вспашке и уборке хлебов (а, кстати сказать, здесь нормы даже завышены), то одно это дало бы экономии в 250 тысяч тонн горючего в год. Не так уж сложно этого добиться: надо только отрегулировать систему зажигания, не заправлять трактор из ведра, не оставлять его на время обеда работающим вхолостую.

Среди сельской молодежи очень популярна песня «Прокати нас, Ванюша, на тракторе». Однако если бы наши молодые трактористы отдавали себе отчет, во сколько обходятся государству эти их механизированные экскурсии до околицы, то они и их подруги, возможно, отдали бы предпочтение обычным пешим прогулкам.

Все это, казалось бы, мелочи. Но это сэкономит миллионы рублей. Когда народные контролеры включились в борьбу за экономию электроэнергии и топлива, то это позволило только за один прошлый год сэкономить более восьми миллиардов киловатт-часов электроэнергии — в три раза больше того, что потребляла дореволюционная Россия.

Замечательную инициативу проявили народные контролеры Днепровского алюминиевого завода, где их группу возглавляет энтузиаст своего дела инженер М. Ф. Бессараб. Тщательно обследовав хозяй-

ство завода, они закрыли все «щели», в которые уходила электроэнергия, и внедрили много рационализаторских предложений. В результате за год сэкономлены миллионы киловатт-часов электроэнергии, и завод по техническим показателям вышел на уровень лучших достижений мировой практики.

БЕРЕЖЛИВОСТЬ — НОРМА ПОВЕДЕНИЯ

Бережливость, строжайшая экономия во всем должны стать нормой поведения каждого советского человека, где бы он ни работал. В машиностроительной промышленности миллионы тонн металла идут в стружку, в строительстве бесхозяйственно расходуются миллионы метров стекла, огромное количество цемента, леса, металла.

Миллионы (видите, как часто приходится вести этот невеселый счет на миллионы) кубометров леса тратятся на изготовление тары, которая затем горит в кострах, хотя всю эту древесину можно было бы использовать. Старая резиновая покрышка — мелочь, но по всей стране ежегодно уничтожаются сотни тысяч тонн покрышек. Сколько можно было бы сделать из них новых покрышек и других нужных резиновых изделий! Одна тонна бумажной макулатуры сберегает пять кубометров леса, но обратно в производство возвращается только 15—20 процентов бумаги. А ведь можно без особого труда увеличить сбор макулатуры в два-три раза.

Владимир Ильич Ленин говорил: «На хозяйственной работе нужно — пусть это не совсем подходящее слово — известное «скопидомство».

Нам не надо бояться этого слова. Из малых ручейков образуются полноводные реки, так же как коллективный труд миллионов преобразует лицо земли.

Небольшой, но характерный факт. Пятьсот комсомольцев «прожектористов» Ипатовского района Ставропольского края взяли под контроль весь путь зерна от поля до железнодорожной станции и таким образом избежали потери тысячи тонн пшеницы. На хлебоприемном пункте пост «комсомольского прожектора» обратил внимание, что у весов и на разгрузке выстраиваются в очередь автомашины. Выяснилось, что «пробки» возникают из-за того, что большие грузовики приходилось разгружать вручную. Тогда «прожектористы» предложили изменить крепление бортов и разгружать машины на боковых платформах. За одну ночь было переоборудовано около 100 автомашин. И на другой день были ликвидированы простои.

Будни? Да. Но в этих будничных делах пафос коммунистического строительства.

Разве не является, скажем, увлекательной такая благородная цель — сделать все наши реки, водоемы чистыми, полными рыбы, а леса — дичи.

Любить свою Родину — значит любить и беречь и ее природу. Люди творят, создают не только во имя сегодняшнего дня, но и во имя завтрашнего. Можно привести тысячи примеров, когда проявляется бережное отношение к природным богатствам. Сумели же коллективы Ново-Горьковского и Рязанского нефтеочистительных заводов добиться того, что воды Волги и Оки, проходя через очистительные сооружения заводов, становятся еще чище, а в прудах, куда стекает уже использованная вода, разводится рыба.

Но, к сожалению, есть еще люди, которые живут по принципу: «После нас хоть трава не расти».

Некоторые руководители предприятий пытаются объяснить факты преступной бесхозяйственности ссылками на специфику производства. Эти руководители говорят, например, что предприятия бумажно-целлюлозной промышленности, дескать, всегда были загрязнителями рек и водоемов. Но, оказывается, и здесь есть возможность полностью очищать сточные воды. Эти возможности хорошо используются на Ингурском бумкомбинате в Грузии и на других бумажно-целлюлозных предприятиях, руководители которых проявляют настоящее государственное отношение к общественному богатству.

Не умалит нашей гордости, если мы используем добрый опыт зарубежных стран.

Запомнился мне один случай. Это было в Польше, в горах. Мой спутник решил сорвать несколько цветков. Встречная женщина заметила его намерение и бросила упрек: «Зачем вы портите природу, она ведь не только для вас!»

Мне было очень стыдно за своего друга...

Необходимо создать обстановку общественного презрения к тем, кто безжалостно, во имя минутной прихоти или из хулиганских побуждений портит пригородные рощи, оставляя после себя сломанные кусты, пустые консервные банки, битые бутылки, клочья грязной бумаги.

Можно быть вполне уверенным, что если за это дело возьмутся миллионы народных контролеров — в том числе и молодежь — и увлекут за собой других, то в очень короткое время наши реки станут опять чистыми, как серебро, в лесах вновь будет множиться дичь, а в озерах — рыба. И слово «браконьер» навсегда исчезнет из нашего лексикона.

ДЛЯ НАРОДА — КАК ДЛЯ СЕБЯ

На моем столе — маленькая посылка, в ней два болта. Прислали это рабочие с ударной комсомольской стройки Горловского азотнотукового завода. К посылке приложено гневное письмо. «Мы долго ждали, — пишут рабочие, — когда одесский завод «Продмаш» устранил свой брак. Наконец получили долгожданное оборудование. Но оказалось, что старый брак заменен новым. Посылаем вам «образцы» крепежа».

Болты сделаны из дорогой нержавеющей стали, но в руки их брать нельзя. Острые заусеницы режут пальцы. Все шесть граней разных размеров. Завинтить невозможно. Делал их мастер Руднев.

Почему он так варварски отнесся к ценному металлу, к своему труду, к той дорогой машине, которую эти болты должны прочно держать?

Не любит свою профессию Руднев, нет у него настоящей рабочей гордости за свой труд.

Ромэн Роллан создал замечательный образ Кола Брюньона — искусного резчика по дереву. Этот образ всегда приходит мне на ум, когда я вспоминаю краснодеревщика московской фабрики Якова Михайловича Хруничева, уникального мастера. Сделает вещь. Хорошую, красивую, добротную. Всем нравится. А он начинает ее переделывать, причем за свой счет.

— Вам, — говорит, — нравится, а мне нет. Я-то знаю, что могу сделать лучше.

Яков Михайлович Хруничев — большой художник своего дела, большой душевной красоты человек...

Приходится сожалеть, что рядом с ним невольно вспоминаешь таких, как «мастер» Руднев с одесского завода. Потому и надо вести борьбу с бракоделами, чтобы все: и ткань, и станок, и автомобиль, и обувь — было красивым и добротным.

И жизнь наша станет тогда красивее и лучше.



Я бы счел, что моя статья не достигла своей цели, если бы вы, читатели «Юности», пришли после всего сказанного к выводу, будто органы народного контроля выполняют лишь административные, карательные функции. Нет, главное в нашей работе — вовремя предупредить ошибку, воспитывать человека рачительным хозяином страны.

Но в отношении тех, кто посягает на социалистическую собственность, кто пренебрегает государственной дисциплиной, кто допускает бесхозяйственность, расточительство, органы народного контроля всегда будут действовать по всей строгости советских законов.

Верно служить великому делу Коммунистической партии, самоотверженно бороться со всем гнилым, обветшалым, мешающим людям жить, мешающим строительству коммунизма, — в этом видят свой долг миллионы народных контролеров нашей Родины.

Я хочу надеяться, что и многие из молодых читателей «Юности» на фабриках, в колхозах, в учреждениях вольются в ряды армии народного контроля — армии хозяев своей земли — и найдут здесь свое боевое место.



● Н. Долинина

«НИКАКОГО ПОДВИГА ОН НЕ СОВЕРШИЛ...»



Хакимулин Фарит Галневич родился в г. Дятькове 9 мая 1946 года. Умер в г. Дятькове 8 августа 1965 года. Две даты, между которыми — девятнадцать лет.

Он хотел стать геологом. Но для него это было почти неисполнимой мечтой: Фарит Хакимулин болел туберкулезом позвоночника.

Три года в больнице, потом еще год в специальном санатории... Приходили одноклассники, учителя. Помогали. Шестой, седьмой, восьмой классы. Три года он лежал в гипсе, каждое движение причиняло жестокую боль. А он учился, окончил восьмилетку, как все.

Вернувшись после санатория в Дятьково, он окончил девятый класс и поступил в Киевский геологоразведочный техникум. Занимался альпинизмом. Ходил в геологические партии. Учился в техникуме и одновременно сдал экзамены за среднюю школу, получил аттестат. Пробовал писать. Мечтал стать журналистом.

Летом 1965 года приехал на побывку к родителям. Можно бы и отдохнуть — позади тот самый год, когда он, учась в техникуме, сдавал экзамены на аттестат. А он стал корреспондентом газеты «Пламя труда», работал много.

В последний день июля, в субботу, он пошел с двумя товарищами на танцы. Потанцевали, пошли провожать девушек. Было еще не поздно, решили посидеть на бревнах. Откуда ни возьмись, появился какой-то пьяный, начал предлагать девушкам обучить их английскому языку. Пьяному не ответили, и он побрел дальше.

А ребята вскоре двинулись своим путем. На дороге было грязно, переходили ее цепочкой. Последним шел

товарищ Фарита Землячов. Внезапный удар в спину: тот самый пьяный, Авсеньев, ждал их здесь, в темном месте, и молча ударил Землячова ножом.

Фарит Хакимулин и второй его товарищ, Баранов, бросились за Авсеньевым, догнали его. Баранов схватил бандита, тот вытащил нож, но не сумел ранить Баранова, только порезал пиджак. В это время подбежал Фарит. Андрей Авсеньев так же молча вонзил ему нож в живот.

Владимир Землячов, к счастью, выжил.

Фарит Хакимулин умер в больнице.

Какой он был?

Четыре года — с двенадцати до шестнадцати лет — пролежать в постели, видя все усилия врачей и все-таки без твердой уверенности: поднимут на ноги? Не поднимут?.. А если даже позволят встать, ходить — смогу ли бегать, как все, идти в горы, нести тяжелый рюкзак с образцами пород? Смогу ли танцевать, смогу ли быть достаточно сильным, чтобы защитить девушку, дать отпор хулигану?

Он лежал и думал. Много читал. Конечно, в его душе находили отклик книги о героях, преодолевших свои болезни. Он научился ценить простые радости: природу, книги, теплое слово; научился ценить мысль. Позже, уже здоровым человеком, он говорил: «Я очень люблю думать. Думать, вспоминать, мечтать; это ведь — тоже наслаждение».

В санатории он подружился с двумя Светланами. Вернувшись домой, писал им: «Здравствуйте, милые Свечки!..» Если получал в ответ грустные письма,—

не жалел, не сочувствовал, а коротко замечал: «Успокаивать не буду. Я знаю, что такое лежать». И дальше рассказывал о людях, о книгах — и Светланам становилось легче ждать своего выздоровления.

Одну из «Свечек» он полюбил. Это пришло позднее, уже в Киеве. Он не успел сказать ей о своей любви; только в больнице, перед смертью, думал и говорил о ней, о Светлане... Узнала она обо всем слишком поздно...

Ему везло на хороших людей. Дружная семья. Дружный класс, который помогал ему учиться в больнице. Классная руководительница Анна Семеновна... Когда у Фарита в шестом классе начала болеть спина, а он не хотел идти в больницу — боялся пропустить уроки, — Анна Семеновна, проводившая с ребятами целые дни, первая заметила, что мальчик болен. Она укутывала его своим халатом, старалась не допустить до работы (класс помогал в то время колхозникам), настояла, чтобы мальчик отправился к врачу. Благодаря ей болезнь успели захватить вовремя.

В санатории он подружился с учительницами Галиной Константиновной Павловой и Зинаидой Константиновной Колышкиной. Вернувшись в Дятьково, снова увидел себя среди хороших людей: его любимый учитель Тимофей Степанович Титов стал директором школы; одноклассники заботились о нем, как умели: ограждали от лишнего усилии, угощали овощами и фруктами, чтобы получал витамины...

Что это — просто удача, везение? Почему один человек все время встречает в жизни заботливых, прекрасных людей, а другой — одних мрачных эгоистов? Или, может быть, оба они ошибаются, видят не то, что есть на самом деле?

Мне кажется, просто к одним людям тянутся хорошие люди, к другим — неважные, к третьим никто не тянется... Фарит любил людей и хотел, чтобы его любили. Ему отвечали теплом на тепло, заботой на заботу, вниманием на внимание и доброту...

Есть такое слово: самовоспитание. Оно звучит скучновато, но в нем заложен огромный и радостный смысл. В сущности, уже в четырнадцать-пятнадцать лет человека очень трудно воспитывать извне, он формирует себя сам — иногда лениво, иногда с трудом, с усилиями... Можно воспитать в себе труса, лентяя, эгоиста, даже подлеца. А можно — Человека с большой буквы. Именно это, мне кажется, делал Фарит.

Он все время старался стать лучше, заставить себя жить по высокой мерке, преодолеть, как он выражался, «минусы».

«Здесь, в Дятькове, — писал он Светланам, — очень много нехороших, просто противных мне ребят, от которых тошнит. До какого хамства, нахальства они дошли, что не только тайком несколько человек избивают одного парня, а бьют даже девочек... В некоторой степени невольно боишься идти поздно вечером в кино или еще куда, но всякий страх надо пересиливать. По-честному сказать, я и не боюсь, но как-то неприятно знать про то, что тебя могут побить. Надо как-то с этим бороться, но для этого ребятам надо сплотиться».

Ко всему, что видит, он относится активно: если хулиганы бьют парней и даже девочек, — значит, «надо как-то с этим бороться». Если испытываешь страх перед ними, — «надо его пересилить».

Когда человек воспитывает себя сам, он может научить себя весело или мрачно смотреть на мир, и от этого многое зависит в его жизни. Умение быть счастливым, находить радость в каждом дне встречается у людей не так уж часто. Но с такими людьми хорошо дружить, они легкие, их все любят. Вот,

пожалуй, и секрет любви к Фариту всех, с кем он сталкивался, — в этом его свойство: он многому умел радоваться.

Первое же письмо из Дятькова после санатория: «Был с ребятами в парке. Вчера ездил с ними на велосипеде в лес. Как там хорошо! Полно ягод, уже появляются грибы, много цветов. В общем, лес!»

В следующем письме: «Как хорошо теперь у нас в библиотеках! Ходишь между полками и сам выбираешь любые книги. Глаза загораются...»

Перед поездкой в Москву он пишет: «Уже заказали путевки; нас разместят в гостинице «Турист». Ужасно интересно и прекрасно будет. Мы уже заказываем билеты на балет и спектакль... Красота!»

Перед Новым годом: «Я уже умею чарльстонить и на вечерах сам приглашаю девочек. Каково будет на Новом годе! Как я жду этот вечер, девочки! Ведь три года лежал и все время мечтал о балах-маскарадах. Как весело будет, к тому же я умею танцевать!»

Конечно, у каждого человека бывают часы и дни, когда ему горько, тоскливо, одиноко. Так бывало и у Фарита, особенно если он сталкивался с явлениями или людьми, которых не хотел принимать. А в Дятькове он видел «много мелочного» и все хотел переделывать!

«Я неисправимый романтик», — признавался он «Свечкам» в письме, где объявил им о своем решении идти после девятого класса в геологоразведочный техникум. Он мечтал о путешествиях по всей земле и даже на другие планеты, но сам одергивал себя: «Здоровье... Вообще в техникум этот мне не советуют поступать, но меня это только подталкивает...»

Мечтательный, восторженный мальчик — и в то же время зрелый человек, трезво оценивающий свои возможности, умеющий бороться за свою правду, не отступающий на том пути, который выбрал...

И главное, всегда мыслящий человек. Меня поразили такие строчки в его письме к Светлане: «Мы навсегда останемся друзьями... Чувствую, что у нас есть не только одинаковые взгляды, но и хватит различий, как у всех людей. Спорить будем».

В семнадцать лет люди обычно хотят от дружбы совсем другого: обо всем иметь одинаковое мнение, никогда не спорить. А он, несмотря на свой возраст, уже понял, может быть, главное в дружбе: надо не только иметь одинаковые взгляды, но и уметь спорить...

Очень интересным человеком был Фарит Хакимулин.

Письма Фарита

Вероятно, я ничего не сумела бы рассказать о нем, если бы в последний день моего пребывания в Киеве Светлана не принесла мне пачку писем: сначала двум «Свечкам», а потом одной. Фарит писал подробно и откровенно обо всем, что видел, о чем думал...

Отрывки из писем последних двух лет я привожу без объяснений: они, на мой взгляд, не нужны.

22 ноября 1963 года. «...Я люблю красоту. Всякую. Я люблю книги, которые красиво написаны, люблю красивые вещи, красивую одежду и особенно красоту природы. Я записался в кружок альпинизма. В кружке хорошие, простые девушки и юноши. Мы поем песни. Ты слышишь, Светлана, я пою песни! Сегодня мы ходили к Днепру лазать на какую-то ста-

рую стенку (метров 15, не меньше). Мы шли по склонам Днепра, шли довольно долго. Какая красота! Поразительно!..»

6 декабря 1963 года. «...Мы тут группой решили хорошенько встретить Новый год... Я подумал, что как хорошо было бы встретить Новый год с тобой. Вот я подношу тебе бокал с шампанским, мы смеемся и пьем. Глупо? Не совсем, нельзя же все время мечтать о чем-то слишком высоком...

...Сейчас я занят агитацией. В декабре у нас в техникуме будет вечер лирики. Придут два артиста и будут читать кучу замечательных стихов Маяковского, Есенина, Евтушенко, Рождественского, Снеговой, Гамзатова и т. д. Думаю, будет интересно. И 10 декабря нам надо будет провести диспут на эту тему. Сейчас агитирую всех выступать. Да, а диспут «Наша профессия» мы уже наметили, но только позднее. Мы думаем вообще поговорить о своей профессии, что нам нравится в ней, что нет».

15 декабря 1963 года. «...Если б ты только знала, как у нас красиво на Брянщине, в наших лесах. Ты даже не представляешь, как приятно пройти по лыжам по лесу. Кругом снег, сосны покрыты охапками снега. Такая красота! Очень красиво и летом. Мне так хочется, чтобы и ты это увидела...

Скорей бы Новый год, а потом лес... снег... друзья. Сейчас я даже желаю, чтобы скорей пролетели эти четыре года, хотя это лучшие годы. Потом буду геологом, это же сила!»

5 марта 1964 года. «...Я хочу вернуть детство. Сейчас наступает весна... Я даже не прочь пускать кораблики по ручьям, лежать на крыше под лучами солнца... Хорошо даже лазать по чужую сирень или укатить на велосипеде по черемухе далеко в деревню.

Мы раньше любили еще ловить жуков, играть в «свечи», «красное знамя»... Я сейчас и по яблоки готов лазать, как раньше. В этом нет ничего страшного. А теперь, видишь, приходится думать, думать о своей жизни».

20 марта 1964 года. «...Сейчас я гораздо больше увлекся своей профессией. Негеологи проходят спокойно мимо камней, мимо оврагов, интересуются вулканами, природой вообще только с точки красоты. А ведь у каждого камня есть большая и интересная история. Поиски и случайность (несовместимо!) привели меня в Географическое общество, в секцию спелеологов, которые изучают пещеры. Летом мы поедем в Крым изучать пещеры. Меня уже захватывает азарт... коллекционера. Я хочу иметь все редкие минералы и породы, сталагмиты, сталактиты... Потом хочу еще пару вулканов... грязевых, они бывают малого размера и умещаются на ладони. Есть и большие — в 300 метров. У нас в техникуме нет этого типа, и хотелось бы мне их преподнести».

5 апреля 1964 года. «...Не задавайся очень, здесь тоже весна, и уже снега нет, правда, и солнца нет, но на улице тепло и очень хорошо. Все пахнет весной. Вчера я был на склонах Днепра. Там хоть и серо, но так прелестно...

...Почему грустные песни? Альпинист, геолог часто бывает в глуши, в одиночестве. Часто нет связи, нет питания, понимаешь, нет мира, в котором ты обычно жил. Тебе все-таки грустно, и отсюда рождаются грустные песни... Ты ведь представляешь вообще, как живут, где живут геологи, альпинисты. Но этим я совсем не хочу уверить тебя, что геологом быть плохо. О нет! Я еще мало знаю про свою профессию, но знаю точно, что я много увижу, везде побываю, увижу много того, что увидит далеко не каждый, почувствую и буду наслаждаться тем, чем не каждый может наслаждаться».



Фарит Хакимулин.

2 июля 1965 года. «...Я устроился внештатным корреспондентом районной газеты «Пламя труда». Уже ходил на маслозавод и написал заметку. Приняли...»

7 июля 1965 года. «...А мои заметки уже по радио читали: «Наш внештатный корреспондент Фарит Хакимулин сообщает...» Все-таки приятно. А вообще и интересно. Столько людей!..»

«Почему я не такой, как все!..»

Я удивлялся на него, — сказал мне товарищ Фарита. — Что ему, больше всех надо?

А ему действительно было нужно больше, чем другим. «Мы сделаем нашу жизнь сочной», — писал он Светлане.

Это видно и в письмах: человеку нужны люди, книги, Днепр, горы, пещеры, минералы, собственные вулканы, которые могут уместиться на ладони... Человеку нужны стихи и грустные песни, танцы, диспуты, вечеринки, велосипед, лыжи, снежки, черемуха... И все это нужно ему не только для себя: так хочется «преподнести» техникуму пару вулканов! Так хочется, чтобы другие люди так же много брали от жизни, как он!

Фариту до всего было дело: став членом комсомольского бюро, он мучился оттого, что принимают в комсомол формально.

— Зададут пару вопросов по уставу, поздравят — и бывай здоров! — рассказывает Колька, киев-

ский друг Фарита. — А ему это не нравилось. Но что он мог поделать один?

Мы сидим на Владимирской горке над Днепром. До весны еще очень далеко, но сегодня оттепель — снег темный, влажный, хлюпает под ногами. Мы спускаемся с горки и идем по берегу к мосту, к станции метро — здесь часто, наверное, ходил Фарит.

Коля бредет сзади меня по узкой тропинке в снегу и рассказывает:

— Он часто спрашивал: «Почему я не могу жить спокойно, ни о чем не заботиться?» Но он так не мог...

Чем же Фарит отличался от остальных ребят? И почему его мучило это отличие? Может быть, перенесенная болезнь и тягостные воспоминания о ней наложили отпечаток на его характер?

Я снова и снова перечитываю письма Фарита, вспоминаю рассказы Светы и Коли. Нет, не было в нем ничего ушибленного, обреченного, трагического. Ни замкнутости, ни угрюмости, ни злобы. Наоборот, веселый, жизнерадостный, общительный характер.

Во многих отношениях мальчишка, как все: чарльстон, вечеринки с вином, футбольные матчи, кинофильмы — все это увлекало его не меньше, чем любого другого. И в то же время действительно совсем другого типа человек, чем десятки вполне здоровых парней, стоящих вечерами в подъездах, изнывающих от безделья, от скуки, от бездумного своего существования...

Ему было интересно жить. Вовсе не легче, чем мальчикам, играющим в карты в общежитии, но гораздо, гораздо интересней. Он умел смотреть вокруг любопытными глазами, а многие не умеют. Кто научил его? Этому умению нельзя научить — его каждый создает (или не создает) в себе сам.

И еще: у него было чувство ответственности. За все, что происходит вокруг, и за всех, кто живет рядом с ним.

Коля рассказал мне: сидели как-то вечером в общежитии, и вдруг прибежала из соседней комнаты девочка вся в слезах и сказала, что ей одиноко в городе, и хочет она домой, и никому не нужна, и вообще зачем жить... Никто не подошел к ней — то ли стеснялись, то ли просто дела не было до чужих бед... А Фарит подошел, и поговорил с ней, и утешил... Потом я прочла в его письме к Светлане: «Здесь есть одна девчонка. Плакала все, говорит, я сельская, надо мной все смеются, я не хочу больше здесь быть и т. д. Душой она хороший человек, я старался и стараюсь помочь ей чем-нибудь...»

Душевная щедрость — вот что это такое. Так же, как он не хотел в одиночку радоваться снегу, лесу, стихам и спешил поделиться всем этим с друзьями, так же не мог он быть спокоен и читать книжку, когда рядом кому-то плохо.

Он очень критически относился к самому себе — это тоже отличало его от товарищей. В письмах к Светлане он часто признается: здесь ошибся, там был неправ...

Это очень трудно — жить, как он; брать на себя чужие судьбы и множество дел, которые ты вроде бы не обязан делать. Но вот же были у него товарищи, которые ничего не брали на себя и ни о ком не заботились. Это среди них Фарит чувствовал себя «не таким, как все». Почему он не мог жить, как они?

Всю жизнь я думаю вот над этим самым вопросом: почему одним людям надо так много, а другим так мало? И кто счастливее?

Я не знаю, как ответить на этот вопрос, — всю жизнь думаю и не знаю. Но все равно верю: как бы ни были глубоки страдания человека, неравнодушного

к жизни и людям, радости его тоже глубже и ярче мелких радостей того, кто существует бездумно и тупо, живет так... потому, что родился.

— Что он мог один? — спросил Коля.

Он мог многое. И еще больше бы смог — столько добра принес бы людям...

Дело не только в практических поступках, которые он совершал; самым своим существованием он нес радость людям вокруг, и даже память о нем несет радость тем, кто знал его, — разве этого мало?

«Вы должны написать о том...»

Техникум, в котором учился Фарит, виден изда- лека: он стоит поперек улицы, круто поднимающейся в гору. Это — большое, внушительное здание. И внутри техникум красив: просторный вестибюль, широкие коридоры, светлые аудитории. Цветы, картины, плакаты... Звонят звонки, бегут студенты, торопятся преподаватели...

Виктор Иванович Рябчук, преподаватель техникума, никуда не торопится и готов говорить со мной сколько потребуется, — я благодарна ему за это. Виктор Иванович был в прошлом году секретарем комсомольской организации техникума, а Фарит — членом бюро.

— Мы с ним много спорили, — говорит Виктор Иванович. — Ну, без этого не бывает... по работе надо спорить.

И я снова представляю себе мальчишку, который обязательно должен был отстаивать свою точку зрения, не умел ни подчиняться, ни приспосабливаться к чужим мнениям, если ему их не доказывали, а только объявляли.

Фарит никогда никому не рассказывал о том, что болел, что лежал четыре года.

— Только один раз, — вспоминает Виктор Иванович, — говорили о чьей-то болезни, и Фарит сказал: «Долго лежать очень тяжело». Но кто мог подумать, какой личный опыт стоял за этими словами!

Фарит писал стихи, рассказы — об этом тоже не знали в техникуме.

— Глубину его характера я понял уже после гибели, — говорит Виктор Иванович. И продолжает: — Вы должны написать о том, что там у них творится, в этом Дятькове. Пьянки бесконечные, опять кого-то порезали уже в этом году...

И ребята повторяют все время:

— Надо написать об Авсеньеве. Почему ему дали 12 лет, а не расстрел? Таких надо уничтожать. Ведь это его третья судимость!

Я не беру на себя смелость оспаривать решение суда — оно, очевидно, законно. Хотя из чего исходили судьи? Из того, что Фарит не умер на месте, а мучился еще неделю?..

Но что же все-таки делать, чтобы невозможно было повторение подобной трагедии?

В газете «Брянский комсомолец» 5 сентября 1965 года была помещена статья о гибели Фарита под названием «Дятьковские ухабы». Автор статьи, П. Громов, пишет: «Причина для пьянства в Дятькове, как и в других местах, не было и нет». А потом рассказывает: «Борьба с пьянством и умение организовать досуг молодежи — это две стороны одной и той же проблемы... Дом культуры почти все лето закрыт на ремонт... Есть в городе парк культуры и отдыха... Но нет главного — ни культуры, ни отдыха. На танцплощадке... хозяйничают молодые люди, от которых за версту несет перегаром. Здесь редкий вечер обходится без ЧП...»

То есть как же нет причин для пьянства, когда они есть?! Это те самые причины, с которыми пытался бороться Фарит: бездумная, бессмысленная жизнь, без каких бы то ни было интересов толкает молодых людей и на пьянство и на преступление.

Я думаю: очень плохо, конечно, что Дом культуры закрыт на ремонт, а на танцплощадке хозяйничают хулиганы. Но если даже открыть три дома культуры и поставить по милиционеру возле каждой танцующей пары, это не решит проблему в самом серьезном смысле.

— Что делать с молодежью, которая не хочет думать, а хочет пить и драться? — спрашиваю я у Виктора Ивановича.

Он отвечает сразу — видно, и сам задавал себе этот вопрос:

— Во-первых, мы почти ничего не спрашиваем с родителей. Должны они в конце концов нести ответственность за детей?! А во-вторых, мы где-то что-то потеряли в работе с молодежью. Я много думал: что? Но я не знаю...

Тот же вопрос я задаю Коле.

— Ничего все равно не будет, пока сами ребята не возмужают, — медлительно произносит он.

Да, конечно, Коля прав. Ведь и Фарит писал Светлане о том же. В конце концов по сравнению со всей массой молодежи их так мало, этих подонков, хватающихся за ножи, — неужели нельзя одолеть их, если взяться сообща?

Но как добиться, чтобы сами ребята взялись?

Еще один семнадцатилетний киевский мальчик рассказывал мне следующее:

— Я живу на окраине. Вчера к ночи слышим на улице крик. Я к окну. Вижу: стоит женщина, кричит, плачет. Я к двери, а мать за мной. Заперла дверь, не пустила. Я стою у окна, гляжу на женщину и сам чуть не реву. А мать тихонько так свет потушила... Никто не вышел к женщине. Сидят все за дверями своими, а не понимают того, что, может, завтра они так же будут стоять на улице и глядеть, как тихонько гаснут огни в домах... Так и не имею понятия, что же было с той женщиной.

Мать этого мальчика знала о гибели Фарита. Могли ли я осудить ее за то, что не пустила своего сына на улицу?

Но что же все-таки делать, когда слышишь крик на улице? Запирать двери?

— Напишите о том, что творится в Дятькове, — сказал Виктор Иванович.

Да, убили Фарита в Дятькове. Но учился он в Киеве и там пытался бороться с серостью и тупоумием, порождающими таких, как Авсеньев. В Дятькове, видимо, очень уж распоясались хулиганы; по развее в

Киеве и Ленинграде, Москве и Брянске, Тбилиси и Саратове нет ребят, живущих от пьянки до драки?!

А может, мы сами мешаем молодежи «взяться сообща»? Как та мать, которая запирает двери... Разве это необходимо, чтобы комсомольскую организацию техникума возглавлял преподаватель, даже самый хороший? Неужели тот же Фарит не справился бы с этим? Наверное, даже он скорей договорился бы с товарищами, чем взрослые!

Когда друзья Фарита узнали о его гибели, они прибежали в техникум. Боль, возмущение, ужас — все требовало немедленных действий. Ребята повесили объявление о случившемся (они хотели собрать срочный митинг) и подписались: «Группа друзей». Но администрация техникума велела снять объявление: что еще за группа друзей? Нет такой официальной организации! И вообще какие митинги, когда еще не состоялось решение суда!..

А ведь порыв ребят был благороден! Может, на этом митинге родилось бы очень важное решение, может, товарищи Фарита пошли бы по его пути. Чего испугались взрослые? Самостоятельности? Почему все мы с таким упорством перекладываем ответственность на старшее поколение: требовать с родителей, требовать от суда и закона, организовать досуг молодежи?.. Может, потому сама молодежь и помалкивает и играет в карты?

Я вовсе не хочу сказать, что именно в Киевском геологоразведочном техникуме что-то не так сделано, не так понято... Ничего подобного: это общая, а не частная беда. В техникуме работают люди с душой, стараются; но все ли могут взрослые и не больше ли смогут молодые, если дать молодым право и на самом деле решать судьбу своего поколения?

Я задаю вопросы и не отвечаю на них, потому что сама твердо не знаю, как ответить. Просто я не могу не думать об этом...

«Уходят люди... Их не возвратить...», — сказал поэт. Фарита нет. А сколько мальчиков и девочек, которым он помог бы увидеть мир любопытными глазами, проживут жизнь хуже, чем могли бы, если бы он остался на земле!

Света написала мне: «Дело в том, что никакого подвига он не совершил, но он был гораздо лучше многих тех, которые живут, и мы хотим, чтобы люди узнали о нем. Это, может, некоторым поможет стать лучше, или кто-нибудь снова задумается над тем, что все-таки надо, обязательно надо жить полной жизнью, стараться сделать хорошее, если даже оно будет маленьким...»

А может, это и есть подвиг — «стараться сделать что-то хорошее, если даже оно будет маленьким»? Стараться и делать — всегда и при всех обстоятельствах... Ибо если бы все жили, как Фарит, не стало бы места дракам, пьянству, убийствам.



НЕОНОВЫЙ

Я наивный человек. Я всему верю. Откликаюсь на любую просьбу. На любой призыв. Недавно иду по центральной улице милого моему сердцу городка Завихряйска, куда я приехал в командировку, и вижу огромное полотнище:

КРЕПИТЕ РЯДЫ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ!

Ну что ж, думаю, раз призывают, надо «крепить». Крепить, наверное, дело нелегкое. Но, вероятно, необходимое. Если призывают. В общем, решаю крепить. Проявляю готовность. Хочу как-то ответить на призыв. Хочу всего себя отдать. Хочу не пройти мимо. Хочу зажечься. Хочу... Вдруг, чувствую, не могу. Чувствую вдруг: прохожу мимо и... не зажигаюсь.

Так в чем же дело? Почему «хочу, но не могу»?

А потому, что как-то не знаю, с чего начать. Не представляю, что надо делать. Нет, умом-то я, конечно, понимаю: надо крепить... Но как? Как их крепят, эти самые ряды?..

Гвоздями, что ли?! Или клеим конторским!..

Нет, серьезно, как я, лично я, могу откликнуться на этот призыв? Что я, лично я, должен предпринять? Какое дело, конкретное дело, сделать? Чтобы слова лозунга не остались одними словами. Я наивный человек. Я думаю, что главное для лозунга — это агитировать. А на самом деле, оказывается, главное — это висеть.

Надо сказать, в Завихряйске много таких плакатов висит. Иду по улице дальше. На сапожной мастерской что-то про химизацию... Не то «ШИРЕ ВНЕДРЯЙТЕ...», не то «ВСЕМЕРНО РАЗВИВАЙТЕ...». А напротив парикмахерская. На ней совсем другое. Что-то про интенсификацию... Не то «ЛУЧШЕ ОВЛАДЕВАЙТЕ...», не то «БОЛЬШЕ ПОВЫШАЙТЕ...».

Рядом аптека: «ВЫШЕ УРОВЕНЬ...». Дальше почта: «ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ...». Чего уровень и кому привет, не ясно, не видно. Буквы стерлись. На солнце выгорели. Стою и думаю, долго думаю: чего и кому?.. Вероятно, уровень — моря, а привет — человечеству. Я наивный человек. Подхожу ближе. Смотрю: «ВЫШЕ УРОВЕНЬ КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ!» и «ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫМ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ!».

А вот жилой дом. Обычный дом. Каких много в Завихряйске. И тоже на стене что-то висит. Ага, это уже не лозунг. Это скорее роман «Война и мир», только написанный не графом Толстым, а товарищем домоуправом. Во всяком случае, размеры почти те же, — правда, содержание несколько иное: «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ». Зато рядом плакат: «В НАШЕМ ДОМЕ НЕТ ВТОРОГОДНИКОВ». Хм... Большое достижение. А взяточники в вашем доме есть?.. А подхалимы?.. А дураки?.. Я человек наивный, я бы на одних второгондниках не остановился... Зачем замалчивать ваши успехи? Вот давайте так и напишем:

«В НАШЕМ ДОМЕ ДУРАКОВ НЕТ!»

Здорово, а? Впрочем, не годится. Никто не поверит. Нет, надо что-то другое... Более правдивое... Я бы весь фасад этого дома разукрасил:

В НАШЕМ ДОМЕ НЕТ НИ ОДНОГО МАЛЬЧИКА,
КОТОРЫЙ БЫ ЗАРЕЗАЛ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ!

Или:

В НАШЕМ ДОМЕ НЕТ ДЕВУШЕК, ПРИХОДЯЩИХ
ДОМОЙ ПОСЛЕ ЧАСУ НОЧИ!

Пусть вся улица знает, какие вы хорошие! Чего вы добились! Можно, конечно, пойти и по другому пути. Вывесить серию плакатов, объявляющих о том, чего вам не хватает и что волнует в жизни. Например:

В НАШЕМ ДОМЕ МАЛО ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Но эта серия при всей ее привлекательности страдает одним недостатком: она малоагитационна...

Иду дальше. Баня. С внешней стороны как будто ничего нет. Зато внутри... Сразу, как вошел, около кассы — моральный кодекс. Зачем он здесь? Почему именно в этом месте висит?.. Все пятнадцать пунктов. Под стеклом в

Т
Р
Е
С
К

ШИРЕ ВНЕДРЯЙТЕ



Рисунки В. Сидура.

рамке бронзой начертаны и с виньетками. А рядом венки продают. И мыло. А-а-а, понятно... Чтобы каждый посетитель, пришедший помыться, так сказать, осознавал и помнил. Помнил и осознавал.

Булочная. Здесь плакаты не висят. Но не будьте вы наивными людьми. Это не значит, что их здесь нет. Правильно. Они не висят. Но они лежат. Лежат на витрине, исполненные в баранках и кренделях.

И, наконец, городской парк. Я иду по аллее, а слева и справа от меня изгородью, заслоняющей газоны, стоят портреты всех передовиков труда Завихрайского района. Я смотрю на их лица и ужасаюсь. Они плачут. Все как один. Причем слезы извилистыми потоками текут не только из их глаз, но также и из ушей, по лбу, с подбородка... Я наивный человек... Но я понимаю, что это дожди и снега заставили прослезиться героев. Мужайтесь, товарищи!.. Как-нибудь еще перезимуем. А там, глядишь, появятся новые имена. И снимут вас, заменят другими портретами. Впрочем, на это надежда слабая. Ведь вы стоите здесь уже года три, некоторые из вас за это время на пенсию ушли, один вообще скончался (об этом весь город знает), а над вашими головами все еще протянуты слова:

РАВНЯЙТЕСЬ НА ЛУЧШИХ!

Но никто почему-то не равняется. Почему-то вместо того, чтобы равняться, посетители парка, придя с работы, каждый вечер толпой, все как один, шпарят на танцы, лезут на качели, рвутся в «комнату смеха»...

Но, конечно, самый политически неграмотный народ — это влюбленные. Вместо того, чтобы с пользой для себя по приходе в парк изучать цифровые данные доходов советской семьи и диаграмму роста количества телевизоров по сравнению с уровнем 1913 года, они, эти самые влюбленные, занимаются тем, что ищут темные уголки природы и там опускаются на дно жизни посредством прикосновения так называемых губ друг к другу.

Нет! Я вовсе не против наглядной агитации — ее полезность не подлежит сомнению. Нам, молодым, всегда, наверное, будут нужны «агитаторы, горланы, главари». Но успех всякого лозунга — в конкретности, искренности, действенности. Лозунг создается для людей, а не для декорации. Натруженный энтузиазм — тот же бюрократизм. Душа требует сегодня душевных слов. Душевных, а не душистых. Я за такую вот наглядную агитацию.

Есть лозунги — колоколом врываются в уши людей... Бьют врагов напова... Поднимают уставших... Встряхивают загрустивших... В дни бед и испытаний народных, в годы войн и революций нужность лозунга возрастает...

ТЫ ЗАПИСАЛСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ?

Это было кратко, конкретно и эмоционально! Это работало. А не висело. А в тридцатые годы страной, можно сказать, владело одно слово:

ДА ЕШЬ!..

Даешь Магнитку! Даешь техпромфинплан! Даешь... Коротко, броско, талантливо. Одно это слово поднимало людей, зажигало, вело к цели.

А война? Кто забудет плакаты дней Великой Отечественной войны? Они звали в бой и внушали веру в победу. Они были действенным оружием.

ВОИН, ОТОМСТИ! ЗА НАМИ МОСКВА!

Коротко. Искренне. Волнующе.

А вот сегодня почему-то агитировать дозволено и бездарно. Дозволено трещать, воевать не умением, а числом, доходить до курьезов. Но курьезы бездарной наглядной агитации отнюдь не безобидны. Они, даже очень маленькие, скорее работают не «за», а «против» нас, ибо тут оказываются поправными святыни, вера превращается в неверие, истина профанируется.

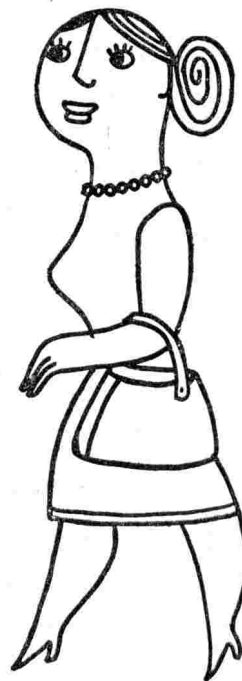
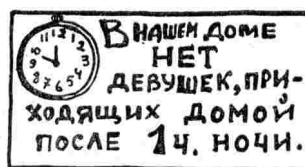
Страшна неоновая трескотня, от которой тупеет мозг и становится тихим сердце.

...Устал. Присяду. Ноги болят. И голова кружится. Что это?.. Буквы пляшут передо мною. Прыгают... Щекочут закрытые веки... Перемешались... Куча мала... Ничего уже не могу разобрать... Вдруг одна за другой, снова в строгом порядке, серой лентой потекли куда-то вверх... «Слова у нас, до важного самого, в привычку входят, ветшают, как платье...» — вспомнилось вдруг мне. А потом, буквально следом, где-то глубоко в сознании, в какой-то внутренней синеве, мелькнула, блестя отточенными боками, строчка из Ильфа: «Не надо бороться за чистоту. Надо подметать».

Чего достигают нагромождения равнодушных слов?.. Серая лента вьется, пляшет перед глазами. Меня засыпает, меня захлестывает... Я барахтаюсь, я отбиваюсь...

...Я открываю глаза. Транспаранты, транспаранты, транспаранты... Висят, висят... А раз висят, значит, агитируют, значит, воспитывают...

А так ли? Это я спрашиваю. Я ведь человек наивный...





«Клуб любознательных» в гостях у «Юности»

Когда появилось первое сообщение о лазерах, в газету, где оно было опубликовано, пришло письмо. Автор его с возмущением заявлял, что лазеров не может быть, потому что их свойства противоречат законам оптики...

Автор письма был физиком.

Сегодня лазеры обрабатывают металл на заводах, служат скальпелем в руках хирургов, с их помощью ведутся телефонные разговоры, они измеряют расстояния и лоцируют Луну. А прошло со дня опубликования первого сообщения меньше шести лет. Таковы современные темпы научно-технического прогресса.

И вот какое возникает серьезное обстоятельство. Объем научной информации удваивается ныне каждые десять лет, а по некоторым дан-

ным, за пять лет. Как просто теперь отстать от уровня новых научных представлений, от свершений науки, как быстро могут устареть знания! А это значит — отстать от века. Ибо сейчас наука проникает во все области жизни, ее влияние ощущается повсюду. Это и вызвало к жизни «Клуб любознательных» газеты «Комсомольская правда». Его потребовала молодежь, желающая постоянно быть в курсе новых научных идей, желающая знать, что и как сегодня, сейчас происходит на передовом рубеже познания природы, как победы науки влияют и будут влиять на жизнь человека.

Сегодня по приглашению редакции «Юности» «Клуб любознательных» собирает своих участников на страницах нашего журнала, и мы сердечно приветствуем наших дорогих гостей!

Прорыв во времени

Может быть, и не возникли бы «проклятые» вопросы, если бы не этот камень. Черный, невзрачный на вид. Его нашли неподалеку от города Златоуста. Взял его для очередного исследования В. А. Дунаев — руководитель группы по определению абсолютного возраста геологических образований Института геологии Уральского филиала Академии наук СССР. Дунаев и его сотрудники произвели анализ абсолютного возраста этого образца в

лаборатории и... испугались полученного результата. Калий-аргоновый метод определения возраста показал, что этой породе четыре миллиарда триста миллионов лет!

Тут-то и стали возникать один за другим многочисленные вопросы. Тут-то и начались споры. Ибо возраст Земли... Не сомневаюсь, что для многих эта проблема выглядит куда как отвлеченной. Ну не все ли равно, сколько лет нашей планете?

Не все равно для геологов. Когда возникла наша планета, как? Ответишь на эти вопросы, получишь ответы и на другие: какие движущие силы управляют жизнью недр, каковы скрытые пружины землетрясений, вздымания

гор, формирования рудных месторождений.

Не все равно для промышленности, для жителей городов, расположенных в беспокойном поясе землетрясений.

Не все равно для биологов. Они заметили, что эволюция жизни на Земле уже не укладывается в тесные рамки общепринятой ныне шкалы времени.



Не все равно для астрофизиков. От ответа на вопрос, сколько лет Земле, зависят ответы на вопросы: как образуются планеты, как зарождаются звезды?

Да, но не случайность ли златоустовская находка? Вряд ли.

Недавно в зарубежной печати появились сообщения о том, что американские ученые на островах св. Петра и Павла в Атлантическом океане нашли горные породы столь же почтенного возраста. Им оказалось четыре миллиарда пятьсот миллионов лет!

Но в чем же необычность, я бы сказал, сенсационность этих измерений?

Более ста лет назад лорд Кельвин рассчитал (исходя из теории охлаждения Земли), что возраст нашей планеты превышает сорок миллионов лет. Тогда эта цифра поражала. Люди, привыкнув к догматическим утверждениям христианской религии, с трудом перешагнули общепринятый рубеж времени и стали оперировать не тысячелетиями от «сотворения мира», а миллионами лет.

А далее потребовалось около полувека, чтобы перейти к новым рубежам. К 1917 году привычной стала цифра один миллиард семьсот миллионов лет. И она продержалась недолго, так как были найдены породы более древние.

Затем довольно стабильной стала цифра в три миллиарда пятьсот миллионов лет, предложенная в 1937 году советским ученым И. Стариком. Позднее (в 1948 году) А. Холмс произвел серию расчетов возраста Земли и остановился на этой же цифре.

В наши дни В. Баранов, Э. Герлинг и другие назвали цифру в шесть с половиной миллиардов лет. Как-то без должных оснований стало «общепринятым» оценивать этой цифрой возраст собственно Земли, а три с половиной миллиарда лет относить лишь к возрасту земной коры. Поэтому находка на поверхности Земли пород, имеющих возраст более четырех миллиардов лет, показалась удивительной.

Как же рассчитывают возраст Земли? Приведем ход рассуждений А. Холмса. Сначала он предположил, что свинец-207 возник на Земле за счет распада урана-235. Значит, говорит Холмс, на Земле в момент ее образования не было этого изотопа свинца, и,



чтобы рассчитать возраст планеты, надо изучить процентное содержание различных изотопов свинца в горных породах и сопоставить их с количеством урана в тех же породах.

Подсчитав по двадцати пяти образцам пропорцию изотопного состава, Холмс составил несложные уравнения определения возраста Земли. Но их графическое решение дало Холмсу 1419 ответов! Правда, 1257 из них были более или менее однотипными.

Если быть точным, то расчеты такого рода дают нам представление не о возрасте Земли, а о какой-то дате (предполагается, что она была единственной) зарождения на нашей планете тяжелых радиоактивных элементов. Считается, что они возникли еще в звездной стадии жизни планеты, хотя прямых доказательств, что такая стадия была, мы не имеем.

Что же сегодня можно сказать о диких находках?

Самым простым объяснением может считаться предположение о том, что здесь выброшены на поверхность Земли породы, которые залегают в таинственной мантии, глубоко спрятанной под земной корой.

По гипотезе академика А. Е. Ферсмана под земной корой должен располагаться перидотитовый пояс. Златоустовская находка представлена оливиновым пироксенитом, который не противопоставлен для перидотитового пояса Земли. Значит, вещество златоустовских пород, выжатое из мантии Земли под большим давлением, в какой-то мере родственно веществу из алмазоносных кимберлитовых трубок Южной Африки и Якутии. Отсюда логичным кажется

с вывод: зачем бурить сверхглубокие скважины? Зачем тратить деньги на разбуривание всей Земли, если проще искать выжатые из-под земной коры породы и по ним судить, что же представляет собой мантия Земли?

Все это так, если... Если это вещество действительно родилось в мантии Земли.

А может быть, в районе Златоуста встречен древний метеорит? Известно, например, что большинство метеоритов имеет примерно такой же возраст, что и златоустовский образец.

Некоторые ученые, веря в непогрешимость существующих гипотез о происхождении Земли, усматривают в совпадении абсолютных возрастов метеоритов и древнейших пород Земли прямое доказательство метеоритного происхождения нашей планеты. Хотя никем не доказано, что метеориты — это первичные куски вещества, из которого были смонтированы планеты. Кроме того, златоустовская порода имеет весьма «земной» облик.

Остается предположить, что не все еще ясно в наших представлениях о возрасте древнейших пород Земли.

Если взять цифры возраста Земли, как его определяли разные ученые, и расположить их в хронологическом порядке, то можно увидеть общую тенденцию постепенного «одревнения» Земли. Опираясь на этот график, можно высказать предположение, что уже в следующем десятилетии мы должны перешагнуть рубеж в 10 миллиардов лет. Видимо, заставят это сделать находки вроде златоустовских. Но если это произойдет, тогда окажется, что Земля старше... Солнца! Потому что ныне астрофизики убеждены, что наша дневная звезда образовалась примерно шесть миллиардов лет назад. Это будет означать коренную ломку взглядов и на происхождение планет и на эволюцию нашей Земли. Так или иначе, я убежден, что геология сейчас находится на пороге неожиданных открытий и революционных событий, круто меняющих наши теоретические представления.

Анатолий МАЛАХОВ,
доктор геолого-минералогических наук, профессор.

Свердловск.

Они нас действительно любят, и, наверное, сейчас это уже не нуждается в доказательствах. С того самого времени, как человечество помнит себя, дельфины платили ему самой искренней и преданной дружбой. А человек больше отвечал им черной неблагодарностью. Да, конечно, в некоторых странах дельфинам поклонялись, кое-где им даже ставили памятники и награждали, но чаще дельфинов уничтожали. Недавно в нашей стране запрещен промысел этих удивительных животных. Теперь, как говорится, дельфины могут вздохнуть спокойно. По крайней мере в наших водах.

...Началось-то все, пожалуй, с Аристотеля и Плиния. Ученых мужей покорила широта дельфиньей натуры, и они с восхищением воспевают ее. А вскоре был издан и первый указ, запрещающий ловить «интеллектуалов» моря — это сделали древние греки и римляне. Жаль только, что цивилизованное человечество позднее забыло об этом вердикте, охраняющем жизнь обитателей морей и океанов.

Позже, во времена придворных ристалищ, изображения дельфинов появились в родовых гербах. В 1343 году Умберт Второй уступил Франции принадлежащую ему страну Дельфинию — провинцию Дофине, потребовав, чтобы старший наследник французского престола носил титул «дофина».

Так что, как видите, и в средние века человечество еще относилось с большим уважением к животному, которое первым стало искать с ним контакта. Но вот ведь какой парадокс: человек тогда никак не был готов к такому контакту.

«В течение ближайших 10—20 лет человечество наладит связь с представителями других биологических видов, то есть не с людьми, а с какими-то другими существами, возможно, не наземными, скорее всего морскими, но наверняка обладающими высоким уровнем умственного развития или даже интеллектом». Так начинается своя книга о дельфинах известный физиолог Джон Лилли. Сам ученый ни в коей мере не сомневается в том, что процесс этот уже начался и что именно дельфин станет первым собеседником человека.

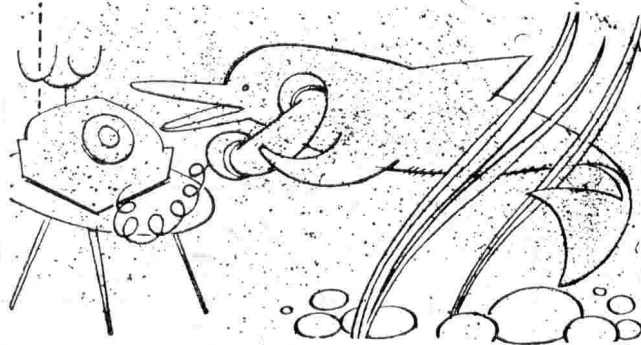
Впрочем, дельфин уже стал нашим собеседником. Стал, хо-

Они нас любят



тя нет еще надежных средств, с помощью которых мы могли бы отчетливо слышать друг друга.

Эта задача трудна в самом принципе. Дельфины живут в воде, мы — в воздухе. Естественно, что дельфины поэтому лучше слышат в своей родной стихии, а мы — в своей. Но



дельфины как будто несколько опередили нас: они могут издавать звуки, и высунувшись из воды. Магнитофонная лента Лилли несколько раз зафиксировала слова и даже отдельные

фразы, которые дельфины якобы произносят вполне сознательно. А сейчас ученый работает по контракту, заключенному с одним из военно-морских ведомств: согласно этому контракту, Лилли обязался обучить дельфина ни много ни мало — английскому языку.

Но давайте посмотрим, что необходимо сделать человеку, если он хочет найти с дельфинами общий язык. Прежде всего нужна аппаратура, которая позволила бы нам слышать, о чем говорят дельфины под водой. С другой стороны, не обойтись и без аппаратов для дельфинов — чтобы и они могли слышать все, что мы говорим в воздухе. Такова программа, по которой работает сейчас американский исследователь.

Параллельно с Лилли работу с дельфинами ведут несколько его коллег. Но некоторые из них поставили перед собой отнюдь не миролюбивые задачи. Так, в одной из лабораторий военно-морского ведомства США дельфинов обучают различать металлы. Был, например, такой опыт: медную пластинку, помещенную в пластмассовый футляр, показали дельфину. Потом он ее легко стал находить среди пластин из алюминия и других металлов, заключенных в такие же футляры. Как предполагают ученые, эта способность дельфинов основана на механизме гидролокации, которым их наградила природа.

Интереснейшие опыты, не правда ли? К сожалению, цель их далеко не научная: животных стараются научить отличать

американские подводные лодки от всяких других — по металлу, из которого сделаны их корпуса.

Интересную работу ведет сейчас еще один коллега Лилли,

Норрис. Его питомцы, выпущенные на свободу, уносят на себе различные приборы, записывающие температуру воды на разных глубинах, ее соленость, данные о работе сердца и затем возвращаются вместе с добычей в плавании трофеями. Дельфин, как видите, уже стал помощником человека. Верным и доверчивым. И человек не имеет права обмануть его.

Автору этой статьи не раз приходилось встречаться и беседовать с советскими учеными — специалистами по китовым. (Дельфины ведь тоже киты. Они относятся к так называемым «зубатым» китам.) Ученые единодушны в своем мнении: дельфины стоят того, чтобы человек отнесся к ним с более пристальным вниманием.

Летом прошлого года, например, кандидат биологических наук В. М. Белькович наблюдал в Крыму любопытнейшие явления, которые позволили сделать предположение о том, что дельфины могут по собственному желанию регулировать процесс дыхания. Раньше считалось, что выдыхать животные могут

только на поверхности. Судя по всему, как считает ученый, процесс дыхания у дельфинов не является рефлекторным. И, возможно, отвечают за этот процесс так называемые «ядра» головного мозга, которых у дельфинов даже больше, чем у человека, и назначение которых нам неизвестно.

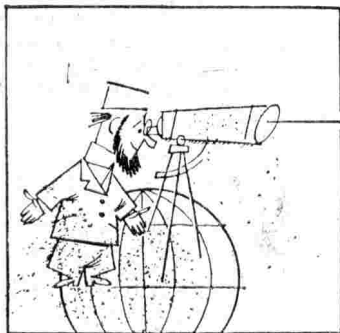
Во внутренних морях сейчас, к сожалению, осталось немного дельфинов. Зато на севере есть другая разновидность этих животных — белуха. Ее так и называют — северным дельфином. Доктор биологических наук С. Е. Клейнберг считает, что именно белуха — самый удачный объект для северных океанариумов. Дело в том, что белуха совершенно спокойно заходит в пресные воды и живет в них, она «закалена» и не боится простуды, чего не скажешь о ее южных сородичах. В то же время белуха так же быстро, как все остальные дельфины, привыкает к неволе. Что касается ее «интеллектуальных способностей», то в этом она отнюдь не уступает своим прославленным сородичам.

Как бы то ни было, сейчас многие ученые связывают будущее, прогресс с удивительными обитателями океанов. Впрочем, прогресс — понятие относительное. Известный английский физиолог Джон Холдейн, например, сказал как-то: «Переход от обезьяны к человеку мог бы показаться обезьяне переходом к... худшему».

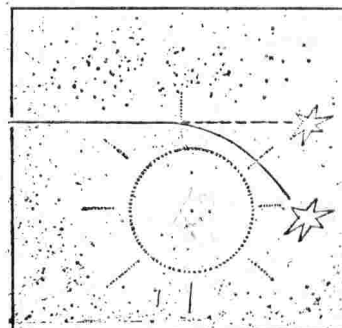
Все дело в том, что на жизнь мы привыкли смотреть с нашей колокольни — и на дельфинов тоже. И мы никак не можем посмотреть на них с дельфиной точки зрения. Сумей мы это сделать, как много бы для нас открылось. Жуки, например, с точки зрения наших законов аэродинамики летать не могут. А они летают. Значит, есть законы, которых мы пока еще не знаем.

Так и дельфины: узнай мы их ближе — они откроют нам свои тайны, обогатят науку и технику целым рядом интереснейших «патентов». Они расширят наше знание океана, помогут быстрее освоить его.

Леонид РЕПИН



Всемирно ли тяготение?



Это рассказ об эксперименте, который был поставлен за письменным столом, но охватывал галактики.

Немного предыстории. 1919 год был триумфальным для Эйнштейна: наблюдение подтвердило его теорию гравитации. В телеграмме астрономов сообщалось, что Солнце действительно искривляет пространство, отчего луч света, проходя мимо него, изгибается, словно натянутая тетива лука.

Наблюдение не раз перепроверялось и уточнялось.

...Когда при солнечных затмениях на землю падал фиолетовый

мрак и в небе оживали звезды, все внимание обращалось на те из них, что горят у края затмленного Солнца. Если Эйнштейн не прав — они должны были остаться на своих местах. Но если Солнце деформирует пространство, если лучи света от звезд искривляются близ него, тогда их видимое положение сместится. Наблюдатель увидит звезды не там, где они есть на самом деле.

Звезды неизменно оказывались не там... В полном соответствии с теорией тяготения.

Но это еще не значило, что она абсолютно верна для всей види-

мой Вселенной, что галактики подчиняются законам тяготения Ньютона — Эйнштейна точно так же, как планеты и звезды. Всемирность этих законов справедливо бралась под сомнение. Ведь галактики — качественно иные образования, чем планеты и звезды. А может быть, их взаимодействие строится на основе принципиально других, не гравитационных сил? Такие гипотезы появились, и некоторые фотографии взаимодействующих галактик как будто давали аргументы в их пользу.

Как и в 1919 году, нужен был

эксперимент, который бы установил истину. Ведь речь шла не о пустяках — о ведущих, краеугольных силах мироздания.

Но долгое время такой эксперимент казался невозможным. Одно дело — Солнечная система, где все тела движутся относительно наблюдателя, где расстояния относительно малы. Совсем другое — галактика, чье положение на небе в масштабах столетий неизменно, где расстояния измеряются миллионами и миллиардами световых лет.

Умная, отточенная мысль — одно из самых прекрасных явлений жизни. В ней красота совершенства и сила, победно спорящая с могуществом природы. Право же, бессонные ночи ученых и гениальные озарения решают еще далеко не все. Едва ли не главное — культура мысли, чему, увы, так редко и так мало учат в школе и вузе.

Одно из ярких проявлений культуры мысли — это умение связать воедино далекие, казалось бы, факты и явления, чтобы этой связью, словно неводом, вытащить на дневной свет новое, то, чего раньше не знали.

Посмотрим, как из связи разнородных явлений плелась эта сеть исследователями Астрофизического института Академии наук Казахской ССР Г. М. Идлисом, Р. Х. Гайнуллиной, З. Х. Курмакаевым и С. А. Гридневой. Придется, конечно, опустить многие частности, пойти на известные упрощения, чтобы проследить мысль, так сказать, в чистом виде.

Слушайте. Среди так называемых эллиптических галактик наблюдаются, как правило, галактики двух пространственных форм: либо сильно сплюснутые, словно блин, либо строго сферические. Промежуточные формы, очевидно, неустойчивы.

Значит, или — или (конечно, в пределах чистоты явления: галак-

тики отнюдь не шеренги оловянных солдатиков с одинаковым выражением лиц]. Обратите внимание, сейчас вы держите ключ к проверке: справедливы ли законы тяготения для взаимодействия галактик. Дальше пойдет в основном строгая логика.

Первые наблюдения, подтверждающие теорию Эйнштейна, были осуществлены, как уже говорилось, при солнечных затмениях. Теперь тоже требовалось затмение, но галактическое. Ждать, пока две галактики окажутся для нас на одной прямой, нельзя: столетий не хватит. Да и нужно ли? Число известных галактик теперь измеряется многими миллионами, и вполне возможны случаи, когда затмение галактики уже состоялось.

Ну и что, даже если это так! А то, что форма затменной сферической галактики известна — она рассчитана наперед. Если силы тяготения властвуют там, как и в Солнечной системе, свет дальней галактики будет искривлен массой ближней галактики. Но от разных ее участков по-разному. Она уже не будет выглядеть шаровидной. Наблюдатель будет видеть ее несколько вытянутой.

Значит, если такое искажение формы будет наблюдаться, когда одна галактика прикрыта другой, то это не случайность, не аномалия формы. Это лишь кажущееся отклонение от правила, своего рода оптический обман, вызванный действием тяготения.

Оставалось поискать, существует ли в действительности соответствие этим теоретически найденным моделям. Здесь начало труда совсем иного порядка. Просмотр фотопортретов галактик, накопленных астрономией, когда галактик миллионы и миллионы, — это не так уж далеко от поиска иголки в стоге сена. Он был проведен, и, как гласит в таких слу-

чаях литературный штамп, «результаты превзошли все ожидания». Было обнаружено шестнадцать затменных галактик, имеющих предугаданную форму!

Все! В общем-то все. Как видите, никакой сверххитрости — просто умелая работа мысли.

Однако вывод тем тверже, чем строже он проверен. Это существенная деталь исследовательской работы. Можно (и необходимо) в качестве рабочего инструмента применять любое кажущееся необходимым допущение. Даже самое невероятное. Так поступают ученые. Но вывод... Здесь категоричность должна быть категорически обоснована. Иначе ему нет веры. Точнее, в него будут верить лишь те, кто хочет верить.

Нужна была дополнительная проверка результатов эксперимента. Это, к счастью, оказалось возможным (исследователь, увы, не всегда обладает такой возможностью). По искривлению света дальней галактики, пользуясь теорией Эйнштейна, можно рассчитать массу галактики, которая это искривление вызывает. Потом величины, высчитанные таким образом для всех шестнадцати галактик, осталось усреднить и сравнить со средним значением масс более близких к нам галактик (массы этих галактик были оценены ранее с помощью обычных методов). Совпало.

Что Солнце искривляет окружающее пространство — это стало известно, как уже говорилось, в 1919 году. Тогда эксперимент охватывал Солнечную систему, сейчас — далекие галактики. Так расширились возможности аппаратуры наблюдений, так расширилась сфера точных мысленных экспериментов, которые ставят астрофизики.

Дмитрий БИЛЕНКИН

Алма-Ата.
Каменское плато.

Чувства глазами кибернетики

Страх и радость человек испытывал значительно раньше, чем научился считать. Вычислительные машины сегодня могут «придумывать» теоремы, проектировать производственные процессы, подсказывать будущее, но — эмоции?! Эмоции им по-прежнему недоступны.

«А зачем человеку машина, воспроизводящая эмоции?» — возразят мне. Сейчас даже люди стараются уйти в мир голой мысли, мир количественных возможностей. Так вроде бы легче, да и для дела лучше...

Но лучше ли? Карел Чапек в пьесе «RUR», написанной еще в

двадцатых годах, оставил роботам чувства (правда, не богатые). Его роботы не выносили боли. «В интересах производства...» — пояснял писатель. — Боль — автоматическая защита от увечья».

Выходит, мир голой мысли даже у роботов мешает интересам дела.



В Киеве, на Лысой горе, в Институте кибернетики Академии наук Украинской ССР трудится дружный коллектив, возглавляемый лауреатом Ленинской премии профессором Н. Амосовым. Цель исследований — моделирование личности. (Правда, слово «личность» справедливее взять в кавычки.) Их задача — глубже понять механизм психической деятельности человека и, как практический выход, совершить качественный скачок в конструировании электронно-вычислительных машин.

Именно в этой узкой области знаний ученые надеются нащупать звено, за которым последует цепь открытий.

Человек, преследуемый страхом, перепрыгивает девятиметровый ров, ломает тюремную решетку. Чувство как бы настраивает организм на максимум, обнажает все скрытые силы.

Другого рода пример: Давид Копперфильд с первого же взгляда чувствует отвращение к Урии Гиппу, хотя для этого у него еще нет никаких логических обоснований. Так эмоции оказываются прозорливей разума, они словно включают некую систему предвидения.

Но во всех случаях неизвестно: какие сдвиги происходят при этом в человеческом мозгу, какие включаются механизмы?

Профессор Н. Амосов выдвинул гипотезу о наличии в мозгу двух программ: эмоциональной и интеллектуальной; мышление есть не что иное, как постоянное взаимодействие этих программ. Со-

здавая своего «Эмика» — модель человеческой личности, исследователи надеялись проверить собственные представления о значении эмоций. «Эмик» испытывает страх и радость, печаль и любопытство, негодование и горе, обиду и жалость, тревогу и многие другие эмоции. Он значительно «эмоциональнее» своего зарубежного собрата «Олдоса» — модели, созданной американским ученым Дж. Лоуэллином. «Олдос» знает три вида эмоций. Одни сочетания цифр ему нравятся, другие вызывают страх и гнев. И страх и гнев могут быть измерены по условной шкале в девять баллов. Когда «Олдос» испытывает страх, он совершает математические операции, условно называемые отступлением. При гневе же он кидается в атаку, разумеется, тоже условную.

«Эмик» может не только испытывать, но и выражать эмоции. Ученые разработали таблицу, в которую вошло пятьдесят пять эмоций, а также описали рождение каждой эмоции и ситуацию, приводящую к этому рождению. Для этого изучались классики, начиная от Шекспира и кончая Чеховым и Хемингуэем. Ученые заимствовали у литераторов описания чувств, анализировали ситуации, вызывавшие эмоции, и выделяли в них общее, главное. Потом результаты переводились на машинный язык.

В основу работы модели положены представления об эмоциях как реакциях на внешний мир, направленных на удовлетворение личных и общественных потребностей организма. Модель избегает отрицательных воздействий и стремится к положительным. Это обеспечивает ей умение приспосабливаться к неблагоприятным внешним условиям. Иными словами, «Эмик» — личность, заключенная в перфолентах, будет «жить», подобно человеку, правда, очень упрощенному.

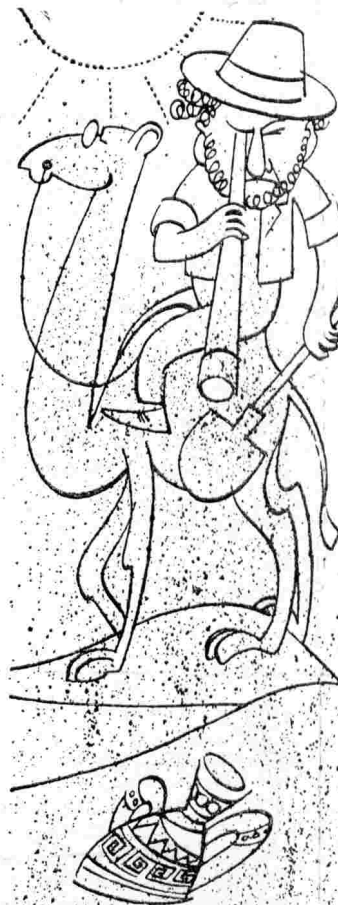
Итак, шаг к самому древнему и таинственному в человеке сделан. Эмоции говорят на языке математики. Язык этот пока еще очень первобытен. В нем еще не хватает слов, красок и звучания. И тем не менее трудно не признать его право на самостоятельность. Но главное — видна его будущность.

Владислав КОПЕНЕВ

НОВОСТИ СОВЕТСКОЙ НАУКИ

Пустыня преподносит неожиданности

С самолета Кызылкумы — выжженная, бесплодная, красноватая пустыня. Таким, вероятно, выглядит Марс. И первые путешественники, проникшие в Кызылкумы, оставили самые безотрадные записи. Но вот неожиданность: в последние годы на территории этой пустыни обнаружено несколько сотен поселений людей каменного века! Гораздо больше, чем в пустынных ныне местах Средней Азии, где ранее текли реки. Но на этом неожиданности не кончились. В сердце пустыни были открыты скифские курганы и средневековое укрепление. Выходит, что Кызылкумы стали пустыней совсем недавно?



Бактерии-шахтеры

Есть микроорганизмы, для которых минералы — своего рода пища. Они разлагают ее с изысканием, завидным для химиков. В частности, их действию подвергаются минералы, которые дают нам медь и некоторые другие металлы. Заставить эти микроорганизмы трудиться целенаправленно, быстро и в больших масштабах — значило бы превратить их в самых настоящих шахтеров. Уральским ученым это отчасти удалось: создана опытно-промышленная установка, в которой для ускорения добычи меди используются бактерии. Когда опыты были поставлены на Дегтярском место-

рождении, то с помощью «дрессированных» микроорганизмов извлечение меди возросло на семьдесят процентов. Первые успехи означают, что применение бактерий сможет ускорить и улучшить добычу металла. Мало того: они сделают рентабельным извлечение меди из мелких и бедных месторождений, чья разработка считается пока невыгодной.

Тополь-рекордсмен

Что корни деревьев прочны и неподатливы, известно каждому. Но недавние исследования принесли любопытную новость: самые

прочные корни не у дуба, как следовало бы ожидать, а у тополя. Для них предел прочности на разрыв в среднем оказался равным 391 килограмму на квадратный сантиметр.

Арктика исчезнет

Климат теплеет, и северные льды постепенно отступают — таковы выводы многолетних наблюдений. Советские метеорологи считают, что если этот процесс не прекратится, — а пока нет оснований так думать, — то в сравнительно недалеком будущем Северный Ледовитый океан очистится от льдов.

ВОКРУГ ЗЕМНОГО ШАРА

ТАЙНА МАРСИАНСКИХ КАНАЛОВ

Американский астроном Клайд Томбо, открывший в свое время планету Плутон, заявил, что на снимках Марса, сделанных американской космической станцией «Маринер», видны так называемые марсианские каналы. Он исключает искусственную природу этих образований. По его мнению, марсианские каналы — это просто разломы, трещины. Интересно, что за несколько лет до полета «Маринера» к такому же выводу пришел советский геофизик профессор В. В. Федынский. Он показал, что геометрия грандиозных разломов земной коры очень похожа на геометрию марсианских каналов.

ЧЕЛОВЕК РАСТЕТ...

С 1880 по 1960 год средний рост голландцев увеличился на 10,8 сантиметра, норвежцев — на 8,1 сантиметра, французов — на 4,6 сантиметра, испанцев — на 2,4 сантиметра.

АВТОМОБИЛЬ ОБГОНЯЕТ ЗВУК

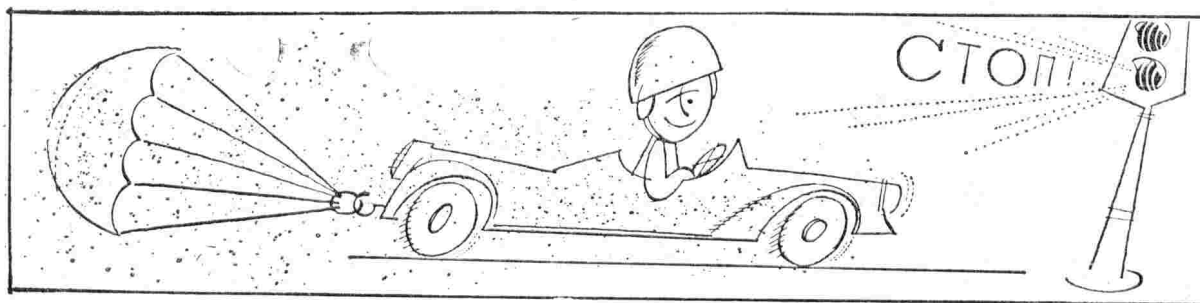
Французский журнал «Сьянс э ви» сообщает, что сконструирован автомобиль с реактивным двигателем, который позволяет развить скорость до 1860 километров в час. Сверхзвуковой автомобиль, подобно самолету, снабжен тормозным парашютом.

ПРЕПАРАТ, УЛУЧШАЮЩИЙ ПАМЯТЬ

В США получен препарат «силерт», который улучшает память. Как показали опыты над крысами, животные, которым давали вещество, обучались в четыре-пять раз лучше, чем контрольные.

ПО ПОЖАРУ — ОГОНЬ!

В Японии создаются ракеты для борьбы с пожарами многоэтажных зданий и складов горючего. Укрепленный в пластмассовом корпусе ракеты капсюль-детонатор взрывает ракету над целью, рассеивая химикалии, которыми она заполнена.





КРОПОТКИНСКАЯ, 10

Э то началось несколько лет назад.

Рассказывают такой случай. Мальчик отбросил самодельный деревянный автомат и сказал братишке:

— Сегодня войны не будет. Давай в мир играть.

— А как? — удивился тот.

Володя и сам не знал, просто надоело выслеживать друг друга, прятаться, брать в плен — все понарошке, конечно. Кроме того, «фашистом» никто быть не хотел.

В тот день красноярские школьники Володя и Ваня Пустоволовы не играли: в войну — надоело, а игру в мир человечество еще не придумало. А вечером братья отправили в Фонд мира 18 рублей 50 копеек — деньги, которые они откладывали на покупку стиральной машины для мамы. Это был один из самых первых переводов по адресу: «Москва, Кропоткинская, 10. Фонд мира».

Сейчас в Москву по этому адресу со всех концов страны идут сотни и тысячи денежных переводов, писем, посылок.

На многих предприятиях создаются специальные бригады мира. Более семи тысяч рублей перечислили из своего заработка бригады мира строителей Красноярской ГЭС.

Вот письмо жителя поселка Пушкино, Московской области, Н. В. Симанина: «Я инвалид Отечественной войны II группы. У меня изуродованы лицо, руки, потеряно зрение. Я знаю, что такое война. Я не могу помочь своим трудом укреплению мира. И поэтому прошу Фонд мира принять мои сбережения в размере месячной пенсии».

Улыбка детей, чистое небо над головой, цветение садов — мечта, объединяющая и ученых с мировым именем Н. Г. Басова и А. М. Прохорова, передавших в Фонд мира по 2 тысячи шведских крон из своих Нобелевских премий, и жителя Западной Германии Шведлера, перечислившего 50 марок, и бывшего бойца Чапаевской дивизии Ивана Петровича Шатилина, регулярно вносящего в Фонд мира часть своей зарплаты в течение ряда лет. По призыву руководителя Государственного академического ансамбля народного танца Игоря Моисеева многие творческие коллективы дают концерты в пользу Фонда мира.

Твой комсомольский значок сделан на Московском Монетном дворе бригадой Вали Рубцовой. Несколько лет подряд девушки отчисляют в Фонд мира часть своего заработка.

— Наша бригада, — говорит Вали, — выпускает комсомольские и памятные значки, а часто и правительственные награды. По наградам сужу, сколько интересных дел у нас в стране! И каждый раз думаю: пусть эти награды люди всегда получают за мирные дела — освоение космоса, открытия и изобретения, а не за военные действия.

Многое успел перевидеть в жизни персональный пенсионер Сергей Анисимович Котляров: в гражданскую войну — рядовой Красной Армии, в годы пятилеток — директор крупнейшего химического завода. С тремя сыновьями добровольно ушел на фронт, в семью

На снимке: цветы, выращенные этими девушками из Подмосковья, сданы в Фонд мира.

ГДЕ? ЧТО?

В сентябре со стапелей Адмиралтейского завода в Ленинграде досрочно сойдет «Комсомолец Кубани» — танкер-гигант водоизмещением в 65,2 тысячи тонн. Судно построено из металлолома, собранного молодежью Краснодарского края.

Из Брестской крепости во все концы Белоруссии отправились комсомольцы-мотоциклисты с факелами вечного огня крепости-героя. Ребята зажгли огни бессмертия у памятников и обелисков в городах республики.

Комсомольско-молодежь и у юсмену в фонд помощи борющемуся Вьетнаму провели юноши и девушки Казахстана.

Пять тысяч ребят и девчат алтайского города Рубцовска — ударники коммунистического труда. С начала года они сэкономили тысячи тонн металла, чугуна и стального литья и других материалов. По их почину на предприятиях Алтая разворачивается соревнование за звание «Лучший молодой рабочий своей профессии».

В литовском городе Тракай состоялась встреча молодежи с красными солдатами Вильнюсского рабочего полка, боровшегося в 1918—1919 годах за Советскую власть в Прибалтике.

Неделю молодежной книги провели комсомольцы киргизского города Талас. Перед молодежью выступили писатели республики — прозаики, поэты и драматурги.

Кадровые рабочие Уралмашзавода взяли шефство над выпускниками школ, пришедшими в этом году на предприятие.

Комсомольцы бакинских илуба «Красная гвоздика» посадили у памятника 26 бакинским комиссарам алые розы. Эти цветы ребята привезли из Парижа, от Стены коммунаров, с кладбища Пер-Лашез.

вернулся с двумя, младшими. Старший сын погиб на войне. Сейчас, окруженному заботой сыновей и дочерей, самое время отдохнуть подполковнику в отставке, но Сергей Анисимович пошел работать на завод столяром. Около двух лет в Фонд мира полностью перечисляется его зарплата.

О чем мечтает девушка в день своего девятнадцатилетия, если она хороша собой, любит музыку, владеет английским и испанским языками? На этот вопрос ответила московская студентка Лена Воронцова, которая внесла в Фонд мира деньги, подаренные родителями на день рождения.

В одной из оренбургских школ старшеклассники решили устроить воскресник по сбору металлолома. Вырученные деньги предназначались в помощь Вьетнаму — об этом объявили на линейке. Младшие классы на воскресник не взяли, и тогда малыши сложили деньги, которые им дали родители на школьные завтраки. Правда, хватило только на покупку настольного письменного прибора. «В помощь борющемуся Вьетнаму», — написали школьники. Возможно, их подарок пришел в одну из партизанских школ, где идут занятия под свист напалмовых бомб...

Студенты Благовещенского медицинского института тоже решили помочь Вьетнаму: каждый из них пришел на станцию переливания крови и безвозмездно сдал свою кровь.

У Советского Фонда мира свои отношения с географией. Отметки на карте мира рассказывают: Вьетнам — отправлены медикаменты, продовольствие, одежда; Куба — оказана помощь рыбакам и крестьянам, пострадавшим от стихийного бедствия — урагана «Флора»; Япония — куплено оборудование для госпиталя жертв атомных бомбардировок.

Благодаря бескорыстной помощи вкладчиков Фонда мира в Москве в 1962 году собирался Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир, в котором участвовали делегации 109 стран — представительство, небывалое в истории. Всемирный конгресс в Хельсинки, Конференция стран Азии и Африки, международная встреча ветеранов войны и борцов Сопротивления, рейс мира по Балтийскому морю — вот далеко не полный перечень дел мира, которые без помощи Фонда мира нельзя было бы провести.

З. ГЛУХ



Мы летаем на змее

Я пришел к ним как журналист, чтобы рассказать в газете об их полетах, но уже на следующий день помогал им искать быстходный катер, а затем летал вместе с ними и в конце концов стал их коллегой по испытаниям «Икаров».

Представляю своих друзей и коллег. Саша Казёнов конструирует воздушные змеи, отдыхая от диссертационной работы. Инженеры-физики Юрий Плохов и Рита Григорьева, а также лаборант Володя Антипов материализуют Сашины идеи.

27 августа прошлого года на доске объявлений в третьем корпусе Саратовского университета было вывешено:

«Сообщение ТАСС.

Завтра, 28 августа 1965 года, на Чардымском побережье состоится очередной запуск змея-носителя типа «ЗМИЙ», пилотируемого летчиком-«змеевиком»

Плоховым Юрием Перифериевичем. ТАСС уполномочен в связи с этим заявить:

— в целях безопасности движения водного транспорта Министерству речного флота обеспечить

патрулирование сторожевых судов, оснащенных ракетами типа «воздух — змея»;

— управлению охраны общественного порядка принять меры по обеспечению нарядов патрулей вдоль указанного побережья».

Это сообщение вывесили мехматовские шутники, которые называли нас и «обществом любителей острых ощущений», и «профсоюзом воздушных акробатов», и как только не называли.

И вот наступило это завтра. Первым готовится к полету на «Икаре-1», конечно, Саша Казёнов. Рита и Плохов (кстати, Порфирьевич, а не Перифериевич) помогают ему надеть водные лыжи. Наше техническое око — Володя Антипин — проверяет натяжку тросов на змее, узлы креплений и все прочее. Я с фотоаппаратом располагаюсь на корме.

Катер, набирая скорость, летит по воде. С волнением смотрю на Сашку через видоискатель. Первые два захода были пристрелочными, без подъема в воздух. Сейчас же я вижу пенный бурун за кормой и

На снимке: Саша Казёнов приводняется на «Икаре-1».

слышу рев мотора. Змей несет Сашу большими плавными скачками, вот он завис на фоне дальнего леса, вот накренился и пошел вниз, как падающий лист. Саша ударился лыжей о волну, и лыжу сорвало. На одной лыже держаться было невозможно, змей швыряло из стороны в сторону, и он то скользя к воде, то взмывал. Отпустив его, Саша погрузился в воду, а «Икар-1» легко взвился вверх, сделал классический переворот через крыло и ударился о волну...

Я вытащил только трос. «Икара» не было. Я даже нырял за ним посреди Волги, ориентируясь на пузыри, но глубина была великовата.

На берегу раздосадованный наш моторист Вячеслав Андреевич называл нас мальчишками и сопляками за угробленную «такую» вещь.

— Ничего, — угрюмый и злой бормотал Казёнов. — Сделаем новый... Более устойчивый. Этот всего лишь примитив из эпохи братьев Райт...

«Икар-2» появился зимой. Это был уже не плоский, малоустойчивый змей, а гибкое, треугольное крыло, с прекрасными аэродинамическими качествами.

Кому-то из нас пришла в голову смелая мысль: не ждать лета, а испытывать змей зимой, на снегу. Правда, был риск: падать придется не на воду, — но мы решили отыскать дорогу с кюветами, доверху забитыми мягким глубоким снегом. В конечном счете мы знали, что безопасность полета зависит от умения управлять змеем в воздухе, а продолжительность полета прямо пропорциональна физической силе мускулов. В общем, все как у птицы. За городом мы нашли хорошую дорогу и, пока был снег, чуть не еженедельно выезжали на нашем редакционном «газике»-буксировщике.

Змей зацеплен тросом за машину. Лететь моя очередь. Я надеваю лыжи и поднимаю змей.

— Готов! — кричу я шоферу.

«Газик» берет с места. Качусь. Чувствую, как змей начинает рваться из рук, и удерживаю его. Возник маленький кренчик, и меня тут же понесло в кювет. Убираю крен. Ветер свистит в ушах, задники лыж начинают чиркать по насту все реже, реже... Змей плавно и легко поднимает меня в воздух... Есть что-то общее со взлетом самолета, только здесь вместо шасси мои ноги. Я гляжу сверху на машину, к которой привязан буксиро-

вочный трос, вижу недалеке деревеньку, зимнюю Волгу, кучку любопытных в конце дороги, где мы приземляемся.

Однако руки начинают уставать, слабеть, не так чутко реагировать на крены. Я расставляю ноги — знак, обозначающий: сажайте, конец полету. Машина плавно сбавляет скорость, и я мягко, гораздо мягче, чем при прыжке с трамплина, касаюсь дороги.

Полет окончен... А хочется снова и снова подниматься в воздух. Но ребята усаживают меня на снег, бесцеремонно стаскивают лыжные ботинки и шерстяные носки: очередь лететь Плохову, потом снова Казёнов...

Для того, чтобы понять нас, нашу увлеченность, нужно испытать полет, услышать свист ветра в ушах, почувствовать в руках упругую силу змея, почувствовать себя человеком-птицей, вновь обретающим инстинкты своих далеких летавших пращуров, увидеть сверху



«Змей плавно и легко поднимает меня в воздух...»

сверкающую снежную равнину или голубую гладь Волги...

Сейчас у Саши Казёнова новая идея: он рассчитывает возможный вариант отцепки змея на вылете от буксировщика и свободное планирование.

Ю. НИКИТИН

Секрет орловского хлеба

Осенью на Орловщине, когда убирают хлеба, в каждой избе праздник. Праздник первого каравая. Орловские хлеба издавна славились на Руси. Умели здесь так выпечь хлеб, что хранился он долго, не черствел и вкус имел необыкновенный. А потом этот секрет затерялся. Но не столь давно в булочных страны появился новый сорт хлеба, и каждый из вас уже, наверное, спрашивал:

— У вас есть орловский?

Этот хлеб выпекали девчата-пекари из Орла. Вот они стоят на снимке вместе с Клавдией Васильевной Дорожкиной, заведующей лабораторией хлебозавода. Когда Клавдия Васильевна решила создать новый сорт хлеба, она обратилась за помощью к девчатам с хлебозавода. Молодой технолог Лена Мецеракова, только что окончившая техникум, взялась выпечь этот хлеб.

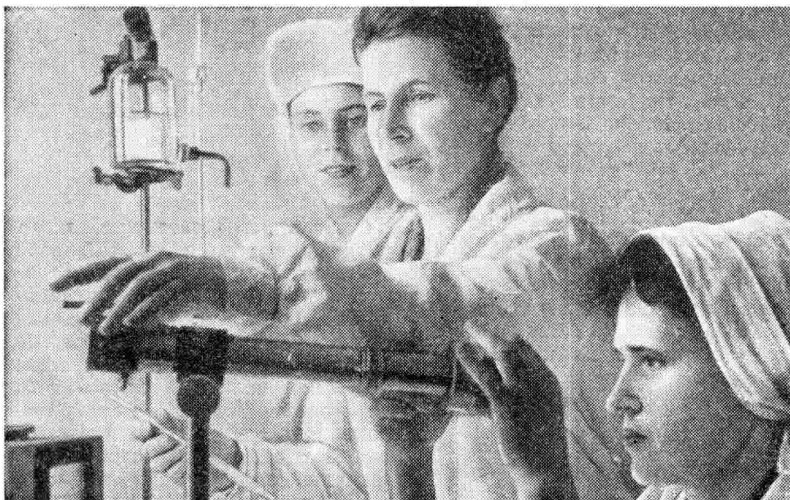
Лена раньше думала так: ну что значит быть пекарем? Пеки и пеки. А когда стала работать с Дорожкиной, узнала:

— Мы, Леночка, должны такой хлеб выпечь, чтобы он был ароматен и вкусен и не черствел долго.

Испекли один хлеб. Всем хорош — и вкусом и ароматом, но полежал пару дней — черствеет. Стали новый рецепт искать. Так месяца четыре продолжалось, пока однажды не вынули из формы хлеб, который по всем статьям удался.

Пробовали новый хлеб всем заводом. Каждый по кусочку. Хлеб был вкусен, душист. Решили дать ему имя — орловский.

О том, что появился новый хлеб, написали в журнал «Хлебопекарная и кондитерская промышленность». Сообщили его рецепт. А из журнала ответили, что такой хлеб никому не нужен... Девчата не сдавались, успокаивали Клавдию Васильевну. А вскоре слава о хлебе, который пекут в Орле, разошлась далеко. Даже три бизнесмена из Канады, остановившись в орловской гостинице, когда попробовали этот хлеб, заявили, что никогда еще ничего подобного не ели...



— Мы, Леночка, должны такой хлеб выпечь, чтобы он был ароматен и вкусен.

Фото И. Горбунова.

Пять лет продолжалась борьба за орловский хлеб, и наконец в прошлом году он был официально признан. Рецепт его был разослан во все города страны.

Этой весной я спросил выпускников одной из московских школ: кто хочет стать пекарем? Ребята

и девочки мечтали быть кем угодно, но не пекарем. А почему?

В первые послевоенные годы во Мценске, городке на Орловщине, у нас, ребяташек, немислимой популярностью пользовался пекарь дядя Вася. Пекарня помещалась в маленьком полуразбитом подвале.

Мы часами смотрели, как дядя Вася своими сильными, ловкими руками месил тесто, как спело похрустывали в печи хлебы. И не было большего счастья, когда угощал нас дядя Вася еще горячими, жестковатыми от плохой муки кусками хлеба. А потом хлеб везли в магазин, единственный на весь город. Весь Мценск знал дядю Васю, а мы, мальчишки, считали его самым важным в городе человеком после военкома.

Сейчас на хлебозаводах многое делают автоматы. Но вкус хлеба зависит все-таки от пекаря. А хлеб ест каждый, и, значит, никогда не умрет добрая древняя профессия пекаря. И очень жаль, что мои знакомые мальчишки и девчонки не мечтают стать пекарями. Без хлеба не может обойтись ни космонавт, ни футболист. Очень древняя и очень важная профессия — пекарь.

Когда вы будете покупать в булочной орловский хлеб, вспомните девчат из старинного русского города Орла. Прощаясь с ними, я задал коварный вопрос:

— А сами-то вы какой хлеб едите?

— Только орловский.

В. БРЕЖНЕВ

Голос прошлого

Мудрая андерсеновская сказка о живом соловье и искусственном никогда не перестанет волновать наше воображение. Но с годами живой соловей стареет, теряет голос и темперамент. Потом наступает пора, когда в хоре молодых и звонких навсегда затеряется его некогда громкий и выразительный голос. К счастью, человечество нашло способ сохранять на долгие времена голоса любимых певцов, писателей и поэтов.

В Москве, в Доме литераторов на улице Воровского, есть небольшая комната со стеллажами от пола до потолка, где хранятся сотни записей голосов поэтов и писателей, многие из них уникальные.

Около пятисот записей сделал в двадцатые годы профессор Сергей Игнатьевич Бернштейн. Им записаны поэты, чьи имена прочно вошли в историю русской поэзии: Александр Блок и Сергей Есенин, Валерий Брюсов и Владимир Маяковский, Анна Ахматова. Записи сделаны на фонографе, диктофоне,

парлографе. Но как заставить их звучать сейчас? Как перевести их на магнитофонную ленту?

За это взялся филолог Лев Шиллов. Начинать пришлось буквально на пустом месте. Давно отзвучала и ушла в прошлое дедовская техника — в стране не осталось ни одного говорящего фонографа, не на чем было проверить звучание даже тех фоноваликов, которые имелись в распоряжении исследователя.

Пришлось дать объявление в газету, объездить музеи и архивы, заброшенные склады, наконец, ознакомиться с устройством фонографов многих систем, а затем из чудом уцелевших деталей чуть ли не заново создавать говорящий фонограф. Так вечерами напролет и колдовали вокруг непонятных деталей Лев Шиллов и его друзья Николай Нейц и Владимир Возчиков — фирма «Фонограф-3», как они себя называли.

И однажды деревянный ящик с погнутым металлическим растру-

бом заговорил! Впервые, через годы молчания и архивного забвения, прозвучал напористый голос:

Мы рыцари дальних стран: я — рог,
Гудящий из тьмы...
В сырой,
В дождевой
Туман
Несемся
На север
Мы.

Стихотворение «Голос прошлого» читал автор, Андрей Белый. Постепенно из небытия, из прошлого начали свое путешествие на магнитофонные ленты голоса многих известных поэтов и писателей. Позже Владимир Возчиков разыскал и реставрировал запись, которая считалась навсегда утерянной, — обращение Аркадия Гайдара к детям. Писатель на несколько дней приезжал с фронта в Москву и нашел время обратиться к своим юным читателям в суровую осень 1941 года.

Но мало восстановить и перезаписать пришедшие в негодность

фоновалики, надо еще и доказать, что голос поэта именно так и звучал, а не иначе. Записанный на пластинки «Монолог Хлопуши» в исполнении Сергея Есенина успел разойтись по стране миллионными тиражами. Люди привыкли к манере чтения и голосу любимого поэта. Встречи с людьми, близко знавшими Сергея Есенина, многократное прослушивание записей с родственниками и друзьями поэта убедили Льва Шилова в том, что голос поэта в «Монologe Хлопуши» явно занижен: сказывается несовершенство записей на фонографе. Когда нашлись другие записи Сергея Есенина, в частности его знаменитое «Разбуди меня утром рано, о моя терпеливая мать...», стало совершенно ясно: в жизни голос поэта звучал выше, немного грубее, но задушевней и естественней. Это же подтвердил и скульптор Сергей Коненков, лепивший бюст Есенина, — ему поэт неоднократно читал свои стихи во время позирования.

В фонотеке есть несколько переписей с валиков Льва Толстого. Великий писатель записывался многократно: изобретатель фонографа Эдисон прислал ему свое изобретение с дарственной надписью. Но, и помимо записей в домашних условиях, существовали грампластинки и фоновалики многочисленных фирм.

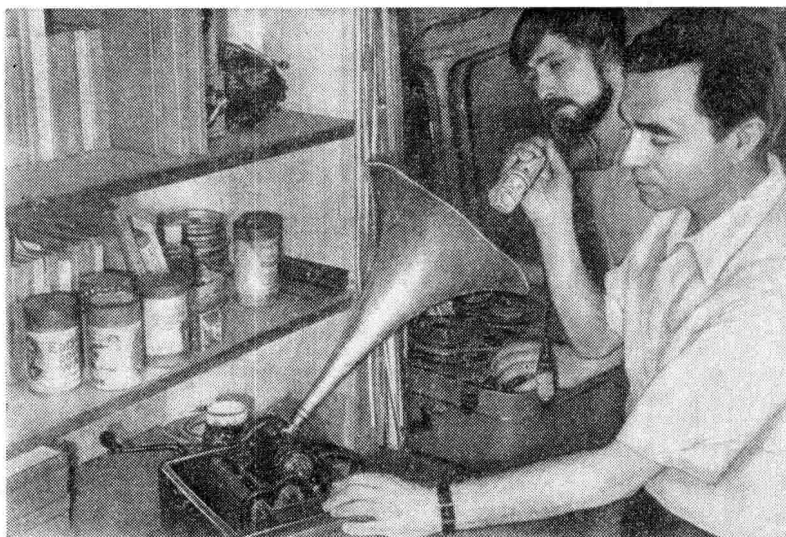
Не менее интересна судьба этих записей. После Октябрьской революции владелец увез их в Германию. В 1945 году после многих лет скитания голос великого русского писателя вернулся на родину.

Можно только сожалеть, что до сих пор не разысканы и не возвращены на родину записи голоса Толстого, сделанные на четырех языках — русском, английском, немецком, французском — по личной просьбе Эдисона.

Сейчас фонотека при Союзе пи-

ил Маршак, Михаил Светлов, Анна Ахматова, но навсегда останутся для потомков их голоса, записанные на пленку.

Интересно, например, сравнить запись стихов Анны Ахматовой 1923 года и последние записи, сделанные сорок лет спустя.



Фирма «Фонограф 3» в работе.

сателей старается наверстать упущенное. Не только расшифровать и переписать голоса Горького, Гайдара, Новикова-Прибоя, Пришвина, Андреева, но и записать заново многих выдающихся советских поэтов и писателей. Проходит время, литература несет невосполнимые утраты: умер Саму-

Настало время наряду с выпусками книг поэтов выпускать большими тиражами пластинки и магнитофонные ленты наиболее интересных записей, чтобы каждый любитель поэзии мог приобрести пластинки с голосом любимого поэта.

Бронислав ГОРБ



МУЗЫКА, МУЗЫКА...

Еще три года назад Эдик Садоян, лаборант Ереванского медицинского института, был далек от музыки — разве что имел привычку постоянно что-то насвистывать. Но однажды Эдик узнал, что все желающие приглашаются в музыкальную школу рабочей молодежи, организованную на общественных началах студентами Ереванской консерватории. Сюда пришло заниматься более ста человек. Через год осталось сорок восемь, и среди них Эдик Садоян. Придя в школу, он не знал ни одной ноты, а сейчас поступил на композиторский факультет народной консерватории: он уже сам сочиняет музыку.

В канун Нового года состоялся первый выпуск школы. Эдик Садоян и девять его друзей получили дипломы. Сейчас, в сентябре, проводится новый набор. Занятия в музыкальной школе рабочей молодежи продолжаются.

В. КАДЖАЯ

Студентки Ереванской консерватории — педагоги музыкальной школы рабочей молодежи — вместе со своими ученицами.

Фото В. Севояна.

● **Георгий Сатиров**

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА В СУТКИ

Недавно, рассматривая вопросы дальнейшего развития физической культуры и спорта в стране, ЦК КПСС и Совет Министров СССР отметили, что школа должна являться основой физического развития подрастающего поколения.

Желая привлечь внимание к проблемам школьной физкультуры, мы публикуем статью заместителя главного редактора журнала «Физическая культура в школе» Георгия Сатирова.

Редакция ждет писем, откликов. Разговор о физическом воспитании школьников будет продолжен.

В ряду двух десятков школьных дисциплин стоит и физическая культура. Семьдесят уроков в год — таков ее удельный вес в сетке учебных часов. Помножив это число на 10, получим многозначительную цифру — 700. Да, ровно столько уроков физической культуры обязан посетить каждый ученик за 10 лет обучения в школе.

Так обстоит с количественной стороной преподавания физической культуры. Ну, а что можно сказать о качестве? Эффективны ли уроки физической культуры? Полностью ли они решают учебные задачи?

К сожалению, нет. Уровень преподавания физической культуры в школе сегодня еще невысок. Это

отмечают в своих постановлениях ЦК КПСС и Совет Министров СССР.

Могу поручиться, что из ста опрошенных специалистов физического воспитания лишь четверопятеро могли бы дать более или менее вразумительный ответ на вопрос: для чего, с какой целью в школе проводятся уроки физической культуры? Я имею в виду не попугайскую реплику, не заученную книжную цитату, а собственное мнение — зрелое, выстраданное, выработанное в процессе многолетней творческой деятельности на педагогическом поприще.

Знаю, найдутся и такие специалисты, которые будут смело и решительно утверждать: главная задача уроков физической куль-

туры — готовить резервы для «большого спорта». Среди спортивных деятелей они составляют большинство, но встречаются и в рядах учителей физической культуры, причем в изрядном числе.

Неясными и неопределенными будут ответы директоров школ, завучей, классных руководителей. Знаю по опыту, что они, как правило, равнодушны к физической культуре, хотя и не станут публично отвергать ее.

Не ошибусь, если скажу, что и родители школьников не понимают, зачем их детям нужны уроки физической культуры. Что ж тут удивительного, когда специалисты, и те запутались в этом вопросе, заблудились в трех сосенках. Парадоксально, но отнюдь не смешно!

А я, например, на этот вопрос ответил бы так: «Два урока физической культуры в каждом классе нужны, как минимум, для того, чтобы школьники научились заниматься ею 24 часа в сутки». Да, я ответил бы именно так, а не иначе.

А если бы меня спросили, для чего нужно физической культурой заниматься 24 часа в сутки, я сказал бы: «Для того, чтобы жить, трудиться, творить, разумно отдыхать».

Вот вам и вся суть как «узкой», так и «широкой» физической культуры. Узкой я называю учебную дисциплину, преподаваемую два раза в неделю в каждом школьном классе, с первого по десятый; широкой — то, что пронизывает всю человеческую жизнь, без чего она немислима ни на одну секунду.

★

А теперь сделаем небольшой экскурс в прошлое.

Нам так примелькались слова «физическая культура», что все считают их очень древними, корнями своими уходящими чуть ли не в эпоху царя Гороха. Но стоит заглянуть в дореволюционные толковые словари и энциклопедии, чтобы убедиться: царская Россия не знала ни такого словосочетания, ни такого явления. Физическая культура родилась в тот день, когда раздался исторический выстрел «Авроры».

Помню, как в августе двадцать второго года, просматривая газету «Юношеская правда», я встретил непонятное слово «инфизкульт». Расшифровка этого слова стоила мне тогда немало труда, ибо, вооруженный «смит-вессом», кубачинским книжалом и аттестатом всевобуча в придачу, я

только что явился с Кавказа в Москву и поступил не без труда в МГУ. А вскоре я уже был готов доказать каждому, что физическая культура и есть та высшая ступень в возрождении человечества, подняться на которую стремились и древние греки, и гуманисты позднего средневековья, и Лессинг с Винкельманом, и Гете с Шиллером, и чешский философ-эстетик Мирослав Тырш, связавший «сокольское» движение с мечтой о славянском Ренессансе.

Именно эта сторона физической культуры увлекла меня, причем настолько, что, не бросая МГУ, я поступил в Инфизкульт — Институт физической культуры. А окончив оба вуза, продолжал делить свои привязанности между художественной литературой и физической культурой. С тех пор я крепко связан со школой, с физическим воспитанием детей.

Молодая Советская республика только-только стряхнула с плеч насадивших на нее интервентов и белогвардейцев. Залечив раны, народ приступил к построению нового общества. Уже стоял в лесах первенец ГОЭЛРО — Волховстрой. И вот в эти самые дни на всю страну прозвучали слова призыва: «Физическая культура — 24 часа в сутки!» Впервые они были сказаны наркомом здравоохранения Николаем Александровичем Семашко. В них, бесспорно, отразились мысли и чувства всей нашей партии, передовой части советского народа.

«Позвольте, — говорили тогда скептики, — где это видано, где это слышано, чтобы физической культурой занимались 24 часа в сутки! Ведь надо же человеку когда-нибудь спать, есть, развлекаться, отдыхать? А самое главное — кто будет трудиться, производить материальные и духовные ценности, если все 24 часа в сутки люди посвятят физической культуре?»

Нет, Семашко не призывал советских людей предаваться безделью. Наоборот, физическая культура мыслилась им как одно из действенных средств, способствующих подъему производительных сил общества. Поэтому-то он и приглашал сограждан пронизать ею весь суточный цикл жизни.

Если бы мы пожелали ясно представить схему деятельности человека в течение одних суток, то увидели бы, что он или лежит, или сидит, или стоит, или перемещает какие-либо предметы, или сам перемещается в пространстве. Все самые разнообразные движения и позы, наполняющие жизнь человеческую, как раз и образуют

то гармоническое единство, которое называется физической культурой. Кроме них, в состав ее входят еще средства личной и общественной гигиены, закаливающие процедуры. Вот все, что несколькими словами можно сказать о физической культуре в самом широком ее значении.

Теперь нам станет ясна суть и «узкой» (то есть школьной) физической культуры. Ее конечная цель — сделать так, чтобы выпускник школы до конца своих дней отличался завидным здоровьем, нормальным физическим развитием, хорошей физической подготовленностью. Если школе удастся осуществить эту задачу, тогда она может гордиться воплощением в жизнь призыва: «Физическая культура — 24 часа в сутки!»

Было время, когда заботу о здоровье советских людей Ленин поручил Высшему совету физической культуры (ВСФК). В начале 30-х годов ВСФК был реорганизован и переименован в Комитет по делам физической культуры и спорта. А сейчас уже нет и ко-

митета, а есть Центральный совет Союза спортивных обществ и организаций. Из титула этого учреждения исчезли и сами слова «физическая культура».

В модификации названий одного и того же учреждения запечатлена эволюция взглядов на место и значение физической культуры в обществе. Когда-то она была полновластной хозяйкой в доме. Спорт занимал в те годы просторный, но скромный уголок в ее обширных владениях. Он никогда не вылезал вперед, всегда почтительно следовал за своей дамой. Спорт был как бы пажом физической культуры.

Потом пришла пора, когда юный паж стал заноситься, наступать на шлейф и даже на ноги своей даме, дерзить ей. А когда в 1948 году прозвучала бодрая команда: «На завоевание мировых рекордов — бегом марш!» — наш Керубино совсем осмелел и, не считаясь ни с какими нормами рыцарского зеркала, выдворил даму на кухню.

Так вот и было — в жизни, не в сказке. Сейчас с трудом верится, что универсальной широты понятие «физическая культура», вмещающее 24 часа в сутки, из года в год суживалось, пока границы его не совместились с «планом спортивно-массовых мероприятий». Ведь как у нас до сих пор обстоит дело? Учитель меньше всего думал о систематической учебно-воспитательной работе, а все свое внимание сосредоточивал на соревнованиях, кроссах, спартакнадах, матчевых встречах и т. п. Важно было проводить максимальное количество спортивно-



массовых мероприятий, стараясь охватить побольше участников. Уроки физической культуры? Они не должны были никого волновать, потому что учебная работа фактически не учитывалась при оценке деятельности школы по физическому воспитанию детей. У какого учителя больше «охваченных мероприятий», тот и герой!

Преподаватель физкультуры К. Г. Туркав из Адыгей пишет в редакцию журнала «Физическая культура в школе»: «В течение недели идет подготовка к соревнованиям, а воскресенье посвящается их проведению. Вот и получается, что подготовку к соревнованиям учитель считает чуть ли не важнейшей государственной задачей. А уроки, как говорится, побоку. Пока существует такое положение, не будет ни массовости в спорте, ни хороших уроков в школе».

Ему вторит И. Г. Летецкий из Гоцевской школы (Ивацевичский район, Брестская область, Белорусская ССР): «В самом деле, круглый год только и знаешь, что готовишь команды к соревнованиям. Будто учителю нет другой работы, как возиться с горсточкой избранных. Остальным школьникам доступа в спорт фактически нет. Мы, преподаватели, не раз поднимали вопрос об этом перед своим районным начальством, но нам всегда отвечали: «Республика спускает план областям, областям — районам, а мы — вам. Будьте добры, готовьте команды!» Поскольку работу учителя оценивают по числу выставленных команд, поневоле подготовку к соревнованиям начинаешь считать «важнейшей государственной задачей».

«Никто не хочет понять, — заключает учитель школы № 3 города Нежина В. А. Король, — что такой организацией работы мы только вредим общему делу, превращаем школьный спорт в достояние немногих и... в бумажную писанину. Учебная и внеклассная работа в школах срывается, все делается в спешке, все подчиняется соревнованиям».



Когда-то премудрый библейский царь приказал воину разрубить младенца, принесенного к престолу двумя женщинами, и дать каждой по половинке. Приказ не был выполнен лишь потому, что истинная мать сказала, упав на колени перед владыкой: «О царь, не рассекай ребенка, лучше отдай его целым той жепщине!»

Это библейская притча. А вот вам пример из жизни: если хотите знать, наша школьная физическая культура давно уже рассечена на две части. Одной владеют министерства просвещения республик, другой — Центральный совет Союза спортивных обществ и организаций.

Причем Центральный совет, в компетенцию которого не входит сама учебная работа (уроки физической культуры), фактически мог



в любой момент изменить по своему произволу ее направленность. Особенную активность спортивные деятели проявляли в сельской местности, где районные отделы народного образования, как правило, самоустраиваясь от руководства, предоставляли всю инициативу работникам спортивного общества «Урожай».

Весной 1964 года я вместе с бригадой ЦК ВЛКСМ объездил десятка три сельских школ Белгородской области. Как руководил тогда физической культурой областной совет «Урожай»? Прямо скажу, действия его были довольно просты, не требовали педагогических знаний. Он «спускал» районным советам общества, а те школам директивы: «Такого-то числа выставить туда-то такие-то команды!» И учителя физической культуры, подчиняясь административному нажиму, объявляли аврал, призывали под спортивные знамена «дежурные команды» и, конечно же, давали «вал». И вот к концу года в отчете «Урожай» появлялись многозначительные цифры: «План вы-

полнен на 125 процентов, проведено 10 тысяч мероприятий, охвачен 1 миллион сельских школьников-спортсменов».

К сожалению, так руководят школьной физической культурой не одни только «урожаевцы». И не только в сельской местности отделы народного образования строго блюдут политику невмешательства.

Меня могут считать за ярого врага, ненавистника спорта. Но нет, я за спорт, за все его виды. Правда, не скрою, предпочтение отдаю такому спорту, где активно действующих во много раз больше, чем зрителей, болельщиков. Впрочем, как говорили древние: «Si vis sapiere» («Каждому свое»). Именно так я и отношусь к спорту.

У каждого из трех понятий — «физическая культура», «физическое воспитание», «спорт» — есть свой логический объем, свои точные очерченные рубежи. Зачем же нужно переходить чужие границы и покушаться на суверенитет соседней «державы»!

Понятие «физическая культура» универсальное по охвату, грандиозное по размаху. Его показатели: 24 часа в сутки, 100 процентов граждан всех возрастов. Другими словами, решительно все люди непрерывно находятся под воздействием различных средств и факторов физической культуры.

Объем понятия «физическое воспитание» несколько уже, потому что оно вмещает в себе только организованный педагогический процесс, руководимый воспитателем (следовательно, может длиться лишь несколько часов в день, а не круглые сутки). Кроме того, оно охватывает и значительно меньший контингент — детей и молодежь в возрасте до 20—22 лет (примерно 30 процентов населения).

Еще меньше объем понятия «спорт». Ни один человек, если он не профессионал, не может выделять больше 10 часов в неделю для напряженной спортивной тренировки и соревнований. А это уже сокращает контингент спортсменов, доводя его до 2—3 процентов численного состава населения страны.

Мне кажется, эти данные убедительно показывают, что «узкая» физкультура (школьная, 2 урока в неделю) должна вливаться в «широкую» (24 часа в сутки), чтобы целиком обслуживать ее. Поэтому-то школьной физической культуре не может быть присуща чисто спортивная направленность. Здесь все должно быть подчинено

образовательным задачам (конечно, в сочетании с оздоровительными и воспитательными). Лишь подведя под физическую культуру эти основы, только поставив ее на педагогические рельсы, можно поднять ее до уровня общеобразовательной дисциплины. Иначе она останется лишь довеском к школьному учебному плану. Мне кажется, это главная проблема школьной физической культуры.

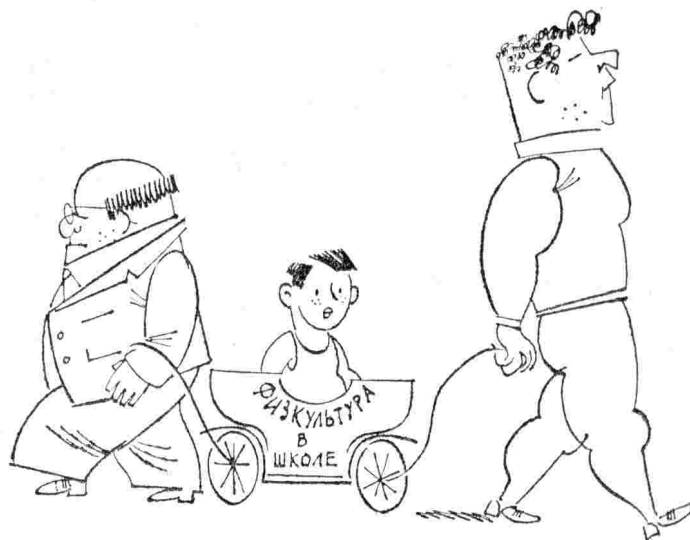
Я думаю, что для успешного осуществления постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР следует отказаться от двойного попечительства, от двух нянек, поделивших заботы о школьной физической культуре. Нужно объединить в одних руках и учебную, и внеклассную, и внешкольную работу. Пусть этим делом руководят директора школ, отделы народного образования, министерства просвещения. Физическое воспитание будет единым, целостным процессом, а спорт сольется с ним. От этого выиграют все, но в первую очередь школа и ее ученики. Не проиграют и спортивные организации: у них освободятся руки для других ответственных дел.

Школа нуждается во многом: в гимнастических залах, площадках, спортивном инвентаре и оборудовании, дополнительных часах на учебную работу. Знаю, что трудно удовлетворить эти нужды в ближайшие годы, но стараться надо. Мне кажется, при рациональном планировании материальных средств и фондов можно добиться немало.

Я глубоко уверен, что по меньшей мере половина трудностей отпадет в тот день, когда в школу придет образованный, культурный, высококвалифицированный учитель физической культуры, любящий и детей и свое дело. Надо прямо сказать, это вопрос вопросов, проблема проблем. Нам приходится сейчас только мечтать о таком педагоге.

Что представляет собой нынешний учитель физической культуры? Как правило, это человек, не получивший специального образования. Таких преподавателей у нас больше 50 процентов. Спрашивается, по какому пути они могут повести детей, если сами мало что знают?

Для иллюстрации приведу лишь данные, которые сообщает учитель А. С. Любимов из Полтавского района Украины: «У нас 37 школ — 9 средних и 28 восьмилетних, в которых преподают 34 учи-



теля физической культуры. Из них только один с высшим и шесть со средним специальным образованием. Остальные распределяются так: 6 получили высшее неспециальное, 21 — общее среднее образование, то есть начали работать учителями физической культуры сразу же после окончания общеобразовательной школы».

Увы, не блещут высокой квалификацией и многие специалисты, окончившие физкультурные вузы. К сожалению, наши институты физической культуры и факультеты физического воспитания педагогических институтов больше всего думают о спортивной подготовке своих студентов. Можно подумать, что это школы тренеров, а не высшие учебные заведения, выпускающие педагогов. Выйдя из стен института, молодой специалист-учитель иногда неплохо умеет руководить секционными занятиями, но далеко не всегда знает, как педагогически правильно вести уроки физической культуры.

Мне хотелось бы разрушить (хотя знаю, что одним ударом этого не сделать) неправильное представление, сложившееся в довольно широких кругах и интеллигентных, и полунинтеллигентных, и неинтеллигентных людей. Все почему-то убеждены, что нет ничего легче, как быть учителем физической культуры. Мой многолетний школьный опыт (а мне приходилось вести и уроки литературы, русского языка, истории) свидетельствует о том, что работа

учителя физической культуры очень сложна. Физическая культура — дисциплина чрезвычайно тонкая, капризная, многогранная. Она требует от преподавателя основательного знакомства с анатомией, физиологией, биохимией, биомеханикой, гигиеной, физикой, математикой, биологией, общей и частной патологией. Кроме того, учитель физической культуры должен хорошо знать музыку и хореографию, отлично владеть литературным языком. И уж, конечно, ему не могут быть чужды такие специальные научные дисциплины, как теория физического воспитания, история физической культуры, частные методики и т. д. Словом, по разносторонности, многообразию, диапазону знаний учитель физической культуры стоит на одном из первых мест в ряду преподавателей общеобразовательных дисциплин.

Конечно, речь идет об идеальном педагоге, образцовом учителе физической культуры. Увы, пока что это мечта. Но почему бы нашим физкультурным вузам не вплотную эту мечту в быль!

Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР вселяют уверенность, что проблемы нашей школьной физкультуры будут, наконец, разрешены. Но нельзя думать, что с принятием этих Постановлений все трудности механически отпадут. Нам надо много и упорно работать, чтобы выполнить задачи, поставленные партией и правительством.

● Гр. Горин

КАКАЯ НАГЛОСТЬ!

(Рассказ)

Он был высокий и рыжий.

Потертая байковая рубаша с трудом размещалась на его необъятных плечах. Загорелые жилистые руки были стряпаны в карманах брюк и казались такими длинными, что, наверное, он мог почесать себе пятку, не нагибаясь.

Непонятно, почему из всех прохожих он выбрал именно меня.

Очевидно, я ему чем-то нравился.

Он преградил мне дорогу и, выдохнув облачко водочного перегара, хрипло сказал:

— Слушай, друг! Ты извини, такая неприятность у меня получилась. Мы тут с ребятами выпили, и я, понимаешь, пинжак потерял.. Домой доехать не на что.. Выручи, дай двадцать копеек на метро..

Я поспешно сунул руку в карман и достал мелочь.

— Уж дай сорок,— сказал он и грустно шмыгнул носом.— Мне с пересадкой ехать..

Я протянул ему сорок копеек и попытался пройти, но он по-прежнему загоразивал мне дорогу.

— Ты извини, друг,— сказал он, убирая мелочь в карман,— но такая ерунда получилась... Пинжак дома забыл..

— Ничего, ничего! Бывает,— посочувствовал я.

— Я тебе в понедельник верну,— сказал он.— Или нет, лучше в среду... В четверг у нас как раз получка...

— Да ладно, чего там,— отмахнулся я.— Как-нибудь отдадите...

— Нет, я человек точный,— обиженно сказал он.— Сказано в пятницу, значит, в пятницу! Весь полтинник и верну...

— Сорок! Не полтинник, а сорок! — поправил я.

— Да?! Ну дай еще сорок тогда, для ровного счета... В субботу все и отдам!

— Возьмите еще двадцать копеек и больше не просите! — сказал я.

Он обиделся.

— Думаешь, я нищий? — спросил он.— Я не нищий! Я зарабатываю будь здоров!.. Даже стыдно просить... Вон аж вспотел весь... На, попробуй!..

Он схватил мою руку и прижал ее к своему влажному лбу.

— Действительно вспотел,— подтвердил я.

— Ну вот, а ты говоришь... Дай-ка платок...

Я протянул ему носовой платок. Он вытер им лоб и шею, потом высморкался в него.

— Я его тебе в воскресенье вместе с деньгами верну,— сказал он, засовывая платок в карман брюк.— Выстираю и верну... Ты не сомневайся... Дай-ка закурить...

— Пожалуйста, закурите и дайте мне пройти,— сказал я, протягивая ему сигарету.— Я очень спешу...

— Ладно, успеешь,— сказал он, разминая сигарету.— С фильтром нет?

— С фильтром нет! — рассерженно произнес я.— До свидания!

— Да постой ты! — сказал он и положил мне руку на плечо.

Его рука была непомерно тяжелой, очевидно, поэтому у меня слегка дрогнули колени.

— Я вообще-то больной,— сказал он, глядя мне прямо в глаза.— В психдиспансере на учете состою. У меня припадки бывают! Я человека убить могу, а мне за это путевку в санаторий дадут.

— И не понимаю, зачем вы все это мне рассказываете? — растерянно пробормотал я.

— Да так, к слову пришлось! — прохрипел он.— Дай еще рубль!

— У меня нет больше! — тихо произнес я.

— Ладно врать-то,— ухмыльнулся он и, ловко сунув руку ко мне в карман, вытащил бумажник.

— Во, гляди! У тебя здесь десятка! А говорил, нет! Стыдно обманывать!..

— Но мне она самому нужна! — запротестовал я.

— Да я те отдам в получку! — сказал он, забирая десять рублей.— Уж не хочешь помочь трудящемуся человеку! Небось, на книжке немалые деньги лежат...

— Что вам угодно?! — крикнул я, беспомощно оглядываясь по сторонам.

Его глаза сразу стали бесцветными и злыми.

— Поори у меня! — зашипел он.— Я те сейчас нос откушу... У меня припадок начинается... Я больной на нервы!.. Меня в Скли-



фосовском каждая пяпка знает!.. А ну брысь с дороги!!

Он оттолкнул меня и, пошатываясь, пошел прочь.

Я пошел в другую сторону, вернее, не пошел, а побежал, потому что сила его руки придавала мне определенную скорость. Моя душа раскалывалась от боли и обиды. Я был просто противен самому себе.

«Трус! Тряпка! — мысленно ругал я себя.— Каждый нахал может вытереть об тебя ноги! Тебя нагло обобрали, а ты и не пикнул! Задохлик! Слюняй! Плюгавый хлюпик!»

Я мысленно бил себя кулаками по самым больным местам. Потом я бросил себя на землю и топтал ногами. Топтал долго, пока не вспотел.

Но у меня даже не было платка, чтобы вытереться.

И тогда я принял решение. «Хватит! — сказал я себе.— Надо давать отпор наглости! Надо почувствовать себя человеком!»

Я круто повернулся и побежал назад.

Я метался по улице, вглядываясь в каждого прохожего.

Я заглядывал во все дворы и во все подъезды.

Я искал его.

«Где ты, рыжий нахал?! — мысленно орал я.— Выходи на честный бой! Я изувечу тебя! Няньки из Склифосовского тебя не узнают!» Я носился по улице, как разъяренный зверь.

Прохожие испуганно шарахались от меня в сторону. Это только придавало мне силы.

И вдруг я увидел его. Увидел рядом, в двух шагах.

● ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС.

Он сидел за стеклянной стеной ресторана и пил водку.

На мои деньги!

Я толкнул дверь ресторана и вбежал в зал.

Я подошел к его столу и нагло сел.

Потом налил себе стакан водки и залпом выпил.

Потом закурил сигарету и стряхнул пепел ему в тарелку.

Он на меня не реагировал.

Он спал.

Сладко посапывал, подперев свою рыжую голову кулаком.

Я растерялся. Говорить что-либо в таком состоянии ему было бессмысленно. Я начал трясти его за плечо, но он мычал что-то бессвяз-

ное. Устав, я беспомощно опустился на стул.

— Напились дружок ваш! — сказала подошедшая официантка.

— Какой он мне друг?! — возмущился я. — Я его не знаю!

— Ну да, как водку вместе пить, так друзья, а как рассчитываться, так уже незнакомы! — сказала официантка. — Давайте, гражданин, платите по счету и везите своего приятеля домой!

— Но с какой стати?! — закричал я.

— Вы на меня еще покричите! — сказала официантка. — Я вмиг милицию кликну!

Официантка смотрела на меня презрительно и жестоко. У нее

был такой тяжелый взгляд, что у меня снова почему-то дрогнули колени. Я заплатил ей деньги, потом взвалил на спину этого рыжего парня и понес к выходу.

Я сгибался под тяжестью этой туши и громко поносил парня последними словами.

Неожиданно он очнулся...

— Эй, друг! — крикнул он мне в самое ухо. — Мы куда едем?

— В вытрезвитель! В вытрезвитель, мерзавец, — прохрипел я.

— Вот и хорошо! — неожиданно обрадовался он. — Я им еще с прошлого раза трешку должен. Ты и заплатишь!

И он ласково погладил меня по голове...

КАКОВ ВОПРОС — ТАКОВ ОТВЕТ!

(Из переписки Галки Галкиной)



«Уважаемая редакция!

Мне очень интересно знать, какого мнения о себе девчонки? Вот кругом пишут: «Она не пошла танцевать с пьяным парнем» или «Ударила его по щеке за грубые слова». Ха! Так не бывает! Несколько раз я испытал это на себе. И на танцы приходил не совсем трезвый и пошлости говорил — хоть бы что! Целовал с первого вечера, и ни одна не ударила. Боятся, что ли? Причем я девчонок не выбираю, а просто подхожу к той, которая хоть капельку нравится.

Никакой строгости в них нет. Вот и приходится: вечер с одной, а другой — со второй.

Да, им нравятся парни, которые умеют действовать.

Два года назад я был не таким и не очень-то они обращали на меня внимание. Сейчас я в городе «славлюсь» покорителем женских сердец, хотя, на мой взгляд, ничего хорошего во мне нет. Девчонки сами назначают свидания, а мне это уже приелось.

Хочется все забросить, но как забросишь, когда они сами всажаются на шею! Посоветуйте им, пожалуйста, в своем журнале быть немного потребовательнее к себе, тогда их уважать будут.

Юрий Е-ов.

г. Троицк, Челябинской области.

Дорогой Юра!

Признаюсь, что Ваше письмо взволновало мою девичью душу. Просто, как говорится, сердце екнуло.

Я срочно побежала к главному редактору и стала просить командировку в город Троицк. Я мечтала увидеть Вас, Юра! Но в командировке мне отказали.

— Нет, Галка, — сказали мне. — Ты девушка, существо слабое! Тебя посылать опасно. А вдруг ты встретишь этого Юру пьяненьким?! Как ты тогда устоишь перед его обаянием? Или скажет он тебе какую-нибудь пошлость — ты тут же и растаешь! И начнет он целовать тебя с первого вечера! Нет, голубушка, сиди-ка дома.

Одним словом, не пустили меня.

А уж как мне хотелось испытать на себе Ваши чары! Хотелось увидеть Вас, такого прекрасного, стройного, хамоватого. Я представляю, как Вы подходите ко мне своей очаровательной покачивающейся походкой и интригующе произносите: «Ну, ты, дура, пойдем потанцуем...»

Ах, прямо сердце замирает от счастья!

Но в то же время я обеспокоена Вашей судьбой, Юра. Ведь Вы так совсем себя доконаете. Шутка ли, такая неотразимость?!

Может быть, Вам сделать себе пластическую операцию?.. Но боюсь, что это будет неэффективно! Хамство и самонадеянность останутся же при вас...

Нет, Юрочка, надо придумать что-нибудь похитрее... Попробуйте

стать вежливым, внимательным и иногда трезвым. Это так отпугивает девиц!

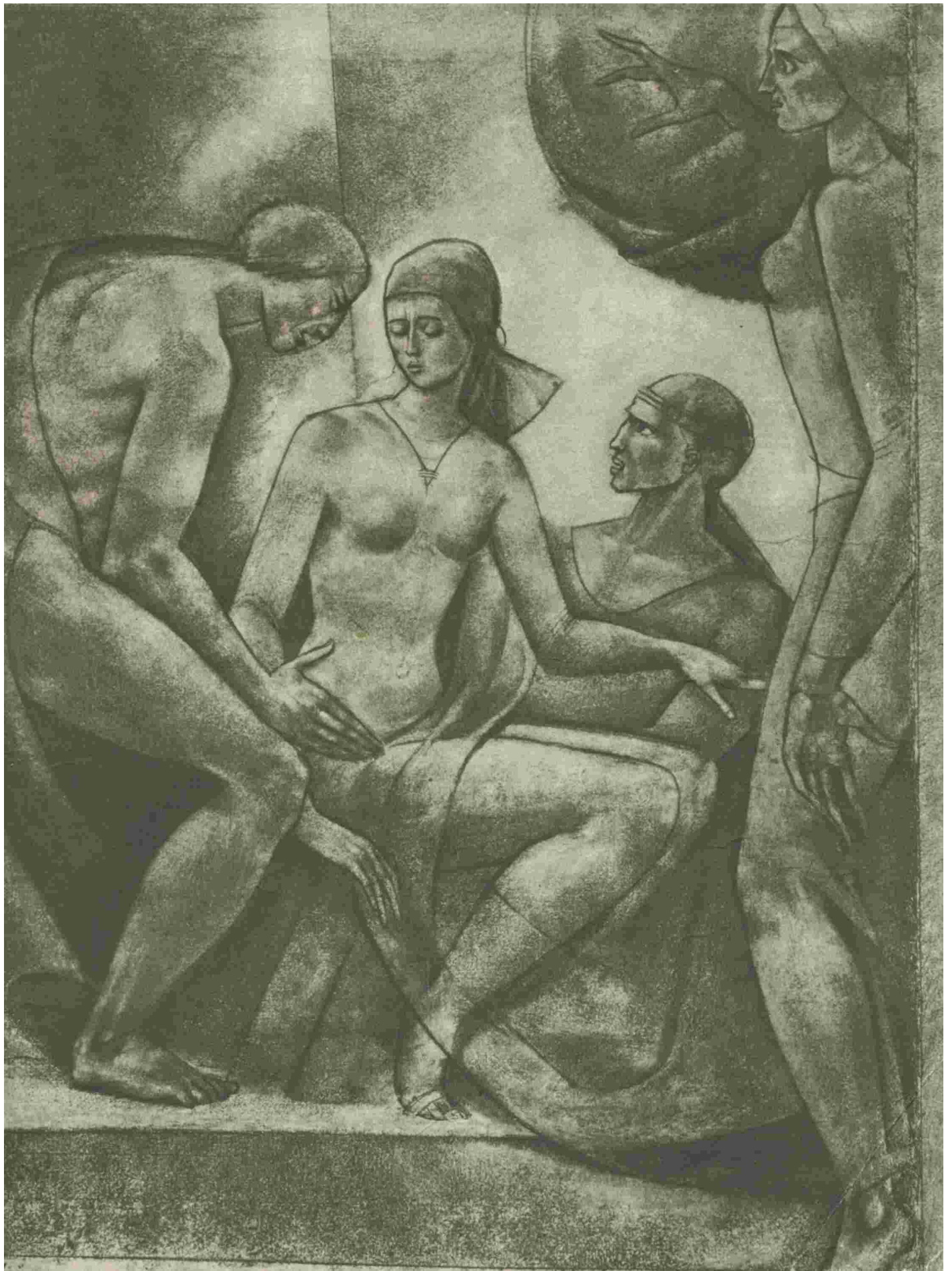
А главное, не пишите больше подобных писем в редакцию. В Вашем письме столько самовлюбленности, дешевой морализации и цинизма, что после его публикации у Вас не будет отбоя от женского пола.

Но не стоит тратить из-за нас нервы.

Если Вы нам нравитесь, Юра, то, как говорится, так нам и надо! С приветом

потерявшая из-за Вас голову
Галка Галкина.

Р. S. Фамилию Вашу не пишу полностью, ибо, судя по письму, Вы человек в городе Троицке известный.





Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120